Проза великих

ЛЕОНИД ШЕБАРШИН

КГБ ШУТИТ...

АФОРИЗМЫ ОТ НАЧАЛЬНИКА СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДКИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

История, к сожалению, всегда остается орудием политики дня сегодняшнего, и тот, кто владеет прошлым, распоряжается и настоящим, и будущим. Но время неумолимо. Канет в прошлое и нынешняя Третья великая русская смута с ее неразберихой, разрухой, временными вождями и вековечными проблемами, с ее кровопролитными войнами, катастрофами, путчами и заговорами. Великая смута уйдет в прошлое, но по неизменному закону истории будет незримо присутствовать в жизни всех грядущих поколений русских людей так, как присутствует сейчас. И разве простой и грамотный русский человек с его упованиями, опасениями, радостями и горестями обречен уйти в ничто, не оставив никакого следа для любознательных потомков? Неужели никому не будет интересно, какие мысли одолевали жителя России в конце XX века, была ли у него душа не для официального предъявления, а для собственного пользования? Думается, что наши потомки могут оказаться любознательнее и добрее, чем можно было бы рассчитывать в наше неустроенное и жестокое время. Именно их вниманию предлагаются актуальные и остроумные афоризмы Леонида Шебаршина, которые интересны уже тем, что их автор долгие годы возглавлял внешнюю разведку КГБ СССР.

- КГБ шутит. Афоризмы от начальника советской разведки
  - ○
  - ○ ХРОНИКИ БЕЗВРЕМЕНЬЯ
    - ■ ПРЕДИСЛОВИЕ
    - ■ Часть 1. К ПЕРЕЛОМУ ЧЕРЕЗ ВЫВИХИ
      - ■
      - ■ ПОЛИТИКА И ЖИЗНЬ
      - ■ Комментарии к путчу и торжеству демократии
      - ■ ПЕРСОНАЛИИ
      - ■ ВЛАСТЬ, НАРОД И ЭКОНОМИКА
      - ■ НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И СОЮЗНИКИ РОССИИ
      - ■ НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ И НОВЫЕ УЧЕБНИКИ
      - ■ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ
    - ■ Часть II. ССАДИНЫ И ЦАРАПИНЫ
      - ■
      - ■ МАРТ 1993-го - ИЮНЬ 1993 года

- ИЮНЬ 1993-го - МАРТ 1994 года
- МАРТ 1994-го - НОЯБРЬ 1994 года
- НОЯБРЬ 1994-го - ФЕВРАЛЬ 1995 года
- ФЕВРАЛЬ 1995-го - СЕНТЯБРЬ 1995 года
- СЕНТЯБРЬ 1995-го - ЯНВАРЬ 1996 года
- ОКТЯБРЬ 1996-го - АВГУСТ 1997 года

○ «...И ЖИЗНИ МЕЛОЧНЫЕ СНЫ»
- ГЕНЕРАЛУ НЕ СПАЛОСЬ...
- ОКТЯБРЬ УЖ НАСТУПИЛ...
- КСЮША
- ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ ВОЗМОЖНА, КСЮ-ША!
- ВЫСОКИЕ СФЕРЫ
- ВЫСОКИЕ СФЕРЫ (Продолжение)
- «УХОДЯ ОТ НАС...»
- МЕТЕЛЬ
- ПОЛИТИКА
- ДОРОГА
- ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
- ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (продолжение)
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ОТСТАВКА
- «КТО ПОГИБ ЗДЕСЬ, УМЕР?..»
- ДЖАГАНАТХАН
- В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ВЕЧНОСТЬ
- АНДРОПОВ
- ВЕСНА
- «НЕ ВОРУЙ, НЕ ВРИ...»
- ВЕТЕРАНЫ
- ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...
- ГУСИ-ЛЕБЕДИ
- ПРОЕЗЖАЯ ДОРОГА
- КИЯНУРИ
- ПОЧЕМУ СОБАКА?
- КАРМАЛЬ
- «КОЕМУЖДО ПО ДЕЛАМ...»
- ГОСПИТАЛЬ
- ДРУЗЬЯ
- УСТАЛОСТЬ
- В ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА ЧУДУ

○

КГБ шутит. Афоризмы от начальника советской разведки
Леонид Шебаршин

История, к сожалению, всегда остается орудием политики дня сегодняшнего, и тот, кто владеет прошлым, распоряжается и настоящим, и будущим. Но время неумолимо. Канет в прошлое и нынешняя Третья великая русская смута с ее неразберихой, разрухой, временными вождями и вековечными проблемами, с ее кровопролитными войнами, катастрофами, путчами и заговорами. Великая смута уйдет в прошлое, но по неизменному закону истории будет незримо присутствовать в жизни всех грядущих поколений русских людей так, как присутствует сейчас. И разве простой и грамотный русский человек с его упованиями, опасениями, радостями и горестями обречен уйти в ничто, не оставив никакого следа для любознательных потомков? Неужели никому не будет интересно, какие мысли одолевали жителя России в конце XX века, была ли у него душа не для официального предъявления, а для собственного пользования? Думается, что наши потомки могут оказаться любознательнее и добрее, чем можно было бы рассчитывать в наше неустроенное и жестокое время. Именно их вниманию предлагаются актуальные и остроумные афоризмы Леонида Шебаршина, которые интересны уже тем, что их автор долгие годы возглавлял внешнюю разведку КГБ СССР.

ХРОНИКИ БЕЗВРЕМЕНЬЯ
(заметки и афоризмы бывшего начальника разведки)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В конце 1989 года один из архитекторов «перестройки», профессиональный полководец идеологического фронта А.Н.Яковлев, глубокомысленно заметил, что мы живем в интересное время.

Прошло всего несколько лет, и знатоки и ценители захватывающих зрелищ могут с удовлетворением констатировать, что времена становятся все интереснее и интереснее.

Разве не занятно наблюдать крушение великого государства, на обломках которого вспыхивают кровавые междоусобные войны? Места действия меняются — Карабах, Приднестровье, Таджикистан; экраны телевизоров пестрят телами убитых, разрушенными зданиями, лицами людей, лишившихся крова, и каждый день мелькает что-то новое, щекочущее нервы. А умирающие огромные заводы с полупустыми цехами — понуро стоят бесконечные вереницы машин, для которых нет комплектующих узлов, бродят, как осенние мухи, редкие рабочие. А регулярные катастрофы на угольных шахтах и железных дорогах? И взрывы гранат и автоматные очереди на улицах столицы нашей Родины?

Это, пожалуй, поинтереснее любого американского фильма о нравах времен «сухого закона» в США! Много занятного и в обыденной жизни российского обывателя, того, что остается за пределами телевизионного экрана или газетной полосы, но присутствует в нашей жизни постоянно, — толпы убогих грязных НИЩИХ, ЛЮДИ, КО' пающиеся в помойках, банды молодцов в кожаных куртках и с бараньими глазами... Трудно представить даже, насколько скучна и однообразна была наша жизнь без всего этого.

Но главное-то развлечение, этакий вселенский цирк, — в самых верхах. Может ведь действительно показаться, что власть всех уровней и всех ветвей твердо решила, что ее главная задача — развлекать и российский народ и все человечество.

Чего только за последние годы мы не насмотрелись и не наслушались. Были бесконечные невнятные монологи человека с пятном на лбу, с обворожительными честными глазами и округлыми жестами, приходившими на помощь, когда оратора подводил великий и могучий русский язык. Супруга человека с пятном на лбу — дама простеньких политических убеждений и непоколебимо твердая в имущественных вопросах. Был бесшумный обвал руководящей и направляющей силы нашего общества. Любители зрелищ ждали оглушительного взрыва, но

раздалось только что-то вроде приглушенного стона, и не стало руководящей силы.

Какие-то неведомые злодеи запихивали в мешок (огромный, видимо, был мешочище) отца новой демократии и бросали его с пятнадцатиметровой высоты в пучину Москвы-реки, но отец выплыл и возглавил страну. Затаив дыхание, наблюдал весь народ противостояние в Москве в августе 1991 года двух кучек амбициозных людей, торжествующие лики победителей, лишь изредка омрачавшиеся тенью досады по поводу того, что победа досталась без капитального кровопролития. Были поездки американских высокопоставленных инспекторов по необъятным просторам бывшего государства и доброжелательные наставления о том, как следует и дальше реформировать страну. Были унизительные поиски денег за границей и оскорбительно насмешливые обещания дать России несметные миллиарды, когда она будет этого достойна.

Много чего было, всего не перечислишь, и очень много всего сказано и написано. Неискушенному в жизни человеку могло бы показаться, что многие тысячи публицистов и политологов, журналистов и ученых, профессиональных идеологов и политиков, интервьюеров и интервьюируемых, государственных мужей и государственных жен, демократов и партократов, здоровых людей и шизофреников сознательно обрушивают на обескураженный, сбитый с толку российский народ водопады слов — ни рифмы, ни резона, ни логики, ни совести в этом бескрайнем океане полуправды и по-лужи, как будто какой-то сатанинский ум задался целью навеки похоронить в этом океане действительный смысл событий, жертвой которых стала Россия. Остаются только зрелища, столь ценимые любителями интересной жизни, зрелища, взаимно не связанные, лишенные внутреннего содержания, сцены фарса, но не трагедии.

Подобное впечатление, кажется мне, поверхностно. Нет никакого всемогущего ума, есть множество мелких умов, есть неврастеническая реакция общества на сверхъестественное обилие непривычного, тревожного, возбуждающего. Так может вести себя организм, отравленный алкоголем или наркотиком, так может кричать и вырываться жертва, которую режут заживо.

Человеческая память коротка и избирательна. Этими же свойствами страдает историческая память народа, искаженная к тому же усилиями добросовестных и недобросовестных, добровольных и наемных историков. Кастрация русской национальной памяти была произведена после Октябрьской революции — дело было ловко представлено так, что наша история начиналась с 1917 года. Операция не была успешной,

коллективная память о существовании тысячелетнего Российского государства восстанавливалась вопреки воле правителей и идеологов, а иногда ради того, чтобы послужить их сиюминутным политическим нуждам, но восстанавливалась.

Очередная операция по лишению русского народа памяти о прошлом и настоящем проходит у нас на глазах и с нашим невольным участием. Русская история начинается с августа 1991 года, мы — народ-несмышленыш, которому еще нет места в цивилизованном мире.

Горы сегодняшней лжи, домыслов, добросовестных заблуждений, плодов политической малограмотности займут умы будущих историков, и, несомненно, появится множество остроумных и глубокомысленных концепций по поводу того, что же с нами, русскими, татарами, чеченцами, якутами, происходило. Уповать на то, что истина будет в конце концов найдена, было бы наивным. Ни власть, ни историки этого не допустят. Ни одно историческое событие не существует без его истолкования, и ни одно событие не проходит бесследно — оно продолжает играть не абстрактную, не дидактическую, а практическую роль в жизни каждого последующего поколения. История, к сожалению, всегда остается орудием политики дня сегодняшнего, и тот, кто владеет прошлым, распоряжается и настоящим, и будущим.

Пожалуй, неосновательно мнение о том, что мы живем в эпоху исключительно интересную. Интересную в извращенном смысле, с точки зрения человеческих трагедий, переживаний, сомнений. Такое мнение порождается или вполне извинительным незнанием отечественной истории, или нежеланием ее вспоминать. Можно, напротив, с уверенностью сказать, что каждое поколение русских людей жило в этом смысле удивительно интересной жизнью, и даже краткое перечисление всех захватывающих событий заняло бы многие десятки страниц.

Можно не заглядывать в седую былинную старину, а начать хотя бы с Ивана Грозного, опричнины, уничтожения новгородцев, псковитян и тверичей. Можно вспомнить Смутное время, когда поляки, татары и казаки грабили Москву, когда от голода люди ели друг друга и бродили по опустевшей Руси шайки разбойников. Мелкий эпизод разинщины с его грабежами и казнями и совсем немного погодя, на памяти еще живших в разинские времена людей Петровские реформы — рывок в современность, обошедшийся России в миллионы ее мирных обитателей, которые легли костьми в невских болотах, в бесконечных войнах, в рудниках, на плахе и в застенках. Бироновщина, пугачевщина, наполеоновское вторжение, бунт

декабристов, завоевание Кавказа, войны, отмена крепостного права, народовольческий террор, война империалистическая, революции, гражданская война, диктатура пролетариата, культы и культики, перестройка и реформа.

Воистину, не было ни одного десятилетия, когда русскому человеку было бы скучно жить. Не было и такого, чтобы ему приходилось жить сытно и спокойно.

Часть 1. К ПЕРЕЛОМУ ЧЕРЕЗ ВЫВИХИ

1989-1992 годы

ПОЛИТИКА И ЖИЗНЬ

Русь начала выкидывать старых богов в 988 году и никак не может остановиться.

Сегодняшние убеждения оказываются завтра заблуждениями, наука — суеверием, героизм — преступлением, простота — воровством, подлость — благородством. Послезавтра все вновь поменяется местами.

История — вторичное сырье политики.

Мы никогда не меняем своих убеждений. Мы меняем только заблуждения.

Сумасшедшему разумный кажется идиотом или преступником. У нас политики считают друг друга идиотами или преступниками. Демократия процветет, считает каждый из них, когда идиоты и преступники будут ликвидированы. Эта ситуация марксизмом не предусмотрена, но она явно предреволюционная.

Власть хочет отдаться, да некому.

Народу давно разъяснили, кто повинен в тяжелом положении страны. Теперь ведется выяснение, кто виноват в его ухудшении.

Выбор у советских политиканов небогат — либо самозабвенно молиться, либо кощунственно издеваться. Самые умные создают валютные кооперативы.

Русская народная мудрость: «Нет консенсуса без кворума».

Правило парламентской демократии — до первой крови.

Далеко еще нашим депутатам до подлинно непарламентских выражений. Чувствуется, что многие из них воспитывались не в коммунальных квартирах.

Всех волнует лишь один вопрос: «Кто будет отвечать?»

«Перестройка» высвободила колоссальную энергию, которую оказалось негде применить.

Предлагаемая поправка к гимну Советского Союза: «...сплотила навеки великая грусть».

Волчата времен застоя выросли в матерых волков. Теперь они грызут тех, кто когда-то верховодил стаей, и подвывают на иностранных языках.

Кандидаты и доктора наук пошли в политику. По состоянию науки можно судить, что ждет политику.

«...а тех, кто против демократии, сажать и расстреливать!»

Суть гласности не в словах, а в умолчаниях.

Новые времена требуют новых ошибок.

На стороне добра, т.е. демократии, не меньше негодяев, чем на стороне зла, т.е. диктатуры.

Перестраивая мир, мы приводим его в соответствие с путаницей наших мыслей.

Удивительный мир привидений. Прежде чем навсегда уйти в могилу, покойники выходят на страницы печати, доказывают, что они всегда, еще при жизни, были ренегатами и предателями, и исчезают. Становится не по себе даже материалисту.

Страна вновь на подъеме — мучительном, долгом, ведущем к голой вершине.

Смутное время ассоциируется с дождем, слякотью, пронизывающим ветром. Погода летом и осенью 89-го была прекрасной.

Господа! Было ли в истории нашего государства что-либо, кроме ошибок и преступлений?

Гениальны не личности, а должности.

Пролетариату нечего терять, кроме чужих идей!

Давным-давно у русских отняли деревянных богов и дали им Христа. Затем отняли Христа и дали Маркса. Теперь отнимают Маркса без видимой замены.

Законоборцы — народные депутаты.

Средства массового оболванивания.

В демократическом обществе правда и ложь имеют одинаковые права.

В нашем Пантеоне всегда просторно. Старых героев выбрасывают быстрее, чем вносят новых.

Радикалам кажется, что они строят в России что-то вроде Швеции — построят опять Колыму.

...часть суши, со всех сторон окруженная цивилизацией.

Колесо истории у нас устаревшего образца, вот в чем дело-то.

Колосс с глиняной головой.

Какой же русский не любит быстрой езды? Тот, на котором едут.

Слышим поступь истории, но не знаем, куда бежать, чтобы не быть раздавленными.

Подвергай сомнению все, кроме мудрости действующего руководства.

Ошибки прошлого — строительный материал политики настоящего.

Для того чтобы с толком искажать историю, ее надо знать.

Идея мировой революции родилась не от хорошей жизни. И

не от хорошей жизни умерла.

Либералиссимус.

Доврались, наконец, до правды.

Сиамские близнецы — организованная преступность и дезорганизованная власть.

Открывая утром газеты, смотришь — что новенького произошло в русской истории последних десятилетий.

У деятелей Фонда культуры профессионально культурные лица, у их коллег из Детского фонда — профессионально плаксивые.

Не все те золото, кто молчит.

К вопросу о качестве обучения в советских вузах: Сталин учился в семинарии и оставил после себя великую державу; у Горбачева два диплома о высшем образовании, а он державу развалил.

Противен, как Троцкий до реабилитации.

Власть обладает магическим свойством. Одним критическим словом она обращает мошенников и проходимцев в народные герои.

Переименования — это не дань уважения истории, а плевок в лицо.

Памятники надо не сносить, а переименовывать.

На заседании блока «Демократическое ехидство» председатель обратился к собравшимся со словами «Воображаемые товарищи!»...

Партии, как цветы, пахнут особенно резко в период увядания.

«...определены конкретные шаги по усилению политического влияния на улучшение продовольственного снабжения населения». «Правда», 9 августа 1990 г.

«...и кто-то доллар положил в его протянутую руку...»

Правительство надо формировать из журналистов. Только они знают все.

В политике прощается все, кроме слабости.

Было дело, нескольких здоровых людей признали ненормальными. Теперь многих ненормальных признали здоровыми и избрали в парламент.

Омандаченная прослойка населения — народные депутаты.

А.И.Солженицын не признал указа Президента о возвращении советского гражданства, т.к. в свое время его насильно вывезли из СССР. Не хочет ли он, чтобы его таким же образом ввезли обратно?

«...стало известно об объявлении Краснопресненским райсоветом Москвы объектами своей исключительной собственности не только земли и недр, но даже и воздушного

пространства, простирающегося над его территорией». «Правда», 17 августа 1990 г.

«Делай полезное для общества — оно будет полезным и для тебя самого», — говорил д-р Гильотен, изобретая гильотину, которой позже ему отрубят голову.

Сегодня можно верить каждому слову руководителей. Но только сегодня — завтра будет новое слово.

Парламент — это место, где люди собираются для обмена оскорблениями.

Говоря об общечеловеческих ценностях, стоило бы иметь в виду не только твердую валюту.

Различие между политикой и цирком серьезнее, чем кажется на первый взгляд. В цирке пугают, чтобы развлечь; на митингах развлекают, но потом становится страшно.

Вынесем все. Только дайте нам есть и не заставляйте думать.

Мы готовы умереть за правое дело, но кто-то должен указать место, где мы должны стоять до последнего.

Россия — могучая гора. Но каких же мышей она родила!

Концепция — строго демократического и беспощадно гуманного социализма.

Те политики, которые не меняют своих взглядов, выбрасываются на свалку вместе со взглядами.

У них вместо здравого смысла задний ум.

Истерический оптимизм.

В политике не бывает полезных ископаемых — они все вредные.

Власть на местах не уклоняется от борьбы. У нее нет сил, чтобы убежать.

Невиданный наплыв иностранных гостей в Москву. Едут званые и незваные, как на похороны.

Советский фильм ужасов «Дом с привилегиями».

Революции совершаются громогласно, а продаются потихоньку.

Не потому ли все так много заседают, что страшно выйти на улицу?

Зрелища продолжаются, хлеба нет!

Мог бы сказать Маяковский: «...и пусть нам общим памятником будет растоптанный в грязи социализм!».

Всегда были люди с ловко подвешенными языками. Теперь появилось много языков, к которым ловко подвешены маленькие человечки.

Первое в мире многострадальное государство рабочих и крестьян.

Только по близорукости мы не видим в организованной

преступности нового социально-экономического порядка.

В эпоху гласности наиболее смертоносны пули из дерьма.

Шоковая демократия.

Толкуют демократию как свободу от честного труда.

Через телевидение духовную пищу народу дают не только пережеванной, но и переваренной.

Наконец-то все стали говорить то, что думают. Никогда мир не выслушивал столько глупостей.

Топтология — искусство затаптывания оппонента.

Все готовы отдать жизнь за правое дело, но предпочитают делать это не спеша.

Торжество демократии омрачается исчезновением колбасы.

Истоки кризиса в двух строках: в экономике разрушен старый механизм, но не создан новый; в политике живы старые проходимцы, но уже появились новые шарлатаны.

Валютные спектакли в театрах. Почему бы не валютные обедни в церкви?

Исторические оптимисты довели страну до такого состояния, которое пессимистам не снилось в кошмарных снах.

У народа отнимают прошлое, чтобы лишить его будущего.

Оглушительное отсутствие аплодисментов.

Хотели раскинуть умом пошире, а его на все и не хватило.

«...дайте в президиум ваши мысли в сжатом виде».

Коммунисты меняются, антикоммунисты — нет.

В политике не действуют законы физики. Поток уносит золото и оставляет мусор.

Идем к рынку через базар, осваиваем базарную лексику, базарные манеры и приемы.

Впереди, как всегда, творческая интеллигенция, что подтвердил пленум правления Союза писателей в ноябре 1990 г.

Возводится что-то непонятное: то ли леса нового дома, то ли эшафот. Но у нас есть стратегия: «поживем, увидим».

Из выступления: «...имеющихся у нас запасов лапши хватит только для развешивания на уши избирателей».

Способность русской власти функционировать без головы отмечал еще В.О.Ключевский.

Входим в правовое государство. Вместо слова «воровство» «Московская правда» (5 декабря 1990 г.) употребляет «беззастенчивое манипулирование правом собственности».

Идеология рынка столь же мало приемлет компромисс, как идеология диктатуры пролетариата...

Совет безопасности — консультативно-созерцательный орган.

Видимо, климат изменился. Никогда Русская земля не родила столько предателей.

Октябрьская революция была бескровной, горбачевская — безмозглой.

Если конверсия пойдет таким же манером, скоро будем выпускать каменные топоры.

Идеальное демократическое общество — каждый гражданин может послать любого другого гражданина к чертовой матери без различия пола, национальности и вероисповедания.

Демократия отнимает те пустяки, которые народу дала диктатура, — работу, жилище, стабильность — и дает взамен свободу.

Реформы настолько опережают время, что грозят зайти ему в хвост.

Общественная наука долго была жертвой политики. Теперь она стала ее палачом.

Есть только один деятель, на которого возлагается вся ответственность, но который ответственности не боится, — Сталин.

Ренегаты нужны обществу. Без них не ценились бы честные люди.

В республике скудны природные ресурсы, но неисчерпаемы запасы национальной гордости. Жители полагают, что у республики неплохой экспортный потенциал.

1990-й был в целом хорошим годом — он обошелся малой кровью.

Как только наши лидеры пытаются выпрыгнуть за пределы своих умственных возможностей, происходит катастрофа.

У нас все впереди. Эта мысль тревожит.

Нынешнее мирное время отличается от былого военного лишь всеобщим упадком духа и опасливым торжеством предателей.

Не бойся года уходящего. Он уже не будет хуже, чем был. Бойся года наступающего — 91-го!

Муть демократического обновления.

Приняты неотложные меры по упорядочению хаоса.

Смотрим фильмы ужасов, чтобы отдохнуть от действительности.

Уносят на Запад ноги, предварительно вытерев их о Россию.

Всем тем, что у нас есть, мы обязаны перестройке. Ей же мы обязаны и тем, чего у нас нет, а раньше было.

О Христе стали говорить так же много, как о Сталине. Добром для Христа это не кончится.

Земля полна самозванцев, а Минина и Пожарского все нет.

Культ личности в современной России невозможен — для того чтобы сделать заячье рагу, нужна хотя бы кошка.

Клялись, что строят новое государство. Как-то так вышло, что построили только личные дачи.

Многие каются, но ни один не удавился. Боятся оставить народ без лидеров?

Многие пока считают, что голодание — это всего лишь лечебный метод.

Чем глупее начальство, тем меньше оно сомневается в своей мудрости.

Идеолухи.

Никак не добьемся перелома, но вывихи уже есть. Надо идти к перелому через перегибы.

Пытаются надеть на Россию штаны с чужого плеча.

«Русские медленно запрягают, но быстро едут... не в ту сторону».

Вся история России делится на периоды кровавые и слюнявые. Однако даже в кровавые периоды встречались слюнявые вожди.

Никто и не заметил, как в нашем монастыре стали жить по чужому уставу.

Руководство идет проверенным путем — строго наугад.

Наши Герострaты суетятся, боясь, что на всех храмов не хватит.

«Голая Правда» — развлекательное издание для ортодоксов.

Наследник «самиздата» — «срамиздат».

Умные люди в СССР оставались в тени. Пока ученые простаки болтали, они создали экономику, названную в их честь теневой. Теперь они создают в тени наивных парламентов настоящую власть.

23 января 1991 года правительство официально заявило: «Не имей сто рублей!».

Если дела будут идти таким манером, то у народа не останется сил даже для гражданской войны.

Отвалили огромную глыбу диктатуры. На свет выползли какие-то мерзкие существа.

Многие ушли в политику потому, что это более доходное дело, чем вооруженный грабеж.

Язык, как бритва, — острый, но плоский.

Творцов перестройки подвела скудость воображения. Они не думали, что может быть еще хуже.

Если все будет низвергнуто сейчас, то что же останется грядущим поколениям? Если Сталина не хватит надолго, смогут ли фигуры нынешних лидеров заполнить брешь?

Можно было бы поверить в порядочность претендентов на власть, если бы мы не знали их прошлого.

Старые кадры так и не научились воровать с размахом.

Высоченное сооружение воздвигли за десятилетия. Вот уже несколько лет падаем с крыши...

Прошлое России оказалось несовместимым с ее будущим.

Вступили в эпоху доисторического материализма.

Митинги — весенние демонстрации морд.

Рано объявлять конкурс на проекты памятников авторам и героям перестройки. Еще неизвестно, будут ли у них могилы.

Демократы стесняются употреблять слово «товарищ». Они слишком хорошо друг друга знают.

Советский гражданин получил не только право критиковать главу государства, но и реальные основания для этого.

Процесс создания правового государства завершится, по-видимому, Судным днем.

На выборах сейчас надо подсчитывать не голоса, а вопли.

Создается общество, перед которым наш старый социализм выглядит идеалом добра, гуманности и изобилия.

Россия всегда в авангарде. Даже паралич ее власти — прогрессивный.

Спор идет по единственному вопросу: кто больше навредил Отечеству — демократы или партократы. О их полезности нет и речи.

Ограничивая в свое время гласность, власть боялась не столько правды, сколько глупости. Как оказалось, вполне справедливо.

Есть страны тысячи озер, тысячи островов, а у нас будет страна тысячи президентов, и мы вновь изумим мир.

В первых рядах борцов с марксизмом-ленинизмом идут не те, кто срезался на диамате и истмате, а те, кто их преподавал.

Шаги перестройки. От жизни к существованию, от существования к выживанию, от выживания к борьбе за жизнь.

По классической «концепции домино» каждая падающая фишка сваливает рядом стоящую. Российские политики концепцию революционизировали — для того чтобы все фишки упали разом, из-под них надо выдернуть стол.

Новое обязательно пробьет себе дорогу, если успеет состариться.

Говорящая приставка к микрофону.

«Выйти из окопов!» — кликнула клич партия. Кое-кто вышел и убежал.

«Только та власть что-либо стоит, которую стоит защищать».

Все средства хороши, кроме тех, которых нет.

Власть без закона или закон без власти? Пока действует третий вариант — ни власти, ни закона.

История учит — в России любая перемена не к добру. Из двух зол следует выбирать известное.

Понятия добра и зла в политике относительны. Абсолютна организация.

Однопартийность сменяется многопротивностью.

Грузия еще не подступила к коренному вопросу — где торговать цветами и мандаринами после провозглашения независимости? Возможно, будет заключен цветочный пакт с Россией.

Едва ли стоит уповать на религию. Последним вождем, изучавшим библию, был Сталин.

Ксеркс приказал выпороть море, потопившее его флот. Советские лидеры порют чушь.

Бумеранг был изобретен в России. Все что ни дела-ем, возвращается и бьет нас самих.

Собрания, совещания, пленумы, конференции, съезды — скользкие камушки на пути в преисподнюю.

Царская Россия была тюрьмой народов, в которой прилично кормили.

Маленькая республика, но как много она дала России — Джугашвили-Сталина, Берию, Шеварднадзе...

Живем, как в ожидании приема у зубного врача. Знаем, что будет больно, и не уверены, что дальше полегчает.

Честный чиновник берет что дают, а нечестный вымогает.

Не может быть незаконных действий в отсутствие законов.

Такие тяжелые времена, а никого еще не расстреляли. Будто и не в России живем.

Не надо было коммунистам отменять Бога. Теперь было бы с кем разделить вину.

Человек может позволить себе некоторую несправедливость в оценках действительности. Это смягчает несправедливость самой действительности.

Измеряют жизнь количеством потребленного. Так сказать, проеденный путь.

«...особенно много дала перестройка армянскому и азербайджанскому народам. Под гнетом царской монархии и сталинской диктатуры, в удушливой атмосфере застоя они не могли и мечтать об освободительной войне друг против друга...». Дружба, скрепленная кровью.

Дело не в том, что русские ко всему привычные. Мы готовы ко всему привыкнуть, за что любая власть нас и любит.

Перестройка кажется хаосом только временно. Придет какая-то власть и твердо установит, чем же было это явление. Сменится власть, изменится и толкование перестройки.

Концепций много. Ума не хватает.

Молитва «деморосса»: «Спаси и сохрани» Господи, Коммунистическую партию, вдохновителя всех наших побед!»

В кромешной апокалиптической тьме мерцает лампада оптимизма: «Все мы друг друга перебить не сумеем и с голоду, Бог даст, не помрем».

Единственный весомый аргумент в российских дискуссиях — это удар по голове.

Лозунг на первомайском митинге: «Каждому рабочему — зарплату депутата Моссовета!». Проще было бы построить коммунизм.

Начинаем хвастать тем, что нам нечем похвастаться.

Надо бы сначала создать хорошую жизнь, а потом назвать ее социализмом.

12 июня 1991 года граждане России отдали последний долг демократии, избрав Президента республики.

В темные века Господь карал народы мором, гладом, трясением земли, потопами, саранчой, войнами. Все это оказалось излишним. Достаточно дать народам неразумных правителей.

Созвездие черных дыр — список кандидатов в президенты России.

Много говорят об утечке мозгов. Но если мозги у нас были, то как мы дошли до жизни такой?

Неофиты демократии — это преимущественно ренегаты партократии в поисках новой кормушки.

Раньше было скучное казенное вранье. Теперь художественное, а временами просто лирическое.

Из выступления на митинге: «Социализм надо было строить вдоль марксизма-ленинизма, а мы 70 лет строили его поперек...»

Одни готовы лечь костьми за призраки прошлого, другие — за призраки будущего. Третьим наплевать на то и на другое. Они владеют настоящим.

«Велика Москва, а отступать некуда. Кругом Россия!»

Демократия — это строй, при котором вождя можно хулить не посмертно, а прижизненно.

Предпоследняя серьезная попытка радикально реформировать Россию была начата 22 июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945 года.

Страшен не тот 37-й год, который был, а тот, который будет.

Никому еще общечеловеческие ценности не обходились так дорого, как России.

Пытаются осветить путь в будущее, поставив по фонарю под каждым глазом.

Голосовали за тех, кто больше обещал. Сказалась привычная вера во всесилие власти — станет-де начальником и все исполнит.

Трудовые будни перестройки: одни бастуют, другие их уговаривают.

Исключили из демократов за клевету на советскую действительность — осмелился утверждать, что не все у нас было так уж плохо.

Постулат российской политики — не стоит прислушиваться к мнению оппонентов. Уж больно у них рожи противные.

Характер начальника радикально улучшается только снятием с должности.

Политические покойники бывают удивительно живучими.

К вопросу о парламентском иммунитете — как можно поставить на место человека, если его нельзя посадить?

Исторический путь — от культа личности к культу наличности.

Гласность оглушает. Она так и задумывалась, чтобы не было слышно человеческого голоса.

Повалена ограда, рухнули стены и потолки, рыщут на развалинах лихие люди. Но недремлющая стража — КГБ — продолжает охранять ворота.

Перестраиваемся? Нет, пристраиваемся и подстраиваемся!

Стали думать, прежде чем говорить, и косноязычие осложнилось скудомыслием.

Мы не смогли перестроить мир, но изрядно его удивили. Видимо, не в последний раз, учитывая интеллектуальный потенциал лидеров.

Вновь мы не столько участники, сколько жертвы исторического эксперимента.

Отечество — это алтарь. А дураков и в алтаре бьют.

Есть два вида ораторов — одни говорят глупости экспромтом, другие зачитывают их по бумажке.

Что будем делать, когда состарится новое мышление? Прибегнем к новым измышлениям?

...аргументы, приводимые нашими оппонентами, состоят наполовину из вымыслов и наполовину из домыслов...

Природа не терпит простоты.

Любимые птенцы гнезда КПСС оказались кукушкиными детьми.

Есть такая партия! Приятная во всех отношениях...

Нельзя не удивляться тому, как мало сказались на состоянии общества тысячи умных книг и как сильно повлиял на него один «Краткий курс». То есть надо писать кратко и понятно!

Вопрос иностранного наблюдателя: при жизни одного поколения русские перешли от идеи мировой революции к концепции нового мышления. Где гарантия, что они не перейдут столь же быстро к какой-то другой идее, возможно Армагеддона, и будут воплощать ее в жизнь с присущей им безрассудной отвагой?

Проект «Договора о Союзе Суверенных Государств» предусматривает создание на территории нынешнего СССР нового движения неприсоединения.

Родился давно, но появился на свет благодаря перестройке.

Каждый советский человек может теперь с гордостью сказать: «Я был гражданином великой державы!».

Вера нуждается в подкреплении чудесами. Народ 70 лет ждал чуда от социализма. Подождет его еще 70 лет от демократии.

Обманывать, но не принуждать верить — это и есть подлинная демократия.

Объявили минуту молчания... А хотелось бы месяц, год, пятилетку.

«Одного на престол, другого — мордой об стол».

Недомыслие как двигатель прогресса.

Если не удалось запугать мир своей мощью, то удастся ли разжалобить его своей немощью?

Судьбоносец. Крестовый поход недоумков.

Возврат к прошлому невозможен, а переход к будущему неизбежен — вот и вся строго научная основа политических концепций. Стоило ли для этого учиться в вечерних школах марксизма-ленинизма?

В извилистом мире ненормальна прямая линия.

Раньше, в просторные времена, в ходу были круглые дураки. Теперь требуются дураки плоские — их больше набивается на митинги.

Авторитет власти измеряется масштабом вреда, который она может причинить обществу.

Начала демократии заложены. Какими-то будут ее концы?

Ни один человек у нас идеалам не изменял. Оказывается, идеалы изменили людям!

Казалось, что при старой власти обществоведы были подобны собакам — все понимали, но сказать не могли. При новых порядках высказались. Стало ясно, что ничего не понимают.

«...нельзя стоять в стороне от творящихся безобразий. Они требуют нашего прямого участия». Из выступления на совещании.

Из газеты: «...горисполком разрешил по «куриному» талону выдавать бутылку водки» (10 июля 1991 г.). Ради этого боролись с партократией?

Поиски смысла жизни неизменно приводят к бессмыслице.

Губят Россию грамотность без культуры, выпивка без закуски и власть без совести.

Проклиная прошлое, все же не отрекаются от отца с матерью. Видимо, оставляют про запас.

Набили оскомину газетные выпады и парламентские оскорбления, жаловался оратор. Пора бить морды!

В КПСС начали тачать новую программу. Пестренькая рубашка на немытое тело.

Без политического прогнозирования невозможны серьезные просчеты.

Комитет государственной благообразности — КГБ.

Не страна, а какой-то Бермудский треугольник. Без следа пропадает все — еда, одежда, совесть, порядок.

Взялись за ум, а также за честь и совесть нашей эпохи. И треплют ее беспощадно.

Мы всегда готовы говорить правду. Но как мы ее узнаем?

Среди судьбоносных событий легко пропустить действительно историческую дату. 25 июля 1991 года в Москве преступники впервые применили против милиции боевую гранату Ф-1.

Голос на митинге: «В стране острый дефицит спиртного, а вы все играете в демократию!».

Дела все еще не так плохи, чтобы рассчитывать на улучшение.

Идет департизация. Вместо партсобраний будем ходить на молебны. Важно быть вместе.

Если бараны и ценят что-то друг в друге, так это стадное чувство.

На нашей стороне огромная сила, но это сила инерции.

Дела все хуже, а векселя все крупнее — перестройка, новое мышление, новый мировой порядок, новая цивилизация... Что еще придумает горбачевская команда — новые законы природы?

Комментарии к путчу и торжеству демократии

До новых законов природы руки не дошли — события обрушились и на президента Горбачева, и на оппозицию, и на КПСС подобно селевому потоку. 19 августа 1991 года советское руководство объявило о создании Государственного Комитета по чрезвычайному положению и направило на улицы Москвы танки. Горбачев пребывал на отдыхе в Крыму, президента России Ельцина демократы доставили в Белый дом на Краснопресненской набережной, где он и возглавил сопротивление путчу. Танки

пригодились — с одного из них выступил Ельцин. Он оказался, таким образом, вторым после Ленина лидером России, обратившимся к народу с бронированной машины.

Короткая схватка на набережной закончилась решительной победой демократии.

Сокрушенная партократия массами перешла в лагерь победителей. Российская история потекла по другому руслу.

Итак, комментарии к путчу.

Печать обреченности на лысинах и бодрые бороды.

Если факт не сдается, его уничтожают.

Сели в бронированную калошу.

Солдат может потерять только жизнь, а политик — все.

Нас бросили в дерьмо, а мы пытаемся хорошо пахнуть.

Чем громче вопли о всеобщем согласии, тем яростнее будет резня.

Когда определилась победившая сторона, оказалось, что на побежденной стороне никого и не было.

На послепутчевой сессии Верховного Совета СССР депутаты выступали только с публичными доносами. Урок новой морали.

По Некрасову. Мальчик: «А кто снес памятник Дзержинскому, папочка?» Папа: «Депутат Станкевич, душенька».

Превращается держава в географическое пространство, населенное этнографическим материалом.

Последний удачный военный переворот в России был совершен 12 марта 1801 года. Декабрь 1825 года, август 1917 года и август 1991 года завершились провалом.

Семена анархии дадут богатый урожай. Рано или поздно, но его будут убирать танками.

Можно ли теперь-то сомневаться, что исторический процесс есть сумма просчетов, ошибок и преступлений?

Аксиома русской политологии — любой новый вождь лучше любого старого вождя.

На смену авантюризму оптимизма пришел авантюризм отчаяния.

Этим людям не хватило ума на то, чтобы совершить переворот. А если бы они стали во главе государства?

«Кому же верить?» — горестный вопрос девушки, обманутой не первый раз.

История рассудит, были ли августовские события драмой, трагедией, фарсом или просто свинством.

Торжество победителей несколько омрачалось малочисленностью жертв. Хотелось бы, чтобы их было сотни и тысячи, а не три случайных простака.

Кривая эволюции нашего строя подобна штопору,

ввинчивающемуся в нашу собственную задницу.

Утешает то, что ни одна власть не обойдется без таких, как мы. Любой власти нужны добросовестные простаки.

В КГБ работают исключительно надежные, но преданные люди. Преданные властью, преданные вождями, преданные духовными наставниками.

Публика жаждет персональной крови.

Бог не выдаст, но от новых свиней надо держаться подальше — съедят.

С волками жить, по-волчьи выть. Но стоит ли хрюкать вместе со свиньями?

Секретарь обкома — это не должность, а состояние души.

Вопрос иностранного туриста: «Правда ли, что в России облачают людей доверием и властью лишь для того, чтобы затем их разоблачать?»

Русский служивый человек постоянно попадает в расщелину между начальством и законом.

Оттаивает все дерьмо, замороженное «холодной войной». Надо привыкать к вони.

Политические акты новой власти отмечены алкогольным вдохновением.

Мафия — наш рулевой.

Путч провалился > демократия восторжествовала, Советский Союз распался, и на его обломках началось грандиозное строительство нового рыночного общества. Группа старых вождей оказалась в тюрьме «Матросская Тишина»; пост Президента СССР растаял в воздухе вместе с Советским Союзом; Горбачев, ворча, вернулся к давно забытому статусу простого гражданина, но с титулами «лучшего немца» и «лучшего израильтянина»; партийные лидеры стали президентами независимых государств, активными деятелями нового режима или дельцами рыночной экономики. Советская элита, иными словами, была перетасована, как колода карт, но вся колода осталась прежней с добавлением нескольких бубновых валетов непосредственно в окружение козырного российского туза.

Эта колода будет тасоваться неоднократно, но меняться чрезвычайно медленно. Именно поэтому, может быть, небезынтересен взгляд на нее со стороны.

ПЕРСОНАЛИИ
Тузы, бубновые валеты и шестерки

Самый бойкий из стада баранов выдвинулся в козлы отпущения.

КГБ не оценило генерала К. В отместку он предложил себя на продажу с публичного аукциона.

Сдал партбилет и потребовал вернуть членские взносы.

Когорта великих сыновей недостойного Отечества.

Новый тип политика — гибрид Стеньки Разина и Гегеля.

Горбачев втискивает в русский язык странное слово «судьбоносный». Ему кажется, что оно звучит интеллигентно.

Личность не вывеска режима, а симптом его болезни.

В нашем цирке каждый хочет быть клоуном.

Не знаем пока, за что, но судить их будут...

Без Бога в сердце и без царя в голове.

Евреев нет, а все решения — соломоновы.

Руководство ничуть не поглупело, народ поумнел.

За время перестройки многие вышли в люди. Кто-то из низов, а кто-то из подонков.

Блестящий народный депутат. Как новенький доллар.

Не в свою лужу не садись.

Все ошибки объясняют неопытностью — ведь каж-дый-де из нас впервые оказался в этом мире.

Кресло формирует человека.

России сукины сыны.

На переправе не меняют лошадей, но стоило бы поменять кучера.

Дураки разнообразны, как мир, но их объединяет одно — отсутствие способности сомневаться.

У вождей не осталось ничего, кроме отечества. Им они и торгуют.

«...хотя сам Маркса не читал, но слепо ему верил. А теперь стал верить Ельцину, благо читать у него нечего...»

Нужны ли личности там, где каждый норовит дать другому по морде?

На фоне нашей пестрой действительности выделяются только темные личности.

Величественные пустяки и пустяковые величины.

Нынешние руководители знают жизнь лучше, чем довоенные. Тогда не было телевидения.

Не каждый политик продается. Кое-кто сдается в аренду.

Дело худо. Горбачев обещает довести начатое до конца. А нас уже почти доконало само начало.

Имена нынешних вождей история напишет на заборах. Разумеется, если останутся заборы.

Последствия злоумышления и благонамеренного идиотизма неразличимы. Руководство всегда может сказать, что хотело как лучше.

Не обязательно совершать великое злодеяние, чтобы войти в историю. Можно совершить великую глупость.

История величественна, но орудия она выбирает жалкие.

Если бы государством управляли кухарки, они не оставили бы народ голодным.

В современной России не может быть просвещенного монарха. Все претенденты учились в вечерних школах марксизма-ленинизма.

Голоса ведомых: «Мы погибаем!» Голос вождя: «Кто это — мы?»

Судно тонет. Поразительно спокоен капитан. Он уверен, что уйдет на дно последним. Или есть варианты?

Может ли доведенный до умопомрачения народ избрать нормального президента?

Речь на панихиде: «...лучше бы он не посвящал свою жизнь служению народу...»

По мере обострения ситуации фразы становятся все округлее, жесты размашистее, глаза жуликоватее.

Горбачев: «...развязность в навешивании ярлыков...» («Правда», 3 июля 1991 года). Человек — это стиль?

К чести наших вождей надо сказать, что ни отдать за них свою жизнь, ни отнять чужую ни у кого желания не возникает.

Старо, как мир, — крысы бегут с тонущего корабля. Но когда они пытаются построить свой корабль — это уже что-то новое.

В каждом выступлении присутствует слово «судьбоносный», как клеймо.

Ново-Угореловский процесс.

Разговор в очереди: «Смотрю на нашего президента и думаю — неужели он мог руководить целой областью?»

По специфике страны ей вполне хватило бы в качестве руководителей лисы Алисы и кота Базилио.

За публичное оскорбление чести союзного президента устанавливается штраф. Попытка залатать бюджетные дыры?

Может ли лидер свалиться в пропасть на 10%? Может, если зацепится штанами за выступ.

Историческим достижением Сталина было то, что он предельно упростил картину мира и сделал ее доступной для секретарей обкомов.

«Я неисправимый оптимист!» — говорил Горбачев. Хотелось спросить: «А могила не исправит?»

Рыночному обществу — базарного вождя!

Российских лидеров окутывает покрывало таинственности — уж больно неприглядными они окажутся в натуральном виде.

Совет людям, которые говорят, что наш президент плох, — на

себя-то посмотрите!

Нерон играл на лире, Горбачев — на любительской сцене, а Ельцин играет в теннис.

Строй изменился, система осталась.

Бой с тенью — Ельцин против коммунистов.

Василий Шуйский не был секретарем обкома до избрания царем.

Есть в верхах один русский человек, да и тот чеченец.

Витязь на распитии.

Горбачев возглавил «Зеленый крест». Сделает с экологией то же, что сделал с Советским Союзом.

19 января 1993 года объявлена очередная война преступности. Демократия делает вид, что хочет пожрать свое дитя.

Орхидея нашей демократии — Г.Старовойтова. Изысканно экзотична.

Фамилия Яковлев как бы специально изобретена. Она сочетает громкость с анонимностью.

Президент встречается со своим премьером по вторникам. Понедельник — тяжелый день.

«Всего-то рубль потеряли!» — мог бы сказать Гайдар, уходя в отставку. Ельцин назвал Гайдара умным, потому что тот знал слово «макроэкономика».

Постулат Шеварднадзе — в политике главное вовремя покаяться. Грешить можно в любое время.

Старые вожди думали похоронить капитализм. Не вышло. Нынешние — хоронят нас самих. Получается.

Министр обороны — отец солдатам, прячущийся от алиментов.

Лидер напивался прилюдно. Подхалимы шептались о тайной слабости вождя.

У меня есть принципы. Только я ими не всегда пользуюсь.

Преимущество диктатуры перед демократией очевидно каждому — лучше иметь дело с одним жуликом, чем со многими.

Советский Союз медленно погибал, и тогда Горбачев выступил с концепцией ускорения.

Требуя правления «жесткой руки», каждый демократ рассчитывает стать палачом, а не жертвой. Но не может же палачей быть больше, чем жертв. А население России уменьшается.

«...продолжать реформы до последнего русского...»

Нынешняя власть— это похмелье перестроечного пира.

Говорят о коалиции «здравого смысла». Так где ж его взять?

23 февраля 1993 года на улицы вышли те, кто сидел дома в

августе 91-го. Те, кто был на улице в августе, попрятались.

Историческая справедливость в России торжествует слишком часто. Опять подходим к очередному торжеству.

Живем за счет времени, сэкономленного на строительстве коммунизма.

Президент сердится — парламент не помещается в его карман. И парламент сердится — в его карман не помещается президент.

За три года парламент прошел путь от резинового штампа до фабрики бумаг.

Пациентам сумасшедшего дома хочется, чтобы доктора были нормальными.

Вопрос на референдум: «Ты меня уважаешь?».

Эпоха последних съездов. Съезды вымирают подобно динозаврам. Нужно что-то более компактное и динамичное, вроде автомата Калашникова.

Раньше все неудачи валили на погоду и происки внешних врагов. Теперь — на народных депутатов.

Ветви власти соревнуются в стремлении доказать, что все они одинаково вредны обществу.

19 марта 1993 года первый вице-премьер России сказал, что условия для гражданской войны еще не созрели. Есть варианты: то ли власть созреет для 1937 года, то ли народ для 1917-го.

Для того, чтобы скинуть Горбачева, отдали Советский Союз. Для того, чтобы удержаться у власти, отдадут Россию.

В низах нет власти, в верхах — совести.

Президент плюнул в Съезд и попал. Съезд плюнул и тоже попал. Эпохальная русская дуэль.

Таким образом, пляска политических мотыльков над костром продолжается.

ВЛАСТЬ, НАРОД И ЭКОНОМИКА

Надо отдать должное руководящей команде Горбачева. Придя к власти, она была полна решимости строить новое общество так, как это принято во всем мире, то есть с экономического фундамента. Очень скоро выяснилось, однако, что это трудная и неблагодарная задача, требующая не только интеллектуального потенциала, но и последовательности, упорства и, главное, здравого смысла. Руководство было вынуждено махнуть рукой на фундамент и решило начинать стройку с крыши. На месте экономики образовалась огромная дыра, именуемая рынком. Так в свое время на месте храма Спасителя в Москве был «создан» плавательный бассейн. Фарс повторился в виде трагедии.

Экономика, как и жизнь вообще, состоит не из планов и свершений, а из мелочей. Свидетельство тому, в частности, следующие заметки.

Чем дороже жизнь, тем дешевле идеи, но чем дороже товары, тем дешевле жизнь. Это две стороны одного и того же деревянного рубля.

Идея, овладевшая кассами, становится материальной силой.

Бее люди равны, но кошельки разные.

Суть новой экономики: «Правда, только правда и ничего, кроме правды...». К этому бы еще и колбасу.

Зачем деньги честному человеку? И зачем деньгам честный человек?

Мы все могли бы быть честнее, если бы не хотелось есть каждый день.

Мы отрабатываем свой хлеб. Но кто же расплачивается за наше масло?

Будет ли у нас организованный рынок и регулируемая преступность?

Консерваторов много, а консервы исчезли.

Человек не кошка. Он не к месту привыкает, а к зарплате.

Чем дальше в лес, тем дороже собственная шкура.

Стирание граней между умственным и сизифовым трудом.

Чувство долга никогда не оставит русских. Набрали взаймы у всего света.

Нет пророка в своем отечестве... А также нет мяса, молока, хлеба, обуви и т.п.

Первопроходимцы экономической реформы.

Рынок отнимает то немногое, что дал народу социализм, — работу, еду, жилье, стабильность.

Наша страна впереди всех по птицеводству и коневодству — разводим журавлей в небе и троянских коней.

Если нет мыслей, значит, в них нет потребности. Этим они отличаются от денег. Для того, чтобы народ перевоспитать, его надо накормить, а чтобы накормить — надо перевоспитать. Вот и бьется Михаил Сергеевич над этой задачей...

Честному рублю нет места в обществе, где пустая пол-литра стоит полтинник.

В стране очень много экспертов, но все в чужой области.

«Меньше слов, больше тела!» — девиз нового кино.

Во время чумы хочется, чтобы кто-нибудь пригласил на пир.

И на рынке есть место сердцу. Говяжьему, на прилавке.

Дров наломали много, а страна остается без топлива.

Резко упали тиражи газет — исчезла селедка, которую в них заворачивали.

Готовы отдать жизнь за отечество на рыночной основе.

Ошибки поучительны. Именно поэтому их стараются не вспоминать.

Мы не против того, чтобы женщина торговала своим телом, а против того, чтобы она им спекулировала.

Вновь превозносят Христа. Готовят товар на продажу?

Народ воспринял «общечеловеческие ценности» как нечто материальное и приготовился было их делить. Материальное делят немногие. Народу, как всегда, достанутся духовные ценности.

Гуманная каша для инфантильных мозгов.

Люди готовы испить любую чашу. Была бы закуска.

Еда становится все паршивее, как и жизнь. Но лучше никудышная, чем никакой.

Усушка и утруска экономики.

Торговая точка обсчета.

Журнал «Проблемы мыла и социализма».

Благотворительность — милостыня немногим за счет ограбления многих.

В рыночном обществе можно дождаться милости только от природы.

Лес вырубили, а щепки все летят.

Нынешние цены столь примечательны, что их стоило бы писать золотом на мраморе.

Губит нас не лень, а бестолковая активность.

Объявили голодовку в знак протеста против надвигающегося голода.

Мы стали неизмеримо лучше жить в денежном выражении.

При покупке свежего яйца сдавать пустую скорлупу.

Извечный спор — что исчезло раньше, яйцо или курица?

Весеннее повышение цен — это как бы намек на то, что могут появиться товары.

Заварили кашу, а жрать нечего.

Первой жертвой демократии пала колбаса.

Предлагается готовить ежедневные сводки о ходе обнищания населения с прогнозом на завтрашний день.

«...русский-то народ?» — переспросил складской сто-рож и процитировал Некрасова: «Вынесет все...».

Мужество должно быть выгодным, как и все в рыночном обществе.

Памятка хозяйке: килограмм сахара — это литр самогона. Не расточай сахар на варенье.

У экономистов концепций больше, чем рублей.

«Социалистический выбор» — реклама московских

магазинов.

Если бы действительно существовал железный занавес, его уже давно продали бы за границу под видом железного лома.

С каждым годом возвращаем все больше украденного, а страна никак не богатеет. (Из выступления на совещании в КГБ.)

Кое в чем жизнь к старости складывается удачно. Не осталось зубов, зато исчезло мясо.

Все отличные планы заканчивались провалом. Тогда догадались — разработали план уничтожения экономики, рассчитывая, что и он, как положено, провалится. Но план сработал.

Военные расходы определяются на основе оборонной загадочности.

Народ еще только подходит к рынку, а его уже ограбили.

Коммерческий банк «Промотей».

В Латвии новые деньги — латы. Латаная экономика.

«...самые емкие в мире взяточники...»

«Грабь награбленное!» — лозунг 1917-го. «Грабь ограбленного!» — лозунг 1992-го.

Экономическая яма продолжает углубляться, цены стремительно растут, народ столь же стремительно нищает, мощным потоком утекают из России нефть, газ, металлы, лес, и вырученные деньги оседают на зарубежных счетах, подпитывая западную экономику.

Новые союзники России тщательно скрывают внутреннее ликование, выражают озабоченность судьбой российской демократии, обещают помочь миллиардами и ограничиваются поставками залежалых товаров в виде «гуманитарной» помощи.

Внешняя политика, как никогда раньше, переплетена с внутренней, подчеркивали авторы горбачевского «нового мышления». Правдивее слов не было сказано. Возможно, это были единственные правдивые слова перестройки.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ И СОЮЗНИКИ РОССИИ

В июле 1990 года была четко определена цена величия Советского Союза. Канцлер ФРГ Коль предложил за него 5 млрд. марок.

Нас подвела психология «осажденной крепости». Мы ждали нападения извне.

Запад превращает Советский Союз из мирового страшилища в мировое посмешище. И то и другое экономически губительно.

Предмет гордости политического руководства — никогда еще ни одна страна не капитулировала с таким достоинством»

Убеждаем себя, что на Западе нас не любили за лозунги.

Несмотря на успехи нового мышления, Россия еще жива.

Улыбка — наше оружие. Единственное. Это ценят на Западе.

Оппозиция росла на отечественной почве, а ее корешки тянулись за рубеж.

Былые противники гораздо опаснее в качестве союзников.

Народы сближаются. Для рукопашного боя?

Коммунисты не смогли изменить мир, но изрядно его удивили.

Выяснилось, что «общечеловеческие ценности» полностью совпадают с национальными интересами США.

Россия не останется без иностранных друзей, пока у нее есть что грабить.

За политический стриптиз платят продовольственными посылками, чтобы исполнители не выглядели отощавшими.

Нельзя унизить лакея чаевыми, а союзника премией.

В Советский Союз присылают лекарства с истекшим сроком действия. Видимо, для безнадежных больных.

Русские вспомнят новое мышление и Персидский залив, когда союзные эскадры войдут в Черное море и Финский залив.

Побежденного в войне облагают контрибуцией. Побежденному в холодной войне подают милостыню.

Американские многонациональные силы.

Американцам военный флот нужнее, чем нам. Сейчас им приходится отстаивать свои жизненные интересы в Персидском заливе, а завтра — в Прибалтике.

Саддам покусился на величайшую святыню США — нефть. Такую обиду можно смыть только кровью.

Девиз американского телевидения: «Войну — в каждый дом!».

Учительница средней школы Вильнюса Намицке-не заявила ученикам — детям военнослужащих, что они «выкормыши красных фашистов и если они не уберутся из Литвы, то умоются кровавыми слезами».

Американцы истребляют иракцев за то, что Ираком правит Саддам. Гуманисты вьетнамской школы.

Американская армия в Заливе — «дура в пустыне», безжалостная и слепая.

Внешняя политика хороша, когда есть политика внутренняя.

Только одна держава в мире может разгромить Россию. Это сама Россия.

«Колхоз», «спутник», «перестройка» и т.п. — русские слова, вошедшие в международный лексикон. Было бы полезнее разъяснить миру русское слово «авось». Нас стали бы лучше понимать.

С задворок мирового прогресса Советский Союз перемещается в его мусорную яму.

Демагогия «нового мышления», «нового мирового порядка» стара, как мир. В отношениях между государствами не может появиться ничего нового, кроме оружия.

С удивлением убедились, что знания слов «менеджмент» и «маркетинг» для выхода в мировой бизнес недостаточно.

15 марта 1991 года госсекретарь США Бейкер сказал Горбачеву: «Мы хотим, чтобы вы добились успеха. Мы хотим этого столь же сильно, как вы, а может быть, даже сильнее». Горбачев нашел достойные слова: «Ну, это вряд ли». Что это, мужская крепкая дружба или настоящая любовь?

Президент едет в Японию, чтобы рассказать японцам об общечеловеческих ценностях и заодно попросить денег в долг. Своим азиатским умом они могут в ценности не поверить.

«Духовно мы близки...» — сказал Горбачев японцам. Звучит как строка Тютчева.

Нельзя ли предложить японцам вместо Южных Курил Нагорный Карабах?

Побывали в Японии. Пытались поймать Кайфу.

На общеевропейскую кухню со вчерашними щами.

Что же это за цивилизованный мир, где нам, интеллигентным людям, адептам нового мышления, не дают взаймы?

Система не в состоянии оплатить собственные похороны, вот и приходится просить взаймы.

Соотечественников за рубежом выдает покрой ума и склад костюмов.

Говоря военным языком, условия, которые предлагает Советскому Союзу Запад, очень просты: «Бросай оружие! Выходи с поднятыми руками! Коммунисты — направо, демократы — налево, шпионы — вперед!». После этого с русскими будут обращаться в соответствии с Женевской конвенцией.

В Лондоне советскому президенту преподнесли основной урок рыночной экономики — не каждому дают взаймы.

Цель процесса разоружения — оставить русским только то оружие, которое необходимо для гражданской войны.

С нас снимают живьем кожу и участливо спрашивают: «Не очень беспокоит?». За всех отвечает один: «Совсем нет! Даже приятно!»

29—31 июля 1991 года в жаркой Москве ощущался легкий ветерок — виляли сотни хвостов. «Хозяин приехал! Добрый господин Буш! Гуманный и богатый!»

Кое-кто в порыве общечеловеческого умиления предлагает вариант: на годок-другой Буша сюда, а Горбачева — туда. Так и

выравняемся.

Внешняя политика России диктуется национальными интересами. Американскими.

Запад хочет от России только одного — чтобы ее не было.

В силу внутренних неурядиц Россия оказалась неудобным объектом для цивилизованного грабежа. Поэтому идет примитивное ограбление.

Ирак продолжает совершать агрессивные действия против США на своей территории. Американцы возмущены.

25 января 1993 года Ельцин усомнился в тождестве американской и российской политики в отношении Ирака. Мужественный шаг!

Российская разведка обеспокоена проблемой распространения ядерного оружия. Другие ведомства с завистью думают — нам бы ваши заботы. Беловежская Лужа, в которой утопили СССР.

«С русскими не надо воевать. Им надо дать свободу — и они перебьют друг друга». Кто сказал?

НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ И НОВЫЕ УЧЕБНИКИ

Новые времена основательно расшатали традиционные, расхожие представления об окружающем нас мире. Суеверия вчерашнего дня оказались сегодня наукой, преступления — подвигом, заблуждения — истиной. Во многом изменились представления о добре и зле, изменился сам русский язык, вместив в себя «импичмент», «консенсус», «судьбоносный» и отказавшись от таких простых слов, как «честь», «стыд», «совесть».

Воистину, народ вовлекли в какую-то неизвестную ему доселе цивилизацию, и, естественно, возникла нужда в научном осмыслении неизведанного.

Ниже следуют отрывки из некоторых новых учебников, которые либо готовятся к изданию, либо в различных видах уже используются в области народного просвещения.

В политике нет полезных ископаемых— все они вредные.

Динозавры вымерли, а тараканы процветают. Выживает не самый сильный, а самый неприхотливый.

Из учебника политэнтомологии: пониманию явлений, присущих политической борьбе в рамках многопартийной системы, в немалой степени помогает изучение повадок и вкусов насекомых.

Из учебника географии: Колумб прославился не тем, что изобрел Колумбово яйцо, а тем, что открыл Америку.

Из учебника политической паразитологии: Между

паразитическими организмами... могут проявляться антагонистические отношения, при которых наличие в составе паразитоценоза одного вида создает неблагоприятные условия для существования в том же паразитоце-нозе другого вида.

Все живое — от академика до микроба —- подчиняется одним законам.

Из учебника социальной микробиологии: Скромная внешность обманчива. Встретив на митинге вибрион холеры, вы не обратили бы на него ни малейшего внимания...

Из учебника популярной сексологии: В конечном итоге вся происходящая смута есть результат неудовлетворенности российских женщин. Женщина, счастливая в интимной жизни, не пойдет ни в политику, ни на уличный митинг. Она удержит от этого и мужчину.

Остервенелость современной публицистики отчасти объясняется тем, что тон ей задают женщины...

Получив по физиономии за нахальный взгляд на чужую жену, не говори, что пострадал за взгляды.

Из учебника театрального мастерства: Если в первом акте на стене висит ружье, во втором акте оно будет украдено.

Только в политике трагедия может разыгрываться шутами.

Из учебника социальной психиатрии: Явление массовой разбалансированности умственных способностей обнаружено в середине 80-х годов и до сих пор тщательно не изучено...

В мире абсурда рациональное кажется нелепостью.

Заметки натуралиста: Весна 1991 года. У животных начинаются брачные игры. У шизофреников — обострение, их тянет на улицу, к людям, к мордобою. Люди шалеют. Инстинкт стадной миграции заставляет их сбиваться в демонстрирующие толпы. Набухают почки и физиономии вожаков. Тает лед, потоки ненависти захлестывают сердца. Руководящие хомяки роют себе норки. У них появился дар провидения, присущий грызунам.

Из учебника русского языка: Лингвисты будут вспоминать эпоху Хрущева по слову «заец», Горбачева — по «судьбоносный» и «ложить начало», Ельцина — по «ваучеру».

Из учебника политической географии: В древности все дороги вели к Риму. В новые времена стали искать дорогу к храму. Искали те, кто непременно любой дорогой придет к сраму.

Даже неразумный человек может сделать правильный шаг, если он будет исходить из ложных посылок.

Из учебника астрологии: Дело в том, что у нас несчастливая планета — Земля. Объяснение наших трудностей вмешательством космических сил ничуть не глупее, чем все другие расхожие объяснения.

Научный прогресс неудержим. Рынок требует от ученых быть ближе к потребностям жизни. В первых рядах, как обычно, бывшие профессиональные философы и идеологи, которые не покинут Россию даже тогда, когда из нее утекут на Запад все мозги. Идеологи обходились без мозгов во времена партийной диктатуры, обойдутся без них и в демократические времена. Народ должен быть готов к новым открытиям.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Всякая мысль, положенная на бумагу, становится плоской.

Люди часто завидуют здоровью, везению, благополучию другого. Лишь чужая глупость всегда кажется хуже собственной.

Бывают ситуации, когда выгодно быть бескорыстным.

Случайностью называется непонятая нами законо-мерность.

Человеку нужно очень немногое для счастья и еще меньше для несчастья.

Быстрее времени летят только деньги.

Порядочным считается человек, который не врет без необходимости.

Серьезные женщины легкого поведения.

С возрастом исчезают тайные пороки и отчетливее проявляются явные.

Возможных ошибок так много, что их можно совершать всю жизнь, ни разу не повторившись.

Можно прожить месяц без еды, но ни дня без иллюзий.

Былые заблуждения всегда кажутся занятнее новых. Особенно если это чужие заблуждения.

Самовранец — независимый журналист. Чужевра-нец — иностранный журналист или внешнеполитический обозреватель.

Интервьюшка — молодая журналистка.

Добрые дела легче делать, чем плохие. Но мы не ищем легкой жизни.

Мир устроен несправедливо. Только это многих и спасает.

Проще простого узнать будущее. Надо только подождать.

Биография современника: родился, стоял в очереди, помер...

Одни живут, чтобы есть, другие — чтобы соблюдать диету.

Легко устоять, когда некуда падать.

Наш слабый пол самый сильный в мире.

Скромность украшает человека. Нередко это единственное украшение.

Странно, такой умный, а не еврей.

Мужчины плачут редко, ибо за них плачут женщины.

В чужом конфликте следует вставать на ту сторону, которая

больше заплатит.

Отравился водой, случайно попавшей в организм с алкоголем.

Диагноз: острая алкогольная недостаточность.

Вчерашнее завтра — всего лишь завтрашнее вчера.

В мире есть водородная бомба, но нет средства от насморка.

Вышел на бой с открытым забралом, простудился и умер.

Помни о смерти. Жизнь напомнит о себе сама.

Газетный заголовок: «Совесть — чистая или никакой!».

Человеческая душа — глина. Она сохраняет след прошедшего по ней сапога.

Ничем не оправданное желание жить.

Простим любую глупость, лишь бы человек не умничал.

Ничто так не способствует карьере, как своевременно сказанная глупость.

Ондатровая шапка — красивый головной убор, но многие физиономии его портят.

Нельзя два раза съесть одну и ту же курицу, а человека — можно.

Человек простой, как колумбово яйцо.

Когда слышишь так много убежденных голосов, появляется мысль — опять обманут!

Ничто так не украшает сцену подвига, как труп героя.

Опасайся бросить тень на чужую эрудицию.

Прежде чем воспользоваться парадным входом, убедись, что есть почетный выход.

Русская общественность истосковалась по непечатному слову. Был провал от Баркова до демократии.

Кому нужна свобода слова, если мы умеем только рычать?

Чтобы жить хорошо, нам надо жить намного лучше.

Источник многих недоразумений в том, что человек рассчитывает жить вечно.

Женщина слегка замужнего вида.

Не торопись делать добрые дела. Возможно, завтра тебе будет нечем заняться.

У лжи короткие ноги. Поэтому она прочно стоит на земле?

Будьте взаимно вежливы в специально отведенных местах.

Возможно, я дурак, но я сын своего народа.

Надо жить. Со всеми вытекающими последствиями.

Завистник на свадьбе хотел быть женихом, на похоронах — покойником.

Вопрос: «О чем шумим?» потерял смысл. Надо спрашивать: «О чем помалкиваем?».

Каждый пациент имеет право знать, от чего он умер.

Не в свою лужу не садись.

Отрицательного героя украшают недостатки.

Закусить удилами — старинная ямщицкая привычка.

В мире есть много слов, к которым трудно подобрать мысли.

Общество страдает манией расследования и манией преувеличения.

Идеи за своих носителей не отвечают. Было бы глупо винить социализм за Горбачева, а демократию — за Ельцина.

Жадность растет в геометрической прогрессии к богатству.

Декоративная совесть.

Каждое поколение считает себя умнее предыдущего и порядочнее последующего. Похоже, что так оно и есть.

Если бы большинство всегда было право, то земля по сию пору оставалась бы плоской.

Легко богохульствовать, зная, что Бога нет.

Только чужая ошибка непростительна.

О своих недостатках или ничего, или хорошее.

Следуй велениям сердца и быстро дойдешь до инфаркта.

Сложись обстоятельства по-другому, ложь стала бы правдой, а правда — ложью.

Не забегай вперед. Спина — удобная мишень.

Каждый гадкий утенок поет лебединую песню.

Не надо спешить. Жизнь коротка — споткнешься и не успеешь подняться.

Во всем необъятном животном мире только человек может быть дураком.

Секрет долгожительства — самообожание.

Просто факт — это новорожденный ребенок. Неизвестно, чем он станет — правдой или ложью.

Чувство локтя товарища. Под ребром.

Вечность за нами и вечность перед нами. А мы думаем о долголетии.

Журналисты, как кобельки, задирают лапу у каждого могильного камня. Ретроспективное мужество.

Плюнуть в имидж.

Мы, русские, сильны коллективным умом. Задним.

Предателями становятся не в силу обстоятельств, а по душевной склонности.

Инструменты власти — тень кнута и призрак пряника.

Юбилей отличается от поминок тем, что виновник торжества еще может что-то выкинуть.

Анекдоты рождает жизнь. Аюди их просто пересказывают.

В каждом знании есть доля ложного. Чем больше знаний, тем весомее эта доля. Стоит ли учиться?

Только по вечерам жизнь кажется тяжелой, по утрам она невыносима.

Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но можно дважды сесть в одну и ту же лужу.

Рынок в России не столько экономическое явление, сколько состояние коллективной души.

Можно увидеть жизнь как вереницу утрат. Тогда будешь ценить не то, что приобрел, а то, что не потерял.

Многие деятели и книги считались несправедливо забытыми. Их вспомнили и вновь забыли, теперь уже справедливо.

Не сожги инквизиция Джордано Бруно, кто бы его помнил сейчас? Но кому какая разница?

Мечта приятеля «— пожить собакой в хорошем доме.

Жизнь — это не самолет. Ее можно покинуть в любое время.

Современная пресса не безнадежна. Временами газетчикам изменяет дурной вкус.

В абсолютно справедливом мире будет цениться несправедливость.

Мы не самый глупый народ в мире. Но это лишь гипотеза, т.к. прямых доказательств нет.

Эпитафия — скончавшийся эпиграф.

Лозунги: «Экономика должна быть!» или «Экономика должна».

Хорошо, что служебное положение не позволяет впасть в запой, а то ведь и бутылки не купишь.

Все больше вокруг приятных лиц и все меньше желания их видеть. Годы!

Слова убивают мысль.

Мой словарный запас слишком обширен для имеющихся мыслей.

А кто ни с чем к нам придет, тот от того и погибнет.

Мечом бы ему да по оралу... (митинговая мысль).

Курить вредно. А жить?

«...до основанья, а затем мы свой, мы новый миф построим...» (из гимна «Демроссии»).

Занимая место под солнцем, ты загораживаешь кому-то свет.

Старые книги не умнее новых, но мудрее своей простотой.

Писателем может стать каждый. Нужна бумага и отсутствие более интересного занятия.

Надо бы думать о спасении души, да текучка заедает. И стоит ли такую душу спасать?

Правовому государству нужен современный закон джунглей.

Годы облегчают бремя памяти склерозом.

Меняются моды на прически. Лишь плешь вечна.

Любите собак. Они не задают вопросов.

Старинные книги примиряют с неизбежностью иллюзий как условия существования.

Мы платим, когда что-то покупаем, и мы же расплачиваемся, когда нас продают.

Из выступления на проводах ветерана на пенсию: «Сегодня мы провожаем в предпоследний путь нашего дорогого...»

Бог создал землю за семь дней, а люди расхлебывают эту кашу тысячи лет. Не надо было спешить!

Простые истины — это избитые истины. Не будь и сам прост.

Направление реформы подскажут жизнь или кошелек.

Парадокс это связующее звено между рациональным и абсурдным. Парадоксально само наше бытие.

Приоритет организма перед личностью неоспорим, ибо второе невозможно без первого.

Цинизм — последнее прибежище идеалиста.

Недостаточная образованность, доверие к власти и к старшим, отсутствие привычки думать — гранитный фундамент любой идеологии.

Не надо жить долго, чтобы не искушать судьбу.

Вежливость нам ничего не стоит. Впрочем, как и грубость.

Слишком мало отведено человеку времени, чтобы им дорожить.

Мог бы покаяться только в одном — грешил, но мало.

Если трезво взглянуть на жизнь, то хочется напиться.

Женщины ласкового возраста.

К старости ума не прибавляется, но его и требуется меньше. Невостребованный ум называется мудростью.

Из уголовной хроники: «...задержан. Им оказался нигде не работающий сотрудник одного из академических институтов».

Позади сожженные мосты, впереди разбитое корыто.

Поиск смысла жизни неизменно приводит к бессмыслице.

Совесть шепчет: «Да брось ты меня, дурак. Живи как все!»

Научное микровоззрение.

Дать ветеранам дополнительные права человека.

Стоит ли радоваться наступающему дню? Ведь он унесет еще 24 часа из твоей жизни.

Вечности не нужна пунктуальность.

Рукописи не горят. Горят издатели.

Каждый человек хотя бы раз в жизни решает сказать всю правду. Именно в такие моменты люди отчаянно врут.

Давайте посмеиваться над жизнью. Все равно она будет смеяться последней.

Часть II. ССАДИНЫ И ЦАРАПИНЫ

1993—1997 годы

За окном темно и» видимо, холодно. Синевато отсвечивают окна — москвичи впитывают очередную порцию телевизионного дурмана. Кто-то смотрит картинки из богатой жизни про любовь, кто-то, затаив дыхание, переживает вместе с американским героем, уничтожившим десяток американских же негодяев, кто-то с доверием взирает на вдохновенно врущего аналитика,. Телевидение — ум, честь и совесть нашей эпохи! Хороша эпоха.

Маленький письменный стол перегружен. Вырезки из газет, записные книжки, ручки и карандаши, календари, изящная фигурка ящерицы на зеленом камне, увеличительное стекло, часы, еще одни часы, настольная лампа, ониксовые четки, чашка с недопитым чаем, зажигалки, пепельницы, фотографии, визитные карточки, настольная лампа — все то, без чего человек может прекрасно обойтись. Кроме лампы, конечно.

Там же, на столе, несколько маленьких блокнотов. Разлинованные в клеточку листки, связанные сверху общей пружинкой. Блокноты помещались в карман, и на их листках было удобно записывать доверительнейшие беседы. Жизнь, частью которой были такие беседы, закончилась, чистые блокноты остались.

Довольно быстро протопталась новая тропинка, колея существования, ибо каждый человек идет по какому-то, заданному не им, а обстоятельствами, пути. С точки зрения личной жизни все налаживалось — семья сыта, есть постоянное общение с коллегами по прошлому бытию. Почти все они вписались в новые обстоятельства, постанывают, жалуются, ругаются и живут. Никогда раньше, занимая высокие посты в КГБ, МВД, Министерстве обороны, ЦК КПСС, они не зарабатывали так хорошо и не чувствовали себя так плохо. Одно дело — получать скудную зарплату и знать, что работаешь на великое государство; другое — работать на хищника, который хорошо тебя кормит, но выбросит в любой момент, когда ты ему станешь не нужен.

Слава богу, у нас нет хозяев. Своей компанией владеем мы сами, зарабатываем скромно, в соответствии с нашими скромными потребностями.

Мне хотелось осмыслить, что происходит с моим народом, моим государством.

И вновь приходилось убеждаться, что попытка найти какие-то общие формулы, разработать концепции (этим занимался и продолжает заниматься легион политологов, социологов, экономистов, публицистов) обречена на неудачу. Для того, чтобы постичь закономерности движения планет, надо было родиться Ньютоном. Россия сложнее Солнечной системы. Только непомерное, хлестаковское самомнение могло бы претендовать на безошибочное познание ее судьбы. Хлестаковых оказалось множество — обиженных и торжествующих, взыскующих власти и боящихся от власти оторваться. Директивное единомыслие подвело страну к пропасти, плюралистский разнобой казался предвестником превращения пропасти в гигантскую могилу.

История тем временем не стояла на месте. Российская власть неожиданно раскудрилась на несколько ветвей, самая хищная ветвь пожрала или купила другие побеги, был расстрелян первый свободно избранный российский парламент, принята новая Конституция, и избрана Дума, русские войска ушли из Германии, провалилась попытка вооруженной рукой расправиться с сепаратистами в Чечне.

Общих формул не было — человек должен иногда признавать свое интеллектуальное бессилие.

Маленькие блокноты на пружинках заполнялись наблюдениями о жизни, заметками о рефлекторной реакции ветерана на окружающую среду. Хронологические рамки заметок определялись единственно емкостью блокнотных листов. Заканчивалась последняя страничка посреди исторического действа, и начиналась новая, в новом блокнотике.

МАРТ 1993-го - ИЮНЬ 1993 года

От беспорядка к беззаконию

(беззаконие как высшая стадия беспорядка)

Интересно. Чем меньше любит наших вождей народ, тем больше нравятся они Западу.

Доживем ли мы до дешевой и несмертоносной колбасы?

Первый в мире народ, подвергнутый сплошной ваучеризации. Опять мы впереди всех.

С распадом партии и развалом армии единственным организованным элементом общества остается преступность.

Президент намерен выйти на референдум с единственным вопросом: «Ты меня уважаешь?».

В 1919 году Запад не поддержал Колчака и Деникина, так как они выступали за «единую и неделимую Россию». В 1993 году Запад ринулся на помощь Кремлю.

Правомерные мусульмане.

В условиях нарастающей экономической и политической нестабильности особенно тяжело переживается состояние похмелья по утрам в понедельник.

Президент со спикером живут как Сцилла с Харибдой или как Содом с Гоморрой.

Мы идем строго вперед, не обращая внимания на шарахания дороги.

Занятная форма мании величия — прыщи на больном теле пытаются представлять себя смертельным заболеванием.

Демократия могла бы выжить, если бы не демократы.

Провел день дома, наедине с самим собой. От этого еще больше поглупел.

Каждый политик мечтает о том, чтобы его судила история, и опасается суда современников.

О достижениях советской власти напоминает лишь антисоветчина.

На Васильевском спуске гуляют демократы. Надо переименовать это место в Откос российской демократии.

25 марта 1993 г., референдум. Народу дается шанс проголосовать за собственное вымирание.

Избранный общенародным меньшинством.

«Геноцид» — это когда убивают; «плебисцит» — просто обманывают.

Из плохих работников получаются великолепные ветераны.

От референдума к референдуму. Как пьяный от столба к столбу.

Незнание закона, равно как и его отсутствие, не является смягчающим вину обстоятельством.

Россия получила статус развивающейся страны, а ее жители звание аборигенов.

Обещанных ранее 24 миллиардов показалось мало. В середине апреля 1993 года России пообещали уже 43 млрд. Горбачеву столько никогда не обещали.

Сербов бьют, чтобы раз и навсегда поставить на место Россию.

Народ с президентом — хочет того народ или нет.

Наши лидеры крещеные, но в импортной купели.

Перейти в ислам и выгнать всех свиней? Так мог бы размышлять св.Владимир.

Пушкин: «...живая власть для черни ненавистна», живая чернь

для власти ненавистна.

У российского интеллигента совесть есть, но ее так мало, что используется она только в зарубежных поездках.

Плакат над Тверской: «Президент! Кинематографисты с Вами!».

Постулат демократии — людям нравится быть обманутыми.

Загляни в душу русского человека и увидишь там телевизионный экран, показывающий все программы одновременно.

Импортируются товары народного истребления: спирт, табак, видеокассеты, презервативы, автомобили.

Честно подвести итоги своей жизни человек мог бы только после смерти, но и тогда ему захотелось бы выглядеть лучше, чем он был при жизни.

Мышонок с подпольным стажем.

Старость — это безлюдье.

В составе Вооруженных сил России есть Гуманитарная академия. Видимо, там учат убивать без боли.

Недостатки хорошего человека очевидны, а плохой человек их прячет.

Слишком долго жили в атмосфере полуправды. Теперь задыхаемся от чистой лжи.

Цель оправдывают средства. Массовой информации. Могут ли у благородной цели быть такие средства? Каковы средства, такова и цель.

Я сожалею не о прожитом, а о том, что предстоит прожить.

Насмешка — единственное противоядие отраве жизни.

Растет число самоубийц. Ну ладно расстаться с жизнью. Но с демократией, рынком, Ельциным? Нельзя понять этих несчастных...

Шизофренляндия.

Мы напрасно думали, что победили в Великой Отечественной. В истории не бывает окончательных побед.

Денежные купюры стали меньше. Они как бы съежились, стыдясь своего ничтожества.

Надо бы заниматься не столько правами личности, сколько правами организма. Каждый организм дышит отравленным воздухом, пьет нечистую воду и ест вредную пищу.

«Через тернии — к бабам!»

Жизнь коротка и печальна, и поскольку она печаль-на, то хорошо, что она коротка. Бог милостив.

Референдум. Впервые в истории России пытаются голосовать деньги.

У творческой интеллигенции были слава, деньги, свобода,

комфорт. И все же чего-то не хватало — задницы, которую можно было бы лизать. Нашли, и теперь совершенно счастливы.

Групповой портрет с задницей.

Новое светлое будущее радостнее, чем старое светлое будущее.

К тому времени, когда будущее становится настоящим, оно несколько изнашивается и даже протухает.

Важно расколоть народ, а баррикады сами появятся.

Ближайшее зарубежье — Тула, Калуга, Рязань...

Телевидение — кривое зеркало, в котором кажутся приятными кривые рожи.

Если и было что-то занятное в книге моей жизни, так это опечатки.

Никто не удивился, когда в книжных магазинах стали продавать водку, ботинки, штаны. Никто не удивится, когда там перестанут продавать книги.

В России все вожди незаменимые. Но они умирают, а страна, как ни странно, живет.

Незаменимые есть, а бессмертных нет.

Мы материалисты. Для нас нет ни бессмертной души, ни бессмертных имен, ни бессмертных идей.

Есть смысл беречь нынешнюю власть. Следующая будет еще хуже.

Худшее — враг плохого.

Россия загадочна. Здесь выигрывает тот, кто проиграл.

Амбиции проходят, зависть остается.

Мы неблагодарные люди. Нам мало, что власть нас не расстреливает и не ссылает. Мы требуем, чтобы она нас кормила и оберегала. За что? Что мы для нее сделали?

Скоро услышим: «диктатура совести».

Человек может быть дураком только в рамках своих умственных возможностей.

Переход от картошки к лососине чудесно меняет цвет лица.

Пенсионер— визитер из прошлого, сумма старых грехов, заблуждений и ошибок. Возраст крепких напитков и слабых утешений.

Меняются времена и люди. Неизменными остаются лишь иллюзии.

Любое бессмысленное занятие может стать смыслом жизни.

Не реформы, но реформаторы вызывают у народа отвращение.

Журналистка с неярко выраженным лицом и отчетливой фигурой.

Психология сдавшейся крепости.

Для того, чтобы новые лидеры показались приличными, требовался совершенно отвратительный фон.

Русское чудо — экономику — уничтожили, а народ все еще живет.

Конституция призвана увенчать величественные развалины Российской державы.

Всесильны на десять процентов и всеведущи на один.

Сбылась вековая мечта о неразменном рубле. Он стал как атом неделим. А жизнь по-прежнему копейка.

Наша жизнь — попытки предвидеть непредвиденное, предсказать непредсказуемое, дождаться неожиданного.

Новые люди совершают старые ошибки. Новые же времена требуют новых ошибок.

Новая пропаганда ничем не отличается от старой. Берут лозунг или слово и повторяют его до тошноты.

Верим в Конституцию, но предпочитаем получать наличными.

Если нет мыслей, значит, они не нужны. Этим мысли отличаются от денег.

Очень немногие деятели нынешней демократии могли бы выглядеть достойно на кресте.

Можно было бы к старости посмеяться над жизнью» Но уж больно жалко выглядят искусственные зубы.

Когда человек погружается в себя, звон в ушах заглушает уличный шум.

У нас давно есть частная собственность, честной нет.

Окончательно примиряет человека с жизнью только смерть.

Нельзя сказать, что годы уносят здоровье. Они всего лишь добавляют болезней.

Книга как элемент интерьера выходит из моды. Как элемент культуры она уже исчезла.

Естественное желание власти — выбирать своих избирателей. Для этого и нужна новая Конституция.

Демократия — диковинное для России существо. Ему строят конституционную клетку. Любоваться будет можно, потрогать нельзя. Низость замыслов сравнима только с дерзостью их исполнения.

Жизнь была слегка омраченной постоянным ожиданием удара в спину. А так, нормальная была бы жизнь.

Идеал суверенности — каждый сам себе враг. А равно друг, товарищ и брат

Инволюция демократии.

Абсурдеон, абсурдиум, абсурдия. Per aspera ad absurdum.

...навеки вместе в памяти народной, как Содом с Гоморрой,

хрен с редькой, кошка с собакой.

Рыбы нет, но протухших голов множество.

ИЮНЬ 1993-го - МАРТ 1994 года

Парадокс — это действительность, вывернутая наизнанку. У нашей действительности все стороны изнаночные.

Абсурд — это реальность, доведенная до отчаяния.

Мы готовы отстаивать наши ценности. Любые, за хорошие деньги.

Не было бы коммунистов, не было бы и Солженицына.

Мнение о том, что нынешним лидерам нет альтернативы, просто обидно для великого народа. Неужели он не сможет произвести еще один набор шарлатанов.

Один пьет, другие подпевают.

Нуворишки.

На мусорной свалке истории благоденствуют навозные жуки.

Что вы цените в женщине? То, что отличает ее от мужчины!

Люди остались прежними, но фон изменился.

Напрячь умственный интеллект.

Трудно сказать что-то настолько глупое, чтобы удивить Россию.

Телевидение — средство общения мошенников с простаками.

Народ занят защитой демократии друг от друга.

Власть сплачивается под лозунгом «Держи вора!».

Если отвлечься от шума городского, то в столице стоит осенняя мертвая тишина.

«Высокая степень понимаемости друг друга». (Корр. «Маяка» о встрече Ельцина с Валенсой 26 августа.)

В мире полно добрых людей, превращенных обстоятельствами в злодеев. И наоборот.

Лимузирование начальства.

Пейзанизация крестьянства до полного офермери-зирования.

Все, что было опоздано...

Ситуация в высоких шхерах.

Что ты сделал для будущей России?— А что будущая Россия сделала для меня?

Из разговора в трамвае: «Штой-то Борис Николаевич давно в церкви не был?» — «А он в дивизии Дзержинского молится».

«Пою мою милицию...» — словами Маяковского жаловался коммерсант.

Народ свалился в пучину бедствий, и все дерьмо всплыло на поверхность. Общество очистилось?

Из рекламного объявления: «Форма оплаты круглосуточная».

Наша власть, как наши деньги. Ее очень много, но она ничего не стоит.

Человек с лицом кавказской национальности.

Не ум украшает личность, а личность — ум.

Если перекрыть отток денег и ресурсов, то воровать в России можно будет вечно.

Мы брюзжим во имя славного прошлого и светлого будущего.

Беспросветно светлое будущее.

России нужна не столько твердая рука, сколько трезвая голова.

Дубина — двигатель всех русских реформ. Обидно!

22 сентября 1993 года. Почему бы не ввести в России прямое президентское правление? Билла Клинтона.

Жить еще можно, но уже противно.

Сочиняли пародию, а получился гротеск. Традиционная русская забава — защита Белого дома.

Зачем сгонять людей в концлагерь? Можно просто обнести любое скопление людей колючей проволокой.

Концлагерь в каждой душе. Душа обнесена колючей проволокой.

Такое лицо, как у Н., не жалко и потерять. Уж больно оно опухшее.

У нас не может быть полицейского государства, ибо полиция отделилась от государства.

Одни дети Августовской демократической революции исчезают, другие становятся все упитаннее. Не имеем ли мы дела с каннибализмом?

Осенняя муха — жить ей уже недолго, а как помереть, она не знает.

Невелика мудрость сказать: «Я знаю только то, что я ничего не знаю». А вот прочитать на эту тему лекцию и получить гонорар...

4 октября 1993 года. Если осень демократии пахнет «Черемухой», то это весна фашизма. (Впервые я понюхал слезоточивый газ в Карачи в 59-м, затем в 81-м — в Тегеране и теперь, в 93-м году, — в Москве.)

До сих пор были цветочки демократии. Теперь начинаются ягодки.

Мятеж против путча.

Удивительная дама — демократия. Ее насилуют, а она еще кокетничает.

Выпить и закусить оппонентом.

Демократия в России введена прямой наводкой. Point blank democracy.

Победителей окажется так много, что вновь призов на всех не хватит. Это уже погубило некоторых победителей Августовской революции.

Участь победителей — истреблять былых соратников. Что они испытывают — злорадство или жалость? Или обычную головную боль с похмелья?

История уже составляет новый набор жертв из победителей.

Еще одной победы демократии страна не выдержит. Да и танков может не хватить.

5 октября 1993 года, 08.45. Ведущий радиопрограммы «Маяк» отвечает на вопрос, почему станция передает веселую музыку: «...на чистом трауре ехать невозможно. Это создает в обществе такую обстановку... ну, что ли, мрачную».

Городская симфония «4 октября», сочинение Павла Грачева и Виктора Ерина. Исполняется на ударных и слезоточивых инструментах.

Прогноз, что общество расслоится на две примерно равные части — преступников и борцов с преступностью, — не сбывается. Произошла диффузия.

Победный марш демократии — от дубинок через автоматы к танкам. Вообще-то не стоит уничтожать химическое оружие.

Возможно, и я в своей жизни врал не меньше любого президента, но делал это по менее значительным поводам и после честно переживал.

4 октября 1993 года русская армия одержала свою первую после 1945 года победу. К новым победам, господа! Русских слишком много.

За один день в Москве было перебито русских больше, чем за любые полгода войны в Афганистане.

После августа 91-го страну поразила демократия I степени, после октября 93-го— демократия И степени. Не дойдет ли до летального исхода?

Старинный устой отечественной юстиции — попал в руки правосудия, значит, виноват.

Демократии делятся на вегетарианские и хищные.

Запад доволен — убивают-то русских. И убивают их русские.

Вооруженная интервенция в Москве безопаснее, чем, скажем, в Праге или Кабуле. Нет международных осложнений.

Американцы посылают в Россию медикаменты. Оружие и боеприпасы у нас пока свои.

Благотворительность, благотворящие, благотворимые.

Любая российская власть предсказуема. Вновь появились запрещенные издания.

В 30-е годы и расстреливали, и хоронили тайком. В 93-м

расстреляли публично, но хоронили все же тайком.

Справочник «Кто ест кого в России».

Народ понимает не тех, кто говорит умно, а тех, кто говорит понятно.

Раньше, показав красную книжечку, я беспрепятственно проходил в Кремль. Теперь по красной же книжечке меня бесплатно пускают в метро. Так что пока все к лучшему.

Медицина возвращает людей к полноценной смерти.

Накрыли почерневший Белый дом саваном.

Эти люди могут случайно делать умные вещи. Но если подумают, то обязательно совершат глупость.

Своим разумом я не могу постичь идеи Бога и Истины. Тем более я не могу довериться тем, кто утверждает, что постигли эти идеи.

Сборник речей «Извранное».

Запрыгали дрессированные блохи «Выбора России».

Для того чтобы следить за событиями в России, не надо учить английский. Би-би-си вещает на русском.

Непреклонная решимость менять убеждения как только потребуют обстоятельства.

В России почти нет людей, в чем-то переубежденных в споре. Тем не менее, регулярно случаются массовые переходы в чужую веру.

Страна — университет, где все учат друг друга.

Идиот так же неисчерпаем, как и гений. Только зачем его исчерпывать?

Последний на Земле честный человек был распят около двух тысяч лет тому назад.

Час щей.

Побыть с умным человеком приятно. Почему же так невыносимо оставаться наедине с самим собой?

Наши взгляды на мир не меняются. Меняется мир.

Создана налоговая полиция. Государство плюнуло на душу гражданина и лезет к нему в карман.

Протухнуть, но благоуханно.

Благоговенно.

Наше время придет, но нас оно уже не застанет.

Волге по ее величию надо бы впадать в океан, она же впадает в Каспийское море.

Жить невозможно, а помирать не хочется.

Наказ Думе: «Думу думайте да помалкивайте!»

У власти мания преследования. Ее преследует народ.

Демократия — всего лишь промежуток между диктатурами.

Жизнь может быть выдуманной. Смерть же всегда настоящая.

Великая тайна русской души — есть ли эта душа вообще?

Курс реформ есть, реформаторы есть, а реформ нет как нет.

«Мы не отступим от курса реформ», — запугивает народ премьер.

У нас была самая бескорыстная экономика, теперь самая прибыльная благотворительность.

История русской духовности от Святополка Окаянного до наших дней.

При диктатуре людей заставляли петь хором. При демократии они сами хором воют.

Право наций на самоистребление.

Жириновского нельзя любить, им можно только любоваться. Наконец-то правители получили достойную их оппозицию.

Попытался вступить в сделку с собственной совестью и не нашел ее.

Следующие поколения русских людей будут знать копейку лишь по поговорке «Жизнь — копейка».

Митрополитрук.

Думаем о спасении души лишь тогда, когда не остается надежды спасти тело.

Борьба за власть между избиранцами и назначенцами. Избиранцем, однако, может стать лишь тот, кого поддержат назначенцы.

Наметилась тенденция замедления темпов роста преступности и темпов падения промышленного производства. Похоже, дальше ехать некуда.

Можно ли говорить об окружающей среде, если дело происходит в пятницу?

Прыщи высокопоставленного лица.

Деморощенный гений. Гайдар?

Пресс-секретарь — бубенчик на колпаке правителя. Или хвост, бегущий впереди собаки?

Основная привилегия чиновника — отсутствие заботы о смысле своей деятельности.

Министерство социальной защиты населения от власти.

Стесняясь самих себя, демократы переименовались в реформаторов.

Мы не должны прощать чехам того, что в 1968 году они вынудили нас ввести танки в Прагу.

Партии в России пока что способ самоорганизации политического жулья.

Лицо, достойное не столько кисти художника, сколько молотка скульптора.

Девиз «Года собаки» — собачью жизнь каждому.

Наша дикость не от скудости, скудость от дикости.

Отечественное правосудие теряется и не знает, что делать, если человека не удается сразу посадить. Сталин знал об этом недостатке.

Арестовали беззаконно и при освобождении не соблюли процедуру. Демократы взвыли от страха и злости. Будет ли когда-нибудь амнистирован русский народ?

В монолитные ряды руководства стали проникать честные люди.

Слуги нужны не честные, а верные.

Ислам Каримов миролюбиво грозит России дружбой.

«Чем дольше живешь, — сетовал старик, — тем быстрее эта жизнь надоедает».

Слово «русский» стало официально неприличным. Говорят и пишут «российский».

Почти 60 лет пропутешествовал с Землей вокруг Солнца. Солнце ничуть не менялось. На Земле происходили какие-то незаметные для Солнца события.

Как выясняется, существование может быть единственным смыслом жизни.

Поверхностный осмотр души.

Март. Женский день. Передовые женщины требуют равноправия с мужчинами. Президенту следовало бы издать указ: «Считать нижепоименованных активисток Женского движения мужчинами со дня публикации Указа (следует список)». А у них уже давно нет ничего женского, кроме бюстгальтеров.

Державность без границ не нуждается в пограничных войсках.

Прокуратура дура, а танк молодец.

Ближнее зарубежье было создано для того, чтобы поддержать у русских чувство национальной гордости — вот сколько иностранцев живут хуже нас!

Аперитивные работники.

Награбной лист.

Поминки выгодно отличаются от юбилеев. Не надо ничего дарить и можно возносить хвалу без оглядки. К тому же сам виновник торжества не напьется и ничего не выкинет.

МАРТ 1994-го - НОЯБРЬ 1994 года

Чтобы сделать карьеру при советской власти, надо было прикидываться умным, при демократии — лояльным.

Собачья мысль: если укусить боязно, а лизнуть — неудобно, проскули что-нибудь невнятное.

Самая красивая женщина не в состоянии дать больше того,

что может взять мужчина.

Великие люди в России есть, но они очень измельчали.

Отказался от пагубной привычки не пить.

Дело может заполнить время лишь частично. Безделье — полностью.

Внешние воды — кока-кола, тоник, краш и т.п.

История: Иуда получил за Христа 120 дневных зарплат того времени.

История реформы или хроника катастроф?

Без женщин жизнь была бы проще, но намного скучнее.

Есть много деятелей безвредных, но неприятных. Как собачье дерьмо на тротуарах.

Мы, русские, очень талантливы. Особенно евреи.

Демократы доказали, что демократия в России невозможна. Это была их историческая миссия.

Мниморандум. О согласии.

Перекресток мировых канализаций.

От референдума к меморандуму.

Не смогли построить социализм с человеческим лицом, т.к. не смогли найти ни одного такого лица.

В мире есть много увлекательных вещей помимо правды. Не надо из правды делать культа.

Будущее неподвластно человеку. К несчастью, он может распоряжаться прошлым.

Мстят прошлому, чтобы расправиться с будущим.

Там, где прошли танки, пройдет и меморандум о национальном согласии.

Женщина должна поддерживать мужчину не только словом, но и телом.

Круглошуточное заседание.

Беспокоился за Россию и опасался, что не переживет собственной кончины.

Времена интересны, а жизнь скучна. Лучше бы наоборот.

Время есть, а жизни нет.

В интервью «Шпигелю» (апрель, 1994) Ельцин приглашает немецкие войска с миротворческой ролью в бывший СССР. Они-то, в отличие от варягов, местность знают.

Лживопись — мемуары.

Мемуарист говорит о себе то, что хотел бы услышать от других.

По паспорту мне 60 лет, а по убеждениям — 30.

Давнее зарубежье.

Живя в Союзе, я чувствовал себя евреем. А кем я стал в Израиле? Беженцем из слаборазвитой страны.

Человеку предназначено Богом быть кормом для комаров. Так кто же венец творения?

Уверенно стоим на пути прогресса. Как надолбы.

Я так мало знаю, что могу не врать.

Исторический провал: время митингов прошло, а время баррикад не настало.

Вы можете продать свои акции в любом месте, где их купят. Абсолютная ликвидность.

Деньги не пахнут. Воняют их обладатели.

Гайдар переплюнул Ивана Сусанина — завел целый народ в дебри. Но сам остался жив.

Есть две категории российских политиков: те, кто пытался что-то сделать, и те, кто потерпел неудачу, даже не пытаясь ничего сделать.

Есть ли на свете страна, которой могут управлять только негодяи?

Человек с лицом простым, как Колумбово яйцо.

«...пресечение преступных и иных проявлений в обществе...»

Среда обирания.

Национальным цветом России надо бы объявить зеленый — все дозволено.

Ветеран подобен бумажному рублю — помят и ник-чемен.

Фирма «Торговый дым».

Исключить нарушения прав человека можно, если отменить эти права указом.

Поэт прозы наших дней.

«...он умнее, чем есть на самом деле».

Не объявить ли СНГ зоной психологического бедствия?

Все живое любит размножаться, но не любит умирать.

Противоестественно видеть высокие облака из окна городского дома.

Жизнь была прожита не напрасно, но зря.

Позволили говорить всем сразу, чтобы никто ничего не услышал.

Выход из ситуации надо искать в рамках входа.

Если окружающие мирятся с моими недостатками, то почему не могу мириться с ними я сам?

Дефекты речи: вместо «прорвемся» упорно говорил «провремся». Как Горбачев, вместо «Азербайджан» говорил «Азибарджан».

В Советском Союзе бизнес считался преступлением. В России преступление стало бизнесом.

Одна из бредущих держав мира.

Окончательная сумма прожитых дней неизменно равна нулю.

Ветераны — люди, пережившие все. В том числе память о самих себе.

Изящная и дорогая чугунная решетка вокруг Белого дома. Власть отгораживается от народа за счет народа.

Россия — поле битвы чужеземных теорий с отечественной практикой.

А не будь болезней, ради чего жил бы пенсионер?

Замздело — запахло взяткой.

Дума — несжатая полоска демократии. Грустную думу наводит она.

Телевидение дает возможность познакомиться с людьми, которые нам абсолютно не нужны.

Выползки из России.

Каждый век рождает христопродавцев, но не каждое тысячелетие — Христа.

Лексическая загадочность.

Линия партии колебалась величественно. А что сейчас?

Всем народом прожили экспериментальную жизнь. Пожить бы по-настоящему...

Полным пренебрежением к воле народа большевики превратили отсталую Россию в мощный Советский Союз. Именно таким же образом новые правители превратили могучий Союз в отсталую Россию.

Еще немного, и Россия превратится в Верхнюю Вольту без ракет.

Наши четвероногие друзья:

время идет одинаково быстро и для собаки и для ее хозяина; человек еще меньше способен понять помыслы Бога, чем собака помыслы человека;

сильная сторона собачьего интеллекта в его неспособности научно прогнозировать;

собака не умеет врать. Именно поэтому она никогда не станет вровень с человеком.

Может ли слепец увидеть очевидное?

«...от России начинает исходить нечто почти неуловимое» нерегистрируемое, однако ясно свидетельствующее об успехе». (В. Надеин, «Известия» 15.7.94.)

Фамилий много, а имен нет.

Распространить Россию на всю страну!

11 августа 1994 года впервые в истории России оправдан невиновный (В.И. Варенников).

Неподъемная дама.

Не Отечество нуждается в героях, а герои в Отечестве.

Женщина, похожая на лошадь, может быть столь же красивой,

как лошадь, напоминающая женщину.

Старость — это возраст, когда ноги изнашиваются быстрее, чем башмаки.

Человек начинает делать глупости сразу как только приобретает способность думать, т.е. в 2-3 годика.

На кирзовые сапоги России попытались напялить демократические штиблеты.

Зачем нужна вечность, если так утомительна даже временность?

Хорошо знакомая болезнь безопаснее, чем незнакомый врач.

Врачи приходят и уходят, а болезни остаются.

Просвещенная анархия.

Мы, русские, склонны приврать не по природной испорченности. В нашей истории слишком много эпизодов, не поддающихся правдивому объяснению без нанесения ущерба чувству национального достоинства.

Умирать для себя надо скоропостижно. Для родных и близких надо умирать долго, чтобы кончина принесла им облегчение.

Если с юмористом плохо обращаться, он может превратиться в сатирика.

Власть не знает положения в стране. Она им даже не интересуется.

«Мы пьем из чаши бытия с обитыми краями...»

Мир благодарен России за то, что она ушла из Германии. Можно представить, как рад был бы мир, если бы Россия ушла вообще.

Общечеловеческие ценности в Африке те же, что и везде, но они окрашены в черный цвет.

Горечь наших успехов. Каждая победа — пиррова.

Мир тесен. Места на всех не хватит.

Надо читать «Известия», чтобы знать, что хочет от России Америка.

Век музыки. Клинтон играет на саксофоне, а Ельцин дирижирует оркестром.

Не каждый гражданин способен ограбить банк, но банк может ограбить каждого.

Наши лидеры решили одну задачу — Россия не угрожает миру. Их не беспокоит, не угрожает ли России мир.

Символ державности — двуглавая бутылка.

«Конституутизировать» (радио «Маяк», 20.09.94).

Многообразие форм собственности породило многообразие форм воровства.

Принцип Чернышевского: умри, но не отдавай поцелуя просто так.

Три категории дураков:

всегда все ясно;

всегда все неясно;

ясно то, что непонятно, и понятно то, что неясно.

Взгляды настолько широкие, что не лезут ни в какие ворота.

Позиция США — Россия может быть великой державой, но только очень маленькой.

Отдал бы год жизни за то, чтобы вновь стать сорокалетним.

Капитализм с человеческим, хотя и опухшим, лицом.

Сила политика в его неспособности поставить себя на место оппонента. Слабость общества в том, что оно не может поставить такого политика на место.

Люди с сомнительным прошлым, настоящим и будущим.

Как армянин он никудышный, а как человек — хороший.

К визиту Б.Н. в Ирландию — настоящий политик может возбудить публику даже своим отсутствием.

Нам, русским, везет. У нас всегда побеждает меньшее зло. И в 91-м, и в 93-м.

Выступления министров позволяют простому человеку преодолевать комплекс неполноценности.

Свободный раб своих страстей.

Не любят ли нас ближние за наши слабости?

Диагноз — вялотекущая интеллигентность.

Проблесковая интеллигентность.

Есть люди, которым нелепое кажется смешным. Для других все смешное нелепо.

Взаимобесплодное общение.

Экономика — продолжение негодной политики нечестными средствами.

Курс отечественного огурца к импортному банану.

Умный человек подобен колоколу. Он молчит, пока его не коснулись. Дурак звонит неумолчно.

Совет безотказности при Президенте.

Собирал материальные ценности — компрометирующие материалы на единомышленников.

Черная дыра в окружающей среде.

Демократическое общество с мафиозным оттенком.

Прошлого не вернешь, настоящего не удержишь, будущего не узнаешь...

Забыть ли старую любовь и службу прежних дней?

Жизнь — это только повод для мемуаров.

«Армия чтит Грачева, президент чтит Грачева...». Ельцин, 20.10.94.

Есть женщины, способные дать только по шее.

Неприменимая оппозиция.

Если биографии нет, ее придумывают.

Человек мог бы забыть, что он животное, но об этом постоянно напоминают окружающие.

Недостаточно умны, чтобы изобрести новую ложь, и постоянно повторяют старую.

Полжизни губил здоровье, другую половину жизни его берег. Мог бы всю жизнь посвятить чему-то одному.

Только бессильная диктатура разделяет людей больше, чем демократия.

Министрами не рождаются. Ими становятся люди, не рожденные быть министрами.

Профиль, которым хочется открывать консервные банки.

«Меня беспокоит грудь». — «Чья?»

...умер своей смертью... А можно ли умереть чужой?

Демократия не менее драгоценна, чем шапка Моно-маха. Разве можно допустить, чтобы каждый напяливал ее на себя?

«Политика — грязное дело», — с удовольствием твердят российские политики, как бы давая сами себе отпущение грехов.

НОЯБРЬ 1994-го - ФЕВРАЛЬ 1995 года

Тоталитарная анархия.

Кому нужна правда, если нет справедливости?

Сдается в аренду действующий скелет человека.

Не обязательно врать, для того чтобы обманывать.

Горбачева погубила женская черта характера — быть любимым любой ценой.

И мы руковаживали. Было такое дело.

Ничтожные частицы времени, именуемые годами. Опилки вечности.

Нас застает врасплох не погода, а климат. Мы никогда не готовы к зиме.

Не обсуждайте и необсуждаемы будете.

Нет ни прошлого, ни будущего. Есть монотонно повторяющееся настоящее.

С интересом ждем Судного дня, подобно толпе болельщиков, ожидающих начала матча.

Инвалиды интеллектуального труда.

Чем дороже хлеб, тем дешевле права человека.

Вера в потустороннюю жизнь подталкивает человека на самоубийство.

Желающих побывать там было бы много больше, если бы была надежда вернуться.

Сначала соври! Правду сказать всегда успеешь.

Правда слишком драгоценна, чтобы доверять ее толпе.

Двусмысленные ультиматумы: «...а то будет как вчера...»

Власти не нужны слуги закона. Ей нужны просто слуги.

Служба государственной безнаказанности.

Жизнь коротка. Стоит ли тратить время на поиски ее смысла?

Новое имя — Факсимилиан.

Не все те золото, кто молчит.

Предатели говорят о том, чего не было. Честные люди молчат о том, что было.

Взятка— общий знаменатель всех ветвей власти. Она уравнивает и демократа, и консерватора. Есть и еще один знаменатель — ложь.

Новые круглые столы, новые стулья, а на них старые задницы.

Госаппарат — взбесившиеся часы.

Если человек под колпаком, это не значит, что он человек в футляре.

Год ползет к концу, как сбитая машиной собака.

Генералы демократического призыва.

«Последний день с Помпеем», мемуары Клеопатры.

Экранизация украинизации — задача украинского кино.

Огнепоклонники — зороавстрийцы.

Русский язык очень неуклюж. Что это за слова: завравшиеся, заворовавшиеся, зарвавшиеся? — Не выговоришь.

Самая непростительная опечатка — пердизент.

Подобен яйцу всмятку — тверд в словах, жидок в мыслях.

Книга нашей истории состоит преимущественно из опечаток.

Мы не добьемся экономического подъема, пока не восстановим твердую цену на пол-литра.

Может быть счастлив человек, нашедший смысл жизни. Может быть счастлив и тот, кто нашел, что смысла в жизни нет.

Жизнь вообще ни с чем не сравнима!

Солдатский сапог русского Бога.

Демагоголь.

Огорчили человека, чтобы привести его в соответствие с окружающей средой.

В России всегда врали не меньше, чем сейчас, но раньше не было телевидения.

Обречены на вечный оптимизм.

Ни у одного из нынешних правителей нет общенародного прозвища.

Время — деньги. Время пребывания у власти.

Декабрь-94. События в Чечне. Забить гвоздь легко, выдернуть

трудно.

Бомбят Чечню, попадают в Россию.

Можно было бы поверить в дьявольский замысел, если бы эти люди были умнее. А так, это для них незаслуженный комплимент.

Оратор, заткните свое орало!

Родина великих начинаний и печальных концов.

«Я тя учеченю!»

Меняется мода на штаны, а задница вечна и неизменна.

Жить надоело, но другие варианты еще хуже.

В противоборстве духа и брюха верх неизменно одерживает брюхо. У него более тяжелая весовая категория.

К старости дух крепнет, но только относительно слабеющего тела.

Совесть занимает в организме самое скромное место.

Газеты — поле врани.

Мемуарист писал ужасно много. Кровать, найденная под рукописью.

Из этой жизни еще никто не уходил живым (А.Н.Тол-стой).

Глядя на нынешних вождей, думаешь, что Сталин был не так уж плох. В его злодействах был резон.

Немногие разбогатели, многие обнищали и все одичали.

Процесс дошел.

«...пытаются зверски сбивать наши самолеты, которые мирно бомбят их города...»

Всемерный банк.

Целят в военные объекты, а попадают в детские сады. Видимо, надо целить в детские сады, чтобы поразить объекты.

Кругом былым-было.

МВД борется с чеченской монополией на торговлю наркотиками.

Парикмахерская «Микрокосмы».

Изредка я ухожу в себя. Но там так пусто и нечего делать, что приходится быстро возвращаться.

Пять дней в неделю бездельничаем и два — отдыхаем.

...в кругах, близких к помешательству...

Боюсь, что 1995-й станет годом не столько Свиньи, сколько свинства.

Год Свиньи под дубом.

Если хочешь, чтобы власть узнала твое мнение, поговори с приятелем по телефону.

Вставай, похмельем заклейменный!

Защита прав человека вооруженною рукой.

Ковалев похож на Сахарова косноязычием.

Дело-то оказалось простым. Хотели оказать Чечне

гуманитарную помощь.

Объявление: ...скончался Н. Презентация тела состоится...

Правительство Грузии решило сосредоточить коррупцию и борьбу с ней в одних руках.

При советской власти демократов считали за людей — уговаривали, сажали, ссылали. Теперь же никакого внимания не обращают, и это им очень обидно.

Священный долг каждого патриота в это трудное время — не насмехаться над министром обороны.

Президент не может обойтись без народа. Это его слабое место.

...человек вредный. В энтомологическом смысле слова.

Размышления молодого врача: гораздо увлекательнее давать жизнь новому человеку, чем продлевать ее старому.

Ум хорошо, а кум лучше.

В Чечне наша сторона избрала тактику внезапной обороны.

От прицельной лжи к вранью по площадям.

Сам черт ему не рад.

При диктатуре не было стимула работать. При демократии не осталось работы.

Могут высказать любую мысль, но неспособны ее осмыслить.

Планируют создать при правительстве департамент по связям с преступностью.

Косорылая муза насмешки.

Раньше зимы были холоднее, еда вкуснее, улицы чище. Сейчас все не то, и только женщины кажутся все моложе и привлекательнее.

Не стоит читать газеты. Плохие новости найдут тебя сами.

Интернационализм в январе 1995 г. В Грузии азербайджанцы взорвали трубопровод, по которому Армения снабжается туркменским газом.

Припомнить самого себя молодым и умереть... От зависти.

— Чем занимаешься?

— Да вот, понимаешь, кручусь вместе с Землей вокруг Солнца.

Удивительно много моих мыслей уже было кем-то сказано.

Преступная дезорганизованность противостоит организованной преступности.

Если бы люди любили друг друга так, как они любят деньги.

Не все то ложь, что выдается за правду. Не все то правда, что клеймится как ложь.

Наконец-то журналисты в России стали свободными и могут продаваться по рыночным ценам.

Обеспечим всех ветеранов войны жильем к 2050 году.

Власть потеряла голову, а оппозиция ее не нашла.

Существо с ограниченной ответственностью.

Первой жертвой правды становятся те, кто ее высказывает.

Попал во всю эту историю случайно. Просто родился в России.

Народ не будет возражать, если авторов чеченской войны наградят.

Посмертно. Ложь как основа, а не просто орудие политики.

Страна запоздалых мыслителей.

У Брежнева был Сахаров, у Ельцина Ковалев. Мельчаем.

Серенькая совесть российской демократии.

Власть укоряет журналистов не за то, что они врут, а за то, что пишут не ту правду.

Не так уж страшно, если власть врет сознательно. Хуже, если ей недоступна правда.

Умные люди на Востоке искали и нашли практическую мудрость на Западе. Западные дураки продолжают искать духовность на Востоке.

Любая война ведется во имя мира.

Правители хотели бы превратить чеченскую войну в отечественную.

Исследование Прибалтики — балтология.

Человек есть то, чему он верит.

Отпетые певцы и оборзевшие барды.

В фантастическом мире чудом кажутся обычные вещи.

В рыночной экономике можно заказать не только опрос общественного мнения, но и его результат.

Может ли женщина с сумкой чувствовать себя дамой с собачкой?

Правительство выдержит любую клевету, но не переживет правды.

В книгах много умных мыслей, но и глупых не меньше. Не надо увлекаться книжной мудростью.

Прошлое отвергают, а Победу присваивают. Как квартирные воры, отбирающие самое ценное.

Жена Цезаря, приятная во всех положениях.

Хромая мысль опирается на костыли цитат.

Элегия:

Проходит жизнь.

Тускнеет свет.

А денег не было и нет.

«Если ты не придешь на мои похороны, я не приду на твои».

Можно быть уверенным только в своекорыстии правителей. Нельзя положиться даже на их инстинкт самосохранения.

Почему-то войны у нас всегда приходятся на мирное время.

Из тоста:... юбиляр отдал жизни 60 лет. Или — жизнь отняла у юбиляра 60 лет.

Став необязательной, жизнь перестала быть обременительной.

Людей портят не столько деньги, сколько их отсутствие.

ФЕВРАЛЬ 1995-го - СЕНТЯБРЬ 1995 года

Люди с частной совестью.

В течение двух месяцев все утренние сводки новостей начинались сообщением о взятии Грозного.

Затянувшаяся победа.

Быстрая победа над столь ничтожным противником недостойна великой державы.

Хотели было завернуть гайки, да спьяна завернули не те.

Лапши так много, что уже ушей не хватает.

Окажи мне гуманитарную помощь. Замолчи!

Научись придавать лицу значительное выражение. Соответствующие мысли появятся сами.

Власть и рада бы руководить страной, но не знает, как это делается.

Лицо, по которому проехало колесо истории.

Власть ничего не должна народу. Народ должен содержать власть. Каждого из нас что-нибудь да тяготит. Это и есть закон всемирного тяготения?

Если бы Архимед утонул в ванне и на голову Ньютона упало не яблоко, а кирпич, это лишило бы человечество двух славных имен, но не отменило бы законы природы.

Если бы жил царевич Дмитрий, а был убит Борис Годунов, Россия не избежала бы Смуты.

Не так уж опасны глубокие мысли. Люди чаще тонут на мелких местах.

В старые времена газеты врали только по указанию ЦК. Теперь по зову сердца.

Грядущим поколениям мы так же мало интересны, как и прошедшим.

Сукины дети своего времени.

Уникальный плод русской почвы — хреновина.

Слишком много внимания уделяется самой несущественной черте политика — его декларациям.

Надо же войти в положение человека! Может быть, он с горя пьет.

Неологизм: «Оторви, наконец, жопу от телевизора!».

Рассказ ветерана: «...время было тяжелое. Мы выдержали, Отечество погибло».

Услышали оценку положения из рук президента.

Долларовые верхи и рублевые низы.

Прикладная кулинария.

Первое число каждого месяца стало днем невыдачи зарплаты.

Ветераны сетуют, что их опыт не востребуется. Едва ли он был полезен и при их жизни.

Быть самому себе образцом для подражания.

Нерешительность задним числом.

Бурбулиса не смогли съесть. Его выплюнули.

Дума ветерана: «Чтой-то рулон туалетной бумаги стал расходоваться быстрее, чем раньше. Видимо, время ускорило свой бег».

От военно-воздушной мощи России остались-лишь крылатые слова.

В стране нет общества, есть телевизионная аудитория.

Волшебное зеркало и миллионы зачарованных простаков.

Александр Николаевич живуч, как все идеологи. Идеологический фронт единственный, где бойцы погибают от глубокой старости.

Мне всегда хотелось не быть похожим на других. Того же хотели и другие. В результате мы слились в неразличимую массу.

Задрожал от страха всеми членами и другими частями тела.

В стране нет политических убийств. У политиков, в отличие от бизнесменов, нет для этого денег.

Жизнь бьет ключом. Но все не тех, кого надо бы.

Эротический журнал «Лицом к заду».

...а в конце жизни герой умирает...

Общество специальной справедливости.

Гласность — право свободно говорить о пустяках.

Все легче становится груз непрожитых лет.

Ветеран громко негодовал по поводу современной распущенности нравов и тихомолком горевал о невозможности ей воспользоваться.

Меняю интеллектуальный потенциал на финансовый...

Ублаженный Августин.

От него ждали денег, а он подавал надежды.

Хватало ума только на то, чтобы поддерживать репутацию умного человека. Приходилось все время молчать.

Для женщины важны не признания мужчины, а то, что за этим стоит.

Прошедшее сжато гармошкой. Его невозможно растянуть.

Ясность мыслей достигается при их малом числе. Прозрачны

мелкие мысли.

Небытие это не другое состояние. Это отсутствие всякого состояния.

Баба у меня дура. Да и сам-то я не Эйнштейн.

Правда слишком сложна для повседневного пользования. Гораздо удобнее простенькая ложь.

Поклонная гора, монумент. Придет время, и мы отомстим — русский скульптор возведет монумент в Тбилиси.

Размышления бывшего атеиста: «Если Бога нет, ходить в церковь бесполезно. Если Он есть, то опасно — может поразить громом».

Не стоит возвращаться в прошлое. Там уже никого нет.

Видимые бойцы невидимого фронта.

Без России не может быть мировой войны.

Из объяснительной записки прежних лет: «Был выпимши и поэтому почувствовал неизъяснимую любовь к Марье Иванне».

Завидно, что есть люди, живущие как люди.

Стоит жить до тех пор, пока доходы превышают расходы.

Факты противоречат действительности. Или — факты опровергнуты жизнью.

По просьбе трудящихся миллионеров в обращение выпущена стотысячная купюра.

Ни на что не надеяться и ничего не ждать.

Все меньше тех, с кем хочется повидаться.

Информация из обычного безнадежного источника...

Оскорбительный блеск чужих лимузинов.

Непоколебимы лишь те устои, которых нет.

Сейчас светлое будущее преимущественно принадлежит людям с темным прошлым.

Во время событий в Буденновске проявил мужество, но в другом месте.

У нас был великолепный воображаемый мир — кино, книги, газеты. Теперь воображаемый мир стал хуже мира реального.

Плод власти сладок, корень же гадок.

Власть не может быть умнее избравшего ее народа. Особенно если народ ее не избирал.

Бунт общества против бюрократии оказался успешным. Закоперщики влились в ряды бюрократов. Бунт, иными словами, был не «против», а «за».

Тяжесть кресла... Зачем же взваливать его на плечи? На кресле надо сидеть.

Все думали, что он провокатор, а он был просто дураком.

Нельзя насытиться воспоминаниями о прошлогоднем банкете.

Одаренному коню в зубы не смотрят.

Смотрим в прошлое со стыдом, в будущее со страхом.

Истинных идеалов не бывает. Все они ложные.

Стабильный плюрализм. Четыре циферблата часов на площади Белорусского вокзала. Все часы стоят, и все показывают разное время.

Вечный вопрос русского интеллигента не «кто виноват?» и не «что делать?», а «кто будет платить?».

Чужой крест всегда легче.

Если русские вымирают, значит, это кому-то нужно.

Демократия от бессилия власти и деспотизм от бессилия общества.

Президент выше грамматики, но в этом смысле премьер выше президента.

Осенний призыв в армию. Молодежь охвачена единым порывом — уклониться.

Стоит ли сожалеть об уходящем мире, где Черниченко и Гайдар казались демократами?

Премьер находится в оппозиции к власти! Он как бы играет в шахматы сам с собой. Возбудитель спокойствия.

Президент говорит дело. Но это дело так и остается словом.

Нет в жизни счастья! Но нет его и в других местах.

Все ветви нашей власти абсолютно предсказуемы — от каждой можно ждать чего угодно.

Сегодняшняя пустота лишь продолжение прошлой бессмысленности.

СЕНТЯБРЬ 1995-го - ЯНВАРЬ 1996 года

Люди живут. А дело, за которое они клялись отдать свои жизни, умерло.

Война долларизации, захлестнувшая страну, обошла нашу семью.

Минута спокойствия для неврастеника дороже, чем год спокойствия для уравновешенного человека.

Nobless-то, бля, oblige...

У человека — лицо, у политика — имидж.

Кандидат на распутье — тюрьма или Дума?

Вертикализация структур. Почему не горизонтализация или диагонализация?

Сам и.о. Генпрокурора был почти честен, воровала его жена и другие родственники.

Борьба с коррупцией начинается перед выборами и выборами заканчивается.

Всемирная свалка радиоактивных отходов и дурацких идей... Как будто своих мало.

Появилось много заведений, где зажиточный обыватель может ознакомиться с западным образом жизни. И попытаться переделать его по-своему.

Каждая минута моего времени стоит очень дорого. Только вот покупателей нет.

Знал себе цену. В старых деньгах.

Необязательно иметь ум и волю, чтобы править Россией. Путь в историю лежит через злодейство.

Утешительно думать, что был дураком не от природы, а по стечению обстоятельств.

Пессимист помирает с удовлетворенной улыбкой. Он всегда знал, что все это плохо кончится.

С виду начальник, а по существу несчастнейший человек.

Взбесившиеся шизофреники.

Если дурак делает комплимент твоему уму, ты попадаешь с ним в одну категорию.

Интеллигент — образованный человек, имеющий склонность к мечтательности и питающий отвращение к труду. В России интеллигентом может стать каждый.

Не зная, чем выразить свой патриотизм, изобразили государственный флаг на номерах казенных автомобилей.

Свалился с высоты прожитых лет. Помер.

Ни одна работа не кажется грязной, если ее можно делать чужими руками.

Старческая мудрость — ум, вышедший из употребления.

Наш дом — Россия! Захотим — сдадим, захотим — продадим.

Действия власти настолько загадочны, что заставляют заподозрить наличие у нее какой-то стратегии. Подозрение абсолютно несправедливое.

Блок «Дым Отечества».

Прошлое — неизлечимая болезнь. Нет-нет и даст о себе знать.

Реклама: «Поставляем импортных блох для элитных собак».

Страна не вынесет еще одной победы демократии.

Единственный урок из жизнеописаний великих людей: все они рано или поздно умерли.

...А какая у вас в Сибири самая высокая низкая температура?

Первое в мире государство мошенников и воров. Не в смысле историческом, а по масштабам.

Сами по себе выборы есть признак неверия в добротность нашей демократии.

Истинная демократия ни в каких выборах не нуждается.

Гений не в смысле интеллекта, а практически. Гениальность политика состоит в том, чтобы захватить и удерживать власть.

У г-на Х. заговорила совесть. Голосом налоговой полиции.

Жаловались мы раньше на текучку. А в ней-то и был смысл существования.

Власть в России с 862 года занята наведением порядка и внушением трепета населению. Вековечный девиз: «Пора, наконец, навести порядок!».

Есть две категории преступников. Одни боятся ментов, другие — коммунистов.

Хилеры, дилеры, киллеры.

По поводу атмосферного давления: «Нельзя ли заменить ртутный столб чем-то менее тяжелым?»

Созвездия угасших светил.

Лицо общечеловеческой национальности. Бывшей советской национальности.

Вопрос верующим: конструктору автомашины или самолета не придет в голову наказывать свое детище за какие-то недостатки. Почему же Всевышний конструктор наказывает свое творение — человека за собственные недоработки?

Состояние здоровья пациента вызывает тревогу. Может выжить.

Холодная война умерла, а ее детище «Радио Свобода» живет и поселилось в Москве.

Натужливо убедителен.

В нашем кукольном театре каждый Буратино мечтает стать Карабасом-Барабасом.

Советский Союз был бы очень недурной страной, если бы не нехватка товаров и избыток властей.

Обидно, что не признанные при жизни гении так и не узнают о своей посмертной славе.

Удивительно. Деньги становятся все хуже, а хочется, чтобы их было больше.

Бронежилет и бронеморда.

Одно из фундаментальных прав человека — плевать в колодец.

Не стоит сетовать на отсутствие мыслей. Возможно, это были бы плохие мысли.

Некуда вложить деньги. К счастью, и денег нет.

Народ победит лишь тогда, когда потерпят поражение все избирательные блоки.

А где здесь записывают в великодержавные русские шовинисты?

Телевидение не только выражает, но усугубляет дефекты

коллективного интеллекта.

Если бы Бога не было, никто не смог бы Его выдумать.

Демократы морочат людям головы выдумками, а коммунисты — фактами.

Сколько пузырей было надуто воздухом свободы!

Живем. Проедаем то, что было недоедено при социализме.

Оружие массового оглупления.

День милиции. ...Задача заключается в том, чтобы поставить организованную преступность под контроль государства...

Проиграв несколько войн, Швеция процвела, Польша же так и осталась Польшей.

Дожил до незаслуженной старости.

Если бы пациент не умер, то пожалел бы о том, что не берег здоровье.

Многообещающие изобретательные блоки.

«К ней призрак явился и молча сказал...»

Историки беспощадно расправляются и с правыми, и с виноватыми. История же равнодушна.

Имена творцов перестройки стоило бы увековечить на стенах общественных нужников. Но эти полезные сооружения исчезли вместе с перестройкой.

К старости жизнь превращается в череду похорон.

Наша эпоха отличается от предыдущей прежде всего размахом предательств.

Хвастаем, что умом нас не понять. Обитатели сумасшедшего дома.

Год в ужасе бежит к концу.

Имидж сменили, а рожа по-прежнему крива.

Слово «Россия» сейчас звучит чаще, чем когда-то «партия». Бедная Россия!

Можно стать бывшим министром или депутатом, но нельзя стать ни бывшим генералом, ни бывшим дураком. Это звания пожизненные.

Наши старые вожди не были пригляднее нынешних. Они, однако, не демонстрировали свои изъяны.

Честному человеку приходится много врать, чтобы выжить.

Б.Н. войдет в российскую историю не только расстрелом парламента, но и утверждением тенниса в качестве популярного вида спорта.

Дело в том, что никогда раньше в России не было парламента, который стоило бы расстреливать.

Мне нравилось быть в строю до тех пор, пока командиры казались умелыми и честными.

Природа не терпит простоты.

Всем политикам нужна Великая Россия. Можно подумать, что нынешняя для них мала, не по размаху.

Если бы не выборная кампания, страна не узнала бы многих своих прохвостов.

Политики не могут признать, что они иногда хотя бы говорят неправду. Это было бы отступлением от принципа — врать всегда.

Река времен впадает в болото.

Совесть у нас всегда была не в ладу с законом. Получается плохо и так и так — по совести и по закону.

Интересные люди. В их устах даже правда отдает ложью.

В отличие от политиков-мужчин, которые просто неприятны, политики-женщины отвратительны.

Обращение к избирателю:

«Сукин ли ты сын иль мать!

Приходи голосовать!».

Русский язык слишком богат, чтобы говорить на нем только правду.

«Хочешь бабу? Голосуй за блок «Женщины России»!».

Даже Егор стал похож на озверевшего кролика. И ему крови хочется.

Нет больше русского народа. Есть население России.

Свинство — одна из несущих конструкций нашего общего исторического дома.

Край нечаянных миллионеров.

Дали русскому человеку по голосу, а могли бы дать по шее.

В очередной раз изумили мир — выборы прошли без мордобоя.

Мыслящие у нас легковерны, а верующие легкомысленны.

Судя по числу пиров, эпидемия чумы разрастается.

Блоки провалились, а их лидеры избрались. Иными словами, утонул корабль вместе с экипажем, а капитан спасся.

Излишняя умеренность опаснее неумеренного излишества.

«В оппозицию девушка провожала бойца...».

Интеллигент не может молчать. Поэтому ему трудно сойти за умного.

Господь дал им способность рассуждать, но не дал способности думать?

Мне трудно вместить свою теорию в тесные рамки жизни.

Интересно, что было до начала прошлого и будет после конца будущего? (Тревожная предутренняя мысль в канун Нового года.)

Начать бы новую жизнь, да куда там! И на старую-то сил не хватает.

Как быстро изнашиваются годы? Вот и 1995-й выброшен на

свалку.

Мы подвели итоги. Итоги подвели нас.

Многие не любят КГБ не за то, что он плохо с ними обращался, а за то, что он на них не обращал внимания.

Не останавливайтесь перед трудностями. Убегайте от них.

ОКТЯБРЬ 1996-го - АВГУСТ 1997 года

Если государственное учреждение не поражено коррупцией, значит, оно никому не нужно.

Дебатируется вопрос: что морально оправданнее — грабить Отечество или продать его иностранцам.

Пресвятая деза!

Премьер сказал, что он был далек от мысли... Подумав, добавил: «От всякой мысли...»

Увольняя А.Лебедя президент что-то промычал. Слово — серебро, а мычанье — золото?

У русских и американцев общая иллюзия — им кажется, что они заслуживают всеобщей любви.

Законы святы, да судьи супостаты.

В России счастливый климат. Ее вожди долго живут после смерти.

Кем был бы сейчас правозащитник Ковалев, если бы его в свое время не репрессировали?

При советской власти пенсионер мог с уверенностью смотреть в будущее — пустые бутылки принимали везде.

Миссия телевидения — свести русского человека до уровня среднеамериканского кретина.

Хорошо смеяться с тем, кто смеется последним.

Врут сквозь слезы...

Схватка пигмеев в тяжелом весе.

Безопасность страны в надежных руках Бориса Абрамовича. Мы, старые чекисты, можем умирать спокойно. Должны умирать.

Если в первом акте на стене висит ружье, то к концу спектакля в зале должен появиться ОМОН.

...всенародно шунтированный...

Российский закон суров. Поэтому каждый гражданин стремится обойти его как можно дальше.

Лобзать и быть лобзимой.

Усоп, усопший... Усопающий?

«...по вечерам в клубе собирались отставные разведчики и, выпив, хвастались былыми провалами...»

Цель политика — убедить людей сменить свои заблуждения на его собственные.

Меня не могло порадовать собственное рождение. Зато не сможет огорчить и собственная кончина. Мир справедлив.

Советская власть медленно скатывалась к воровству. Демократия с него стартовала.

Радио «Маяк»: «...мордовская диаспора в Москве...». Вот изумился бы исконно русский человек, мордвин дядя Вася Киселев, узнав, что он диаспора.

Единомышленники — люди, у которых есть по единой мысли.

Ноябрь. Ельцин решил вывести русские войска из Чечни. Выведут ли чеченцы свои банды из России?

Маленький, но горный народ.

Партия честно заворовавшихся людей.

Печальна судьба Солженицына. Он написал и наговорил так много, что всем надоел.

Задача пресс-секретаря — переводить косноязычное вранье на общедоступный язык.

Как это ни обидно, движущей силой истории являются не жулики, а шизофреники. Они подавляют своей энергией и числом.

Странная ценность — время. Чем меньше его остается, тем оно дешевле.

«...а кто мыча к нам придет, тот мыча и погибнет».

Мытариус — налоговый полицейский.

20 декабря. День чекиста: «Мы могли бы спасти Отечество, но обстоятельства не позволили...»

Это баранов гонят. А мы сами идем...

Чубайс умен, но не настолько, чтобы вовремя прикинуться дураком.

Не унижайте отечественных героев их изображением на ничтожных денежных купюрах.

Тощий виден насквозь. А в толстяке может скрываться кто-то еще.

Идем из ниоткуда в никуда и умудряемся плутать по дороге.

Мрак надвигается со скоростью света.

Дружить догмами.

«Егор взглянул в зеркало и, вздохнув, продолжил трактат о рынке с человеческим лицом...».

Молитва: «...и не введи нас во искушение. Но не сейчас, а погодя...»

Не пить — не пей, но знай меру!

Победила демократия. Потерпели поражение русские.

Жизнь настолько скучна, что событием стала болезнь президента. К счастью, его состояние непрерывно улучшается уже года полтора.

Нужно посочувствовать больному человеку, который руководит страной. Но нужно посочувствовать и стране, которой руководит больной человек.

«Карман-газета».

Невесомая зарплата может раздавить любого гения.

Единомученики.

Сенсацией становится каждое соприкосновение президента со своими обязанностями.

Если бы Господь не хотел, чтобы люди смотрели телевизор, он бы его не изобрел. А бес подсунул телеведущих...

Печально, что уходят ветераны. Было бы убийственно, если бы они оставались.

Истина не едина. Понять это невозможно.

НАТО будет защищать иностранные инвестиции в России. Поэтому оно и расширяется.

На смену юношескому романтизму неизменно приходит старческий ревматизм.

Побежденная Россия пытается простить победившую Чечню. Но Чечня еще не признала Россию.

Всю жизнь берег себя для чего-то большого. Дожил до обширного инфаркта.

Горилка — украинская водка, произведенная в Африке.

Велика Россия, а отступать некому. Армии нет.

Начальный этап восхождения вице-премьера к власти был усыпан цветами. Он ими торговал.

Хамовластие.

Испытанный русский путь — через пень-колоду.

«...у нас своя голова за плечами...» — приписывается премьеру.

Старая гвардия не побежит. Она едва переставляет ноги. И не повернется спиной к противнику — штаны дырявые.

Новый тип экономики — пикирующая.

В стране всеобщего безверия верховодит дьявол.

Вольтеров в России нет. Мы никогда не признаем за оппонентами права на честные заблуждения.

Любите книгу — кладбище мыслей.

Кащей бесцельный.

Русские гордятся своими недостатками и не понимают, почему иностранцы не разделяют этой гордости.

Минус это плюс после встречи с Налоговой службой.

Жгучее равнодушие.

Самое острое орудие лжи — правда.

Реформаторы — чужеземный топор в русском тесте.

Будущего не боится только тот, кто не ведает прошлого.

Секрет популярности КГБ у демократов в том, что человек склонен создавать врага по своему образу и подобию.

«...И ЖИЗНИ МЕЛОЧНЫЕ СНЫ»

ГЕНЕРАЛУ НЕ СПАЛОСЬ…

Генералу не спалось. Переехал он сюда, в данный домик, именно для того, чтобы отдыхать от городского шума, дышать терпким осенним воздухом, глядеть по утрам, если будет погода, на солнце, поднимающееся из-за леса. С погодой не везло. Который уже день шел, без просвета и без передышки, унылый холодный дождь. Прямо от крыльца до забора простиралась лужа, уходившая другим краем к дороге. Лужу пересекала редкая цепочка кирпичей да длиннющая толстая доска. В темноте не было видно ни лужи, ни кирпичей, ни доски, ни забора, да Генерал и не собирался выглядывать в окно. Просто этот кусок огородного ландшафта стоял перед глазами и напоминал, что завтра вот так же будет дождь и вместо неба над домом зависнет серая хмарь, лужа станет еще шире, а доска поплывет и развернется у берега, как брошенный плот.

Струйки воды, срывающиеся с крыши, постукивали по подоконнику, в темноте что-то постанывало, тихонько-тихонько и жалобно. То ли домовой никак не мог найти себе места и жаловался на жизнь, то ли ветер забивался в щель между досками, то ли поскуливал у двери приблудный щенок. В пустом поселке попадались такие бедолаги — тощие, вечно голодные и пугливые. Еще под вечер, в сумерках, Генералу показалось, что из-за куста у дороги появилась робкая маленькая тень, двинулась было к дому, но когда он легонько свистнул и похлопал себя по колену — к ноге, мол! — тень исчезла.

И вот теперь что-то постанывало, поскуливало, подвывало в сырой непроглядной тьме.

Сон не шел, и не было ни одной мысли, перед глазами стояла лужа, цепочка покрытых водой кирпичей и грязная доска. Генерал поневоле прислушивался к темноте, к скулящей тихонькой жалобе, к жестяному постукиванию капель. Слышалось еще какое-то царапанье.

— Пожалуй, мыши… Хотя что им здесь, в необжитом доме, делать? — подумал Генерал да с тем и заснул.

К утру захолодало. Над лесом, над дорогой, над крышами поселка неслись низкие, свинцово-черные, с четко очерченными краями облака, то здесь то там между облаками вспыхивал синий просвет и быстро задергивался.

Генерал проснулся с ощущением неясного беспокойства, полежал несколько минут, попытался сосредоточиться, понять, в чем дело, но ничего не получилось. Мелькало в мыслях что-то

неопределенное, разорванное — воспоминание о виденном сне. Надо было вставать, умываться, растапливать печку, готовить завтрак.

Сухие щепки в печке вспыхнули разом. Генерал закрыл дверцу, и печка радостно и ровно загудела. Сделал ее печник неважно: дрова горят быстро, а тепла не дождешься, лишь часа через два начнут прогреваться изразцовые бока. На газовой плитке засвистел чайник. Все лето, пока домик достраивался, кипятили его на костерке у забора. Чайник прокоптился и не поддавался ни песку, ни особому чистящему порошку, так и остался в черных полосах по белому алюминию.

Генерал заваривал крепкий чай и пил его помногу. Привык к этой травке в далекой стране, где круглый год светило жаркое солнце и люди ходили полуголыми. Хороший чай в Москве редкость, в ярких упаковках продают мусор, то, что сметается с пола чайных фабрик. Этот мусор подкрашивают, он заваривается красно-черным цветом, но нет в нем ни терпкости, ни аромата. Старик, слегка поколебавшись, достал из дальнего угла кухонной полки жестяную пеструю баночку с настоящим дарджилингским чаем: заваривается медленно, листочки разворачиваются в кипятке, и горячая жидкость в стакане светится благородным темным янтарем. Такой чай чуть-чуть обволакивает язык, проясняет голову и бодрит тело.

Дождь кончился еще ночью. Размахивали на ветру голыми ветвями березы, срывались с них последние случайно задержавшиеся листочки. «Вались, вались, по-блекший лист!» — продекламировал Генерал из Баратынского, с удовольствием вдохнул резкий, холодный воздух и подумал, что он пахнет снегом. Предчувствие снега напомнило о небольшом городке в предгорьях Кашмира. Там после сырого порывистого ветра наступало затишье, сыпал крупными хлопьями снег, надевал пушистые белые шапки на высоченные сосны, гнул в дугу молодые деревца. Тогда легко дышалось, радостно было смотреть на ослепительную белизну и проглядывающую сквозь нее густую зелень, знать, что вот-вот вновь выглянет солнце и все вокруг засияет сказочным недолговечным блеском. Жизнь тогда удавалась, казалось, что она еще впереди, что так и будет всегда сверкать ослепительная белизна, сиять на темно-лиловом небе солнце и воздух будет пахнуть снегом.

Вспоминать было приятно. Генерал немного постоял на крыльце, подышал. Лужа за ночь увеличилась. Надо было надевать высокие резиновые сапоги, брать лопату и прокапывать канавку. Не то чтобы лужа мешала каким-то хозяйственным работам, просто она мозолила глаза своей никчемностью и

неуместностью. Минут через десять мутная вода побежала по неширокому руслу, размывая и унося с собой комочки глины.

День начинался неторопливо, необременительными трудами: сначала канавка, потом ямы под вишни. Саженцы с укутанными мешковиной корнями лежали у забора.

Утреннее смутное беспокойство прошло. Генерал чувствовал себя бодро, впервые за много дней не щемило сердце и не наваливалась одышка. Немного раздражала глина, тяжеленным комом налипавшая на лопату, обволакивавшая сапоги. Эта серая глина, мутная вода царапнули вдруг Старика совсем другим, печальным воспоминанием: далекая осень, Хованское кладбище. Хоронят Кима Мартынова. Живые идут по липкой грязи, перепрыгивают через лужи. Промокший почетный караул в заляпанных сапогах и оплывающая глиной, залитая осенней водой яма. В яму опустили деревянный, обитый красным ящик с Кимом, так и не успевшим состариться. Хороший был человек, добрый, веселый и умный.

Генерал подумал, что нечаянное воспоминание о старом приятеле надо было бы как-то отметить. Он годами не вспоминал его — и вот на тебе, осень, мокрая глина под ногами, опущенный в яму с мутной водой Ким. На Хованском глина красная, а у нас здесь серая, машинально отметил про себя Старик. Подумалось: не перекреститься ли? Генерал не то что совсем не верил в Бога, у него тут ясности не было, а просто не привык креститься. Сейчас в молчаливом обществе голых обмокших берез, которые уж никак не могли заподозрить его в притворстве, он воткнул лопату в землю, повесил на лопатошник кепку и неловко перекрестился, шепотом помянув покойника.

Настроение упало. Тронутая давнишним прострелом поясница начинала побаливать. Генерал долго мыл сапоги в глубокой придорожной канаве, ворчал на строителей, которые наобещали сорок коробов, да так и не положили дренажную трубу. Ворчалось не всерьез, по привычке. Бывало, задевала каждая мелочь, мешали жить пустяки, все нужно было сделать, доделать, переделать немедленно, сейчас же. Было, да прошло. Можно спешить, бежать, нервничать, требовать, добиваться, ругаться, взывать к совести, гнать себя и других. Можно просто положиться на течение вещей, зная, что что-то будет сделано, что-то не будет, что все это никак не нарушит равновесия жизни и в конечном счете все так или иначе образуется. Старику довелось пожить среди мусульман, и заимствованные у них семена фатализма давали всходы через много лет. Пожалуй, не так уж велика разница между скудной, залитой осенней водой землей Подмосковья и каменистой, иссушенной почвой азиатских

пустынь. Там хотя бы дорогих покойников в ямы не бросают. «Тьфу, черт! Вот мысль дурацкая», — выругался про себя Генерал и пошел обедать.

За чугунной дверцей печки еще тлели угольки, брошенный на них пучок тонкой сосновой стружки ожил, зашевелился, пошел дымком и вспыхнул веселым пламенем. Огонь схватил пучок сухих щепок, на щепки улеглись березовые полешки, и печь вновь захлебнулась в радостном гуле.

К Генералу вернулось утраченное было ровное настроение. Он не спеша, но быстро приготовил нехитрый обед — макароны и похожая на мясо розовая субстанция из банки иностранного происхождения. Кое-что осталось и на ужин.

Путешествуя в свое время по миру, Генерал едал вкусную, дорогую, приготовленную отменными поварами еду; с удовольствием резал острейшим ножом сочный бифштекс; брал прямо руками с блюда пряный индийский бириани; наслаждался кабульским шашлыком; большой ложкой накладывал свежую осетровую икру на горячую хрустящую иранскую лепешку— нан. Все это нравилось, приятно возбуждала чинная обстановка, ловкая и бесшумная прислуга ресторанов. Равнодушно глотая макароны, Старик не испытывал тоски по прежним радостям. Все это «снега былых времен», подсовывала ему память строчку Вийона. Но где снега былых времен? Где снега Кашмира, Гиндукуша, Сибири?

Мысль о снеге вернулась не случайно. За окном потемнело, по стеклу застучали ледяные крупинки, испуганной стайкой метнулись над забором ржавые листочки.

Генерал прихлебывал крепкий чай из фаянсовой кружки с выщербленным краем, поглядывал в окно на темнеющий лес, на дорогу, по которой за день не прошла ни единая живая душа. До вечера было далеко, выходить из дома в холодную мокреть не хотелось, браться за книги или за бумагу тоже было рано. Читалось и писалось лучше всего тогда, когда от простой работы уставало тело.

На веранде лежали доски, оставленные плотниками. Недоделок по дому было много, плотники обещали все поправить к зиме. К доскам Старик привык. Смотрел и на них, и на изредка появляющихся плотников без интере-са. Придет время, доски станут на свои места, плотники будут морочить голову другому простоватому заказчику Ребята они веселые, славные, и все их хитрости — немудреные уловки русского мастерового. Все образуется. Насмешливо и печально подмигивал со стены лист бумаги с выведенным персидской вязью изречением: «Ин низ мигузарад» («И это пройдет!»).

Досок хватит на все, и Генерал давно задумал смастерить себе книжную полку. На самодельном шатком верстаке, в чугунных старинных тисках зажат обрезок доски, рубанок ходит по шероховатой, с полукруглыми ссадинами поверхности. Пахнет свежеобструганной сосной, стародавней жизнью, когда «рубили деды сруб горючий» и пели о своем Христе. Генерал с сожалением отложил рубанок, освободил гладкую доску из зажима, поднял ее на свет, полюбовался матовым неярким сиянием дерева и позавидовал плотникам, их древнему, как русский лесной человек, уменью.

Природа обделила Генерала. У него не было ни твердой руки, ни безошибочного глаза, столь необходимых и плотнику, и художнику. Сколько ни вымерял он блестящей стальной линейкой оструганные доски, сколько ни выверял угольником прямизну срезов, а полка все же сколачивалась чуточку кособоко и требовала лишних, при правильной подгонке ненужных, гвоздей. Прежде, давно, в лета своей молодости, Старик жалел, что не умеет рисовать и сочинять стихи, лишен голоса и слуха — в общем, всего того, что придает артистичность человеческой натуре. Было даже какое-то чувство неполноценности, возникавшее от упрямого желания быть ни в чем не хуже других, от зависти. Бывало, Генерал любил рассказывать в компаниях, где пели, что однажды, когда он учился еще во втором классе и увлекся звуком собственного голоса на уроке пения, учительница сказала ему: «Перестань петь, ты весь хор портишь!». После этого он никогда на людях и не поет. Незатейливый этот рассказ почему-то неизменно вызывал сочувственный смех, особенно у женщин. Компании были молоды, и женщины обольстительны, одухотворены весельем, молодостью, радостью жизни.

Не умел Генерал петь, не играл ни на одном музыкальном инструменте, даже таком простом, как гитара, но любил слушать музыку старых мастеров, воображал иногда, что над тихим лесом, когда деревья еще только-только тронуты осенью, над этим начинающим отливать золотом и медью лесом звучат трубы органа и поет неземное глубокое контральто.

Много лет тому назад, вечность тому назад, в другом — яростном и ярком — мире, населенном неуемными, энергичными людьми, Генерал оказался на берегу небольшого озера. Острыми зубцами врезались в предрассветное небо невысокие скалы, поросшие у подножья колючим кустарником, мирно перекликались утки за каменной грядой, отражались в неподвижной воде розовеющие редкие облачка — пух с ангельских крыльев, лепестки отцветающего в раю миндаля. И вот в этой непробудной блаженной тишине услышал Генерал, тогда

еще очень молодой и очень энергичный лейтенант, чистое соло серебряной трубы — торжественное, возвышенное, печальное. Услышал голос иных, светлых миров, музыку сфер. Серебряная труба пела тонко и отчетливо, в ее мелодию должно было вплестись небесное контральто. Как дух Лауры...

Резкий автомобильный гудок — та-та-тааа, два коротких, один длинный, приглушенный расстоянием, оборвал мелодию, труба умолкла, чтобы никогда-никогда не зазвучать вновь. Лейтенант вскочил с камня, быстро, почти бегом по узкой тропинке обогнул скалу и через расщелину выскочил на дорогу к запыленной синей машине. Он перемолвился несколькими словами с сидящим за рулем человеком, передал ему толстый конверт, принял от него какой-то завернутый в грубую ткань сверток. Все прошло без малейшей заминки, машина продолжила свой путь, лейтенант вернулся на берег озерца, посидел на камне, спрятав сверток в дорожную сумку с рыболовным припасом.

Он еще несколько раз приезжал на это же место, стараясь попасть сюда в предрассветные часы. Стояла та же тишина, вдали покрякивали утки, так же отражались в воде розовеющие небеса... Мгновенье не повторилось.

Генерал не очень любил вспоминать свою прошлую работу, иронически называл себя «героем никчемных горизонтов», но прошлое отказывалось уходить и умирать: каждый день, каждый час оно тревожило стареющее сердце, вторгалось в мирные обыденные размышления, чужим небом отражалось в надоевшей луже, звучало в тишине отзвуком серебряной трубы.

Вот наконец забит последний гвоздь, и новая полка прилаживается над самодельным письменным столом. Прильнуло дерево к дереву, доска к доске, стукнул молоток, и полка заняла место, которое будет принадлежать ей до скончания времен. Зимой по подмосковным поселкам шарят воры. Они вламываются в пустые дома, берут все, что можно взять, сорвать, отвинтить: тарелки, абажуры, холодильники, одеяла, сапоги, консервы, столы, стулья. Но даже эти шакалы едва ли польстятся на самодельную, сколоченную из досок полку.

К вечеру изразцовые бока печки раскалились, дышали уютом, звали отдохнуть, взять книгу и неспешно почитать. Начиная с семилетнего возраста Генерал безудержно и жадно читал, брал книги в библиотеках, занимал у приятелей, покупал, поглощал сотни, тысячи страниц на русском и английском языках, читал на фарси, урду и французском. Позже, когда энтузиазм ослаб, он шутил: «Я знаю пять языков, но мне нечего сказать ни на одном из них». В шутке, как всегда, была доля правды. Книги учили, развлекали, сердили, погружали в раздумье, но во всем их

разноязыком множестве не было внятного слова о главном — о смысле жизни. Только гении, подобные Екклесиасту, Пушкину и Толстому, приближались к этому главному, но и они то ли не могли, то ли боялись сказать, зачем живет человек. От книг остались в памяти обрывки чужих мыслей, цитаты без принадлежности, недоверие к ученой мудрости, осознание ограниченности любого знания и необъятности непознанного.

Несколько десятков книг перебрались из города в еще недостроенный дом, прижились здесь, привычно и спокойно смотрели с полок. Будет жаль, если воры утащат или, того хуже, надругаются над ними, но дом без книги был бы совершенно уныл и пуст, приходилось брать сюда, в лес, не самое дорогое.

У книг своя судьба, и редкая заканчивает свою жизнь на той полке, куда ее впервые поставила рука хозяина — новенькую, в свежем переплете, пахнущую бумагой, типографской краской и клейстером. Старые книги рассказывали о прежней жизни, о своих авторах и редко-редко — карандашной пометкой на полях, знаком вопроса или восклицанием, чертой или галочкой — напоминали о былых читателях. Книги, как и люди, переживали войны и революции, подвергались гонениям и репрессиям, покидали родные края, пропадали без вести на чужбине или же, попав каким-то чудом в руки соотечественника, через десятки лет возвращались домой. Вот томик сочинений Фенелона, архиепископа Камбрейского, изданный в Москве в те годы, когда молодой Пушкин начинал приобретать всероссийскую славу. Какие ветры занесли ее в Тегеран, в армянскую семью, где она и была преподнесена Генералу? Какими путями попала в Кейптаун потрепанная книжечка Блока? Искали счастья на чужбине их первые читатели либо бежали от погибели? На старинном «Путешествии по Китаю и Тибету» фиолетовый штамп ученической библиотеки Трехгорной мануфактуры, детским неуклюжим почерком на внутренней стороне обложки накарябано «С\я книга принадлежитъ тому, кто ее купилъ за 45 копеекъ». Писал какой-то любознательный озорник, не думая, что надпись эта останется единственным осязаемым следом его пребывания на земле. Чернила и бумага долговечнее человека и памяти о нем.

Генерал рассеянно взглянул на разномастную книжную рать, выстроившуюся рядками, и по привычке подтрунивать над собой, над жизнью мысленно процитировал Васисуалия Лоханкина: «Рядом с этой сокровищницей мысли...» Вспомнилось заодно, что покойный имам Хомейни, человек, наделенный природным чувством юмора, сравнивал иранских интеллигентов с ослами, навьюченными книгами.

Читать расхотелось. Манил гладко обструганный дощатый стол, стопа чистой бумаги, казенного образца папка со шнурками, хранившая несколько десятков, а может быть уже и сотню, исписанных страниц, лампа с дешевым пластмассовым абажуром в форме кокетливого в горошек платочка, толстая зеленая ручка «Шеффер», ставшая за долгие годы верной службы чем-то вроде талисмана.

Старая работа, где успех зависел от многих случайностей, располагала к легкому, несерьезному суеверию — пристрастию или отвращению к определенным цифрам или дням недели, привязанности к какой-нибудь потертой рубашке, которую надо было надевать перед особо сложными делами, к старым часам или ручке. Возможно, эта склонность шла от студенческих времен, от экзаменов, где случайная удача значила не меньше, чем знания и сообразительность.

Надо было подбросить дров в печку, поставить чайник, достать новую пачку сигарет, вообще изготовиться к нескольким часам непрерывной работы. За окном угадывалась сплошная чернота, лишь где-то далеко светил огонек, расплывавшийся радужным пятнышком на запотевшем стекле.

Свою «писанину», как называл Генерал это занятие, он затеял давно, оказавшись в стороне сначала от служебных, а затем и всяких других, кроме домашних, дел: ежемесячных походов за пенсией, копания на грядках и попыток смастерить своими руками что-то полезное для хозяйства. Былые приятели и знакомцы, такие же отставные служивые, звонили изредка, в зимние месяцы, интересовались здоровьем, сговаривались при случае встретиться, бодрились и шутили. Повидаться, поговорить действительно хотелось, но звонки становились все реже, приятели либо умирали, и тогда надо было ехать в «Шестигранник» — традиционное место прощания с ушедшими при госпитале на Пехотной — и там встречаться с оставшимися, либо неприметно исчезали из жизни. У появлявшихся изредка новых знакомых проглядывался часто интерес к Службе, где раньше работал Генерал. Архивы службы, предназначавшиеся для хранения в вечной тайне, начали разворовываться и распродаваться еще в начале 90-х годов, после события, которое долго именовалось «августовским путчем», а затем многократно переименовывалось по прихоти людей, мелькавших на вершинах власти. Секреты Службы, тем не менее, продолжали интересовать публику. Комментарии современника, очевидца и тем более возможного участника описываемых в краденых документах событий придавали газетным статьям особый привкус достоверности. Но шло время, Генерала забывали, и новые

знакомства сходили на нет. Изредка раздавался телефонный звонок, забытый голос напоминал о себе, извинялся за то, что так долго не давал о себе знать, плел какую-нибудь малозначащую чепуху, а потом спрашивал, не мог ли Генерал припомнить вот такое-то событие, правда ли, что некто Н. был агентом его Службы и тому подобное. Старик притворялся растроганным тем, что старый друг вспомнил о нем, говорил любезности и, ссылаясь на слабеющую память, от ответов уходил. Частенько, положив трубку, он с горечью думал: «И до этого добрались, и это продали...» Думать о волнах всеобщего, тотального, какого-то ликующего предательства, которые поднялись одновременно с перестройкой и до сих пор бушевали по стране, калеча человеческие судьбы, размывая все то, на чем стоит общество, было невыносимо тяжело. Но и это перегорело. С соседями по поселку приходилось общаться довольно часто. Они тоже жили в своем прошлом, были немногословны, и разговор обычно сводился к двум-трем фразам.

Так и оказался Генерал на острове, населенном небольшим числом родственников и бесчисленным множеством, сонмом теней, никогда его не покидавших. Тени жили, разговаривали, смеялись, плакали, жаловались, докладывали, просили совета, получали указания, появлялись в памяти неожиданно и так же внезапно исчезали, чтобы появиться когда-то вновь. Тени никогда не умирали. Вернее, они жили до тех пор, пока был жив Генерал, и не имело значения, что там, за пределами острова, они уже не существовали.

Мир теней удивительным образом становился все объемнее, ярче, многообразнее, и Старик с удовольствием погружался в него. Злоба и зависть там не жалили, а радость по-прежнему заставляла чаще биться сердце, своя и чужая глупость не казалась столь обидной, неудачи печалили, но не повергали в уныние.

К правде, к тому, что было, примешивалось то, что могло или должно было бы быть, связывались порванные нити, развивалось оборвавшееся действие, уходили от недоброй судьбы люди. В конечном же счете все возвращалось к одному и тому же: к острову в океане темноты, где мокли невидимые голые березы, стучали по крыше ледяные крупинки, горела над столом лампа в платочке горошком.

Мысль о том, что теням надо дать хотя бы такую едва осязаемую плоть, как след карандаша на бумаге, оставить память о них вместе со своей памятью внукам, правнукам и, Бог даст, их потомкам, эта мысль посетила Генерала еще тогда, когда жизнь была на подъеме, когда он уверенно распоряжался чужими судьбами и делами. В короткие промежутки он что-то записывал

на листках, складывал в своем беспорядочном личном архиве — вырезки из газет, выдранные из журналов страницы, письма, фотографии, брошюры накапливались в стенном шкафу просторного кабинета. Примерно раз в год делалась попытка выкинуть ненужное и привести в порядок полезное, то, что могло еще когда-то пригодиться, бумаги раскладывались в аккуратные стопки, но вскоре в шкафу воцарялся прежний беспорядок. Расставаясь с кабине-том, Генерал захватил только записи, а остальное безжалостно выбросил, попросил дежурных сжечь, понимая, что в будущем весь этот бумажный хлам, осколки чужой учености ему уже не потребуются.

Поначалу писалось тяжело. Слова не выстраивались во фразы, мысли суетились и спорили, мешали обыденные мелкие заботы, досада на судьбу, на людей, надежды на какое-то будущее. Но все это уходило, успокаивалось, оживали тени, втягивая Генерала в свою, такую дорогую и знакомую ему жизнь.

Трудно было найти подходящий замыслу тон. Он сам рассмеялся, когда начал записки серьезной и размеренной фразой: «Родился я в городе Москва такого-то числа такого-то месяца...». Сразу же получалось нечто подобное автобиографии, что прикладывалась к анкете при каждой смене места работы, при выезде за границу и подшивалась к личному делу, незримо сопровождавшему советского человека с юного комсомольского возраста до гробовой доски. В некоторых учреждениях, самонадеянно полагавших, что они распоряжаются вечностью, на серых обложках личных дел ставился чернильный штамп: «Хранить вечно». Именно в таком учреждении и работал давным-давно Старик. Учреждение владело не только жизнью и смертью своих сотрудников, но и их потусторонним существованием.

В жизни ему приходилось писать много. Изъял вложенное из тайника («обработал тайник») — надо писать отчет; встретился с агентом («...провел личную встречу по постоянным условиям связи с Х. или У.») — непременно подробный отчет по установленной форме; попал под наружное наблюдение и сошел с маршрута — подробное описание обстоятельств, анализ и выводы; принес со встречи документальный материал — представь резиденту его перевод или изложение и так далее. Каждый шаг запечатлевается на бумаге, фамилии, названия объектов и мест, даты кодируются, бумага получает номер и гриф секретности, докладывается начальству, подшивается в объемистое дело и в конце концов успокаивается в хранилище до тех пор, пока до нее не доберется какой-нибудь будущий оперативный работник или архивный вор.

Стиль этих бумаг складывался десятилетиями: никакой

развязности и даже излишней живости, ограниченный набор слов, правильная сухая грамматика, строгая логичность, столь несвойственная настоящей работе да и жизни вообще. Многие так и не постигали этот военно-канцелярский стиль, вызывали недовольное ворчание начальников, упреки в небрежности, в нечеткости оперативного мышления. С продвижением по служебной лестнице, то есть от живой оперативной к административной работе, самому приходилось писать меньше, но надо было чаще подписывать чужие бумаги, приводить их в порядок, убирать ненужные слова, вгонять мысль в колодки общепринятой манеры.

Люди, которым адресовались эти бумаги, сидели так высоко, что едва ли стали бы обращать внимание на все эти мелочи. Но документы внимательнейшим образом изучались целым легионом их помощников, секретарей, референтов, способных разбираться в грамматике, стиле и оттенках мысли, самих недурно владевших пером и придирчиво вылавливавших чужие огрехи. Бумаги писались лаконично. Получи Служба Генерала достоверные данные о приближающемся конце света, она и их изложила бы не более чем на трех страницах. Это правило — не более трех страниц — ввел еще Андропов, хорошо знавший умственные способности высших сфер.

Эта манера вряд ли подходила для личных, даже интимных записок, которые не предназначались для постороннего глаза, а должны были попасть к потомкам Генерала лишь после его кончины; их было бы неинтересно не только читать, но и писать, а главное, не удалось бы придать теням даже подобие плоти.

Было и еще одно обстоятельство, весьма серьезное: неспешное, подробное, с отступлениями описание происшествий, дел, людей, мыслей позволяло заполнять пустоту существования, придавало ему необыденный смысл.

Можно было надеяться, что эта неторопливая, приятная и временами волнующая работа так и протянется до последнего неминуемого дня.

Записки, как уже было сказано, предназначались потомкам. Генералу в его молодые годы собственные предки были неинтересны. Он хорошо помнил умершего молодым отца, его мать — свою бабушку, другая бабушка умерла, когда ему самому было уже под сорок. Мать жила долго. Он их помнил, но как-то, задумавшись, понял, что знал о них очень мало, что у него нет ни строчки, написанной рукой отца или дедов, что не осталось от них ничего, кроме нескольких старых фотографий. Они жили, работали, воевали, дружили, любили, враждовали, рожали и хоронили, голодали и иногда скромно пировали. Все это ушло

бесследно, не переселилось даже в мир теней, и из отрывочных, случайно оставшихся в памяти картинок и слов нельзя было восстановить ткань их существования.

«...Боялись самого страшного — казенного письма с траурной каймой, похоронки», — было написано на одной из страниц, покоившихся в серой папке со шнурками. И вот в один из зимних вечеров 1942 года (кажется, это было зимой) кто-то постучал во входную дверь. На втором этаже деревянного дома в маленькой квартире жили три семьи, и никто никого в это время не ждал. Электрического звонка в доме не было, и для того, чтобы наверху услышали стук, надо было колотить в дверь долго и изо всех сил. Кто-нибудь из женщин (мужчины воевали) в накинутом наспех пальто и тапочках или калошах на босу ногу выходил в холодный, продуваемый ледяным ветром коридор и кричал сверху: «Кто?». Стучал отец, отпущенный на день из госпиталя или забежавший домой по дороге в госпиталь.

Запомнилось одно: раненое плечо, глубокая красная борозда, заполненная какой-то шевелящейся серой массой и испуганный голос мамы: «Вши? Господи, это вши...»

На этой страничке написано и то, что все нижнее белье отца пришлось сжечь в печке, благо она в доме была и топилась тогда, когда были дрова, выдававшиеся по ордерам. Водопровода же и ванной не было, и как удалось отцу вымыться в этот поздний час в маленькой комнатушке — Генерал не запомнил, а спросить у матери в свое время не догадался.

Получалось так, что ниоткуда появился человек на белый свет и в никуда уйдет и так же — ниоткуда и в никуда — будут приходить и уходить связанные с ним будущие люди. Должно же быть совсем по-иному. Те, кто знает свое прошлое, увереннее чувствуют себя в настоящем, черпают вдохновение у тех, кто был раньше их, кто прошел многие испытания, выжил и дал им жизнь.

Эта мысль, нередко посещавшая Генерала, казалась ему бесспорной, но несколько книжной, навеянной, возможно, не столько собственным опытом, сколько чужой мудростью, чужими размышлениями. Правда, различать свое и заимствованное становилось все труднее, да в конце концов не это было важно. Будущим людям понадобится опора в прошлом, но хотелось еще и оставить на земле какую-то память о себе. Старик привык проверять людей, их дела и слова здравым смыслом, ибо в его профессии не было ни безошибочных приборов, ни хитроумных формул. Его желание проверки здравым смыслом не выдерживало. Какое тебе дело до того времени, в котором тебя уже не будет? Не будет совсем, с твоими переживаниями, опытом, знаниями, ты превратишься в тень, выцветающий отпечаток в

чьей-то памяти. Не все ли тебе равно? Спорить с рассудком было бесполезно, и тем не менее Генерал продолжал писать, утомляя глаза и с трудом разгибая ноющую спину.

Давно опустел чайник, по комнате плавал прозрачный синеватый табачный дым, из-за неплотной занавески проглядывало черное окно. В неярком, косо падавшем свете лампы казалось, что стекло уже заиндевело по-зимнему.

Первоначальный замысел— писать от рождения или от предков — казался естественным, но вскоре выяснилось, что с ним не согласен мир теней. Память не соглашалась с хронологией, требовали внимания внезапно всплывавшие события и люди, приходилось откладывать наполовину исписанный лист и переходить к истории столь же бессюжетной, неопределенной, как и ее предшественница.

Генерал представлял себе разочарование будущего читателя, фигуры абстрактной, без внешности, возраста, пола, но ничего такого, что могло бы сделать повествование ярким, более интересным и поучительным, в голову пока не приходило; отступать же от правды, вводить в заблуждение воображаемого читателя было нельзя.

«Обязательно надо как-то оживить, расцветить историю. Не все было просто и объяснимо, случались ведь почти чудесные вещи, смешного, нелепого и трагичного было много. Как же все это описать, чтобы не было скучно и сухо?»

Старинный прием — говорить о себе в третьем лице. Разговор с самим собой, но не вслух, а про себя, становился привычкой, порой перерастал в жаркий спор, дело доходило до оскорблений, которыми Старик награждал самого себя, невольно выступая за обе конфликтующие стороны. Этот не слышный никому монолог, скорее даже диалог, где обе стороны были абсолютно во всех отношениях равны, но несколько по-разному смотрели на жизнь, никогда не прекращался. Тени, правда, его слышали и иногда вмешивались со своими суждениями. Живые люди в диалоге не участвовали. Сожаления по этому поводу Генерал не испытывал.

Вообще его мир все больше делился на две удаляющиеся друг от друга, хотя и связанные области. В одной он существовал — ел, пил, сажал яблони, держал в руках карандаш, лопату, рубанок, разговаривал с соседями, ездил в город, покупал еду. В этой области был яркий и радостный уголок: дети и внуки — веселая, шумная, беспечная и бестолковая публика. Этот уголок был Старику безмерно дорог. Галдящая и смеющаяся толпа в летние выходные дни вваливалась в домик, немедленно принималась жевать, пить, играть в футбол, бегать по грядкам, искать корзинки, чтобы идти по грибы, копать грядки, петь песни,

ругаться. Домик ходил ходуном; ворчала, посмеиваясь, Нина Васильевна — жена Генерала, а сам Ста-рик с упоением бросался в общую суматоху, поднятую шайкой-лейкой, как именовалась насмешливо вся семейная молодежь. Шайку-лейку Генерал ставил на особое место, сначала неосознанно, а потом вполне сознательно отделяя ее и от прошлого, и от обыденного настоящего. Во всяком случае он решил не пускать эту компанию в свои записки, хотя и сам едва ли смог бы объяснить почему.

Возможно, опасался, что не удастся мало-мальски похоже описать своих драгоценных родственников, а скорее, сдерживали какие-то неясные опасения. Как бы то ни было, холодными осенними вечерами и шайка-лейка, и Нина Васильевна были далеко, они не принадлежали осязаемому миру, в котором дощатые стены, низенький потолок, дождь за окном, кружка чаю, табачный дым. Они существовали особо и лишь соприкасались и с этим миром, и с миром теней, куда погружался Генерал.

В конце концов замысел записок, стратегическая линия (былой деловой жаргон, аура глубокомыслия) вырисовывалась так: излагать то, что именно сейчас вспоминается наиболее отчетливо и что может расплыться, ускользнуть из памяти. Нить жизни должна разматываться естественным образом, так, как разматывается любая нить, то есть с конца. Надо сказать, что Генерал несколько лет назад успел написать и даже издать автобиографическую книжонку под претенциозным названием «Рука судьбы». Писалась она сразу после того, как ее автор свалился с олимпийских служебных высот, был до крайности расстроен и возбужден, почему-то неимоверно спешил, будто опасаясь, что вместе с карьерой кончится и жизнь. Естественно, ему казалось, что книжонка не раскрыла и доли того, чем он жил, и не могла быть откровенной, поскольку изначально предназначалась для чужих глаз. Нет, надо писать с конца, не спешить, пытаться заглядывать внутрь событий...

Утвердившись в этой простой мысли еще раз, Генерал щелкнул зажигалкой, секунду полюбовался голубоватым язычком пламени, закурил, подвинул ближе пепельницу — потемневшее медное блюдечко с затейливой резьбой, купленное в доисторические времена на калькуттском базаре, надел очки и со вздохом начал писать. Он вспоминал октябрь 1993-го.

ОКТЯБРЬ УЖ НАСТУПИЛ...

«Покрытое легкой дымкой предзакатное небо, светящиеся янтарем листья клена и необычная глухая тишина московских улиц. И вдруг трубный журавлиный крик, первые такты печальной и светлой осенней симфонии. Надо смотреть в небо: через несколько мгновений там появится зыбкая вереница огромных и беззащитных птиц, выровняется клином, протрубит в последний раз и неспешно направится вековечным путем в благодатные южные края. «Мы вольные птицы. Пора, брат, пора...»

Пора! Но ты, брат мой, журавлик, никогда и никуда не полетишь. Последние листья желтеют на солнце за железной решеткой зоопарка, и журавлиный голос звучит тоской подрезанных могучих крыльев.

Пропела печальная переливчатая труба, оборвалась мелодия, и внезапно бухнул барабан — гулко, зловеще, бухнул еще и еще, бешеной дробью застучали барабаны поменьше. Эта музыка знакома прохожему, оказавшемуся на этой еще вчера такой знакомой и уютной улице. Бой сатанинских барабанов, горящие дома далеких азиатских городов, воющие в безутешном горе женщины и запах дыма. Уютен и ласков огонь камина, приятен смолистый аромат костра. Дым горящего дома пахнет ужасом. Ужас пришел в Москву.

Прохожие не замедляют шаг, разговаривают вполголоса, движения их сдержанны, еще мгновение — и они сольются со стенами, растворятся в асфальте, исчезнут в дверных проемах. Город давно не воевал, он даже не напуган, а ошеломлен и до предела насторожен.

Беззвучно сменяются огни светофора — яркий изумруд и кроваво-красный рубин на лиловеющем фоне вечерних легчайших облаков. Под светофорами — цепочка темно-серых, словно выточенных из какого-то древнего камня фигур, идолищ,. Идолища молчаливы и неподвижны, на квадратах плеч — шары шлемов, в руках... Что же у них в руках? Неужели такие же древние, как сами фигуры, палицы? Или рогатины? Или просто автоматы?

На сцене нет ничего лишнего — серая улица, несколько ярких пятнышек, неприметные сжавшиеся прохожие и темно-серый частокол нездешних, не из нашей жизни, фигур. Вот сейчас подаст знак невидимый дирижер, цепь блеснет огоньками, раздастся сухое стаккато, истуканы придут в движение и механическим мерным шагом двинутся по улице. А где-то поблизости за спинами темно-серых фигур размеренно грохает

барабан и поднимается к небу струйка черного дыма.

Каждому прохожему совершенно необходимо увидеть и горящий дом, и сатанинский барабан, и воду Мо-сквы-реки. Это нелюбопытство. Это стихийное, первобытное чувство толкает мирного жителя к источнику беды, он должен увидеть его своими глазами, запечатлеть его в памяти: ведь это его город, это его народ, это его жизнь!

Неподвижная доселе цепь оживает, угрожающе шевелится, готовится принять знак дирижера. Слева — металлическая сплошная решетка и справа — металлическая сплошная решетка, и где-то за решетками укладывается спать пленное милое зверье. Людям спать еще рано.

Буумм— десятки человеческих душ черной струйкой уходят в небо, буумм — еще десяток не успел бросить прощальный взгляд на несчастную нашу родимую землю, не успел прошептать последних слов. Осколочный снаряд рассчитан на вражескую пехоту, на бой в чистом поле, Снаряд не успевает взвыть, врывается в окно, грохает в стену и рассыпается бешеным ураганом раскаленного, колючего, режущего и рвущего живое тело металла. Бууммм! Кто же спрятан в чреве стального чудовища, кто нащупывает в орудийный прицел живые души и бестрепетной рукой посылает смерть? Это русский человек, Русские вновь убивают русских, и кто-то в генеральской фуражке уже примеривает в мыслях очередную звезду: Бууммм!

Нет похоронного звона. Колокола церквей молчат, не воют над убиенными гудки и сирены, звучит только дьявольский размеренный набат — буумм! буумм! В сердце, в совесть, в душу, в прошлое, в будущее— из крупнокалиберной танковой пушки осколочным снарядом, сотнями смертей — буумм! Кто ты — русский человек: славный танкист, отличник боевой и политической подготовки? Кто твои мать и отец?

Тихие люди, исконные жители древнего города выскальзывают из тупика, ручейком вливаются в узенький московский переулок, идут извилистыми ходами. Инстинкт гонит их к горящему над Москвой-рекой дому — источнику беды. Они должны увидеть его своими глазами, навеки запечатлеть в памяти.

Меж старыми стенами, повалившимися некрашеными заборами, перепрыгивая осенние лужи, люди говорят громче, их тревога звучит отчетливее, «буумм» подгоняет их. Это не крысы, не уголовники, не голь перекатная, не Иваны, не помнящие родства. Это мирные жители первопрестольного града, его обыватели, чьим трудом, разумом, потом, кровью стояла держава. Они не испуганы — их гонит неведомо куда ощущение общей

беды.

Людской ручеек через тесный проулок, даже не проулок, а больничный двор, вытекает на просторное — ни единой машины —- Садовое кольцо. Только сейчас можно увидеть, как широки московские улицы, как красивы обрамляющие их дома, как трогательны упорные живучие деревца вдоль тротуаров. Под деревьями, вдоль стен — несметные тысячи сосредоточенных печальных людей. Их не отвлекают ни лозунги, ни знамена, ни ораторы, их никто не призывал на эту улицу, они не ищут ни славы, ни прибыли, ни развлечения. Просто — это их город, они здесь живут, у них нет другой земли, они имеют право знать, видеть, что происходит.

Широченная улица перегорожена цепью серых фигур. Цепь колышется. Она живет своей жизнью, оял, кажет-сл, забавляется растерянностью, несобранностью людского множества. Кто в цепи? Русские люди!

Цепь слегка колышется, как бы исполняя какой-то очень медленный танец, в котором фигуры не меняются местами, а лишь то приближаются, то слегка отдаляются друг от друга. Негромкий хлопок — цепь отметила присутствие людей. Оставляя отчетливый дымовой след, вспарывает спокойный вечерний воздух граната со слезоточивым газом, грохает в ствол дерева, отскакивает в стену дома, бешено прыгает по тротуару, стремясь укусить хоть кого-то, прежде чем издохнуть. Мирные люди шарахаются, трут мгновенно заслезившиеся глаза, закрывают лица платками. Цепь оживляется. Еще хлопок дымная змея нависает над выходом из подземного перехода. Это далеко от цепи, едва ли серые фигуры различают свою мишень. Хлопок, еще один... третий, четвертый. Улица окутывается сизым прозрачным дымком, пахнущим черемухой. Запах весны — и через мгновение режущая невыносимая боль в глазах. Цепь продолжает свой загадочный медленный танец: шаг влево, хлопок, дымная змея, бегущие люди; шаг вправо, дымная змея, бегущие, трущие глаза, закрывающие лица платками люди. «Уже черемух фимиам там в чистом воздухе струится...»

Танец серых фигур оживляется, похоже, что их возбуждает зрелище бегущих от ядовитого дымка людей. Цепь смыкается, густеет, обозначает угрожающее движение вперед. «Они пьяные, пьяные...» — громко шепчет кто-то из людей. Может быть, цепь не пьяна, а скорее опьянена неоспоримой властью над этим разрозненным и безоружным людским множеством. «А ну-ка, ну-ка, — подзуживает людей цепь, — попробуйте, сделайте шаг!» Русский народ невозвратно разделяется на тех, кто держит в руках дубинки, автоматы и гранатометы, и тех, кто безоружен.

Безоружные растекаются по переулкам, ищут обходные пути, но серые квадратные истуканы с шарообразными предметами на плечах плотно затыкают все ходы и выходы. 1де-то поблизости оглушительным автоматным треском взрывается тишина — стрельба беспорядочная, длинными очередями из десятков стволов. Таким же треском отзывается соседний переулок. Палят в белый свет, зажмурив глаза? Или же расстреливают каких-то несчастных, вознамерившихся показаться в собственном городе? Бегущие от стрельбы люди ничего не могут толком рассказать.

Молодая женщина в повязанном по-монашески платке исступленно кричит: «И они сами, и дети их будут гореть в адском огне! Будут гореть в огне!». За углом заливисто воют автоматы.

Русские убивают русских...»

Так писал Генерал и вновь переживал тот далекий и страшный октябрьский день.

Старик устал. Строчки расплывались перед глазами («надо менять очки и купить лампочку поярче»), надоедливо ныла поясница, тяжестью давило затылок. «Окаянные дни...» — сколько людей бессильно повторяли тогда это горькое выражение Ивана Бунина. Время прошло, несчитаных убитых, а было их не меньше тысячи, тайком, воровски куда-то вывезли, сожгли, побросали в ямы, но продолжали тревожить мысли о низости власти, ее лицемерии и жестокости. Именно власть одела людей в серые и пятнистые мундиры, водрузила им на плечи шарообразные шлемы, вооружила автоматами, гранатометами, пушками, заставила унижать и убивать других, точно таких же русских людей.

«Октябрь 93-го, как и октябрь 1917-го, был не кульминацией, а прологом...» — вновь взялся было за перо Генерал, но в полную, непроницаемую тишину вкрался вдруг тоненький звук, точно такой, что не давал заснуть вчера, — то ли писк, то ли стон, тихий, жалобный и настойчивый. Старик прислушался: так и есть, кто-то или что-то скребется в дверь и скулит.

В эти неспокойные лихие времена каждый мирный человек вооружался, отгораживался решетками, кирпичом, бетоном, проволокой, железом, хитроумными запорами от полного неожиданных угроз внешнего пространства. Люди обманывали, грабили, похищали, уродовали, убивали друг друга, сколачивались в банды, банды воевали между собой, подкупали власть и ее служителей. По родимой земле лесным пожаром шла криминальная революция, как осмеливались называть это бедствие некоторые публицисты. Жизнь в России никогда не была безопасным предприятием, но смутное время связало ее с

непомерным риском. Употреблять выражение «смутное время» тоже было небезопасно, следовало говорить о реформах, об окончательном разрыве с коммунистическим прошлым, об особенностях демократизации и так далее, обо всем, кроме правды.

Генерал поднялся осторожно, так что не скрипнул ни стул, ни половицы, оглянулся на прикрытое занавеской окно и, как был в одних толстых шерстяных носках, быстро и бесшумно метнулся в угол комнаты. Там громоздились гигантским разлапистым кочаном рубашки, куртки, фуфайки, какие-то халаты — все не было времени сколотить шкаф или хотя бы приличную вешалку. В самом основании этого вороха у стены, касаясь подолом дощатого пола, висела тяжелая генеральская шинель с отпоротыми погонами и петлицами. Приобрел ее владелец еще в 86-м году по случаю получения генеральского звания и неведомо зачем. В его службе мундир носила только охрана, но уж очень обрадовал переход в ряды генералитета и хотелось отметить это редкостное и радостное для служивого человека событие. К званию прилагалась солидная по тем временам сумма на экипировку. Она пошла на приобретение шинели, осеннего пальто, повседневного мундира, зимней цигейковой куртки и утепленных галифе. Понимающие люди своевременно подсказали, что в этой куртке и галифе на стеганой бледно-зеленой подкладке можно часами сидеть на льду на зимней рыбалке и не замерзать. Генерал подледным ловом не увлекался, но тем не менее этот наряд взял. Сапоги на меху не подошли: был низковат подъем и от них пришлось с сожалением отказаться. Генеральская же шинель, ни разу не надеванная, в хозяйстве пригодилась. Холодными ночами она стелилась поверх одеяла и согревала добротным мягким сукном.

Старик сдвинул в сторону висящие тряпки, приподнял полу шинели, достал прислоненное к стене двуствольное ружье, осторожно опустил сукно, мягко развернулся и пошел к двери, бесшумно взводя на ходу курки. В левом стволе была картечь, в правом — мелкая утиная дробь. Курковое ружье хорошо, лучше, чем бес-курковое, подходило для действий в темноте. Пробравшись на цыпочках в темный коридорчик — стенания раздавались все отчетливее — Генерал постоял с десяток секунд, чтобы глаза привыкли к темноте, перешел на веранду и, затаившись, еще немного постоял. Что-то царапалось у входной железной двери.

На дворе выпал снег, сквозь стекла веранды угадывался темный силуэт леса и неяркая звезда над ним. Старик не то что боялся темноты, но как-то не доверял ей. Одно дело — самому

сливаться с темнотой, смотреть из мрака на яркие окна или залитую светом лужайку, где любая фигура была легкой мишенью для выстрела. Стрелять по людям Генералу не приходилось, не было нужды, но был случай, когда из темных безмолвных кустов, с невысокого пригорка он наводил длинный, похожий на трубу ручного гранатомета телеобъектив на беспечных, ярко освещенных людей и снимал кадр за кадром. Возможно, один из этих кадров стоил кому-то карьеры. Тогда задумываться над такими вещами не приходилось. Появлялись в видеоискателе два счастливых улыбающихся лица, сливались губы в поцелуе — щелк! Надо, чтобы оба лица были видны отчетливо, — щелк! В восторге поднимал сильный мужчина свою подругу на руки — щелк!

Другое дело — выходить из света в темноту. Когда-то, на заре оперативной молодости, шагнул лейтенант с чужого порога в тропическую беспросветную ночь и, прежде чем успел различить контур разлапистой пальмы, был ослеплен невыносимо ярким лучом фонаря, схвачен сильной рукой сзади за шею, в то время как другие сильные руки сжали с двух сторон его запястья, моментально и тщательно обыскан, после чего выброшен мощным толчком в мягкую, липкую, невидимую во тьме придорожную пыль. Никаких сомнительных бумаг или иного, говоря служебным языком, компромата при лейтенанте не было. Пачка денег исчезла вместе с ключами от машины, но машина стояла там, где была оставлена пару часов назад, — в двух километрах от места происшествия, у небольшого рынка. История так и осталась неразгаданной, долго тревожа и самого лейтенанта, и его начальников. Очень не хотелось думать, что на такие выходки способна местная наружка, поэтому пришли к выводу, что имело место обычное ограбление.

Переход из света во мрак до сих пор вызывал у Генерала безотчетную тревогу, приходилось подталкивать себя, заставлять ноги неслышно переступать и нести тело вперед, вслушиваться невольно в каждый шорох и подавлять желание вернуться назад, в свет. (Надо сказать, что ему одинаково неприятны были и яркий свет, и густая темнота, и этот жесткий переход из одного в другое. Он любил сумерки, полумрак, предрассветные и предзакатные минуты, мягкие контуры, негромко говорящих людей. Его характер формировался в ту пору, когда оперативная техника еще не достигла нынешних вершин, когда для негласного фотографирования нужно было яркое освещение, а для подслушивания — отчетливый и громкий разговор. Сейчас это не имело бы никакого значения, но десятки лет назад сумерки были идеальным временем для работы.)

Увидеть через окно входную дверь было бы невозможно, но на столбе как раз на такой случай было пристроено под углом зеркало, что-то вроде примитивного перископа. В зеркале отражалось пустое, наполовину присыпанное снегом крыльцо и комочек, шевелящийся у самой двери. Генерал напряг слух, всмотрелся в темные кусты — незваные гости были мастерами на всякие выдумки. Все было спокойно.

Он положил палец на спуск правого ствола с мелкой дробью для ближнего боя, бесшумно отвел левой рукой смазанный засов, легонько толкнул дверь и отступил на шаг за косяк. «Цепочка нужна, цепочка...» — в сотый раз ругнул себя Генерал, и в этот момент в щель ворвался живой комочек, запрыгал, завизжал, вьюном закрутился у ног.

КСЮША

Живой комочек повизгивал и топал в темноте, колотясь о ноги Генерала. Он прикрыл дверь, осторожно снял с боевого взвода оба курка, нашарил левой рукой выключатель и нажал на кнопку. Свет ударил в глаза, которые Генерал предусмотрительно полуприкрыл, и осветил то ли щенка, то ли маленькую собачку. Длинная рыжая шерсть песика намокла, нависла на мордочку и из-под прядей торчал только блестящий черный нос.

«Ах ты, бедолага, отчаянная душа неприкаянная. Ну пойдем, так уж и быть, погрейся!»

Человек и за ним собака, все еще выказывающая свой восторг и признательность за гостеприимство, проследовали темным коридорчиком, но не в ту комнату, где лежали на столе исписанные листы и было накурено, а прямо на кухню.

«Ну-ка, малыш, покажись, какой ты есть», — дружелюбно наклонился Старик к своему гостю, протянул было руку, чтобы погладить его по мокрой голове, успокоить бродяжку, разделить с ним ужин и порассуждать вслух о собачьей и человечьей судьбе. Многие любят разговаривать с собаками: они смотрят на говорящего все-понимающими сочувствующими глазами, не перебивают, не задают вопросов и не рассказывают о своих болячках. Генерал принадлежал к числу таких людей.

Собачка успокоилась, потянулась черным носом к протянутой руке, но рука застыла в воздухе. У Старика часто-часто забилось сердце. Плита, полки с посудой, скамейка куда-то исчезли, и перед глазами осталась только рыженькая собачка, намокшая длинная шерсть, черный блестящий нос и хвост веселым бубликом.

«Не может быть, не может быть, не может быть», — вдруг забормотал вполголоса хозяин. Рука его опустилась и погладила крутой лобик. Пес изловчился и лизнул руку влажным теплым языком. «Ах ты, господи». Слов не нашлось, ничего, кроме неясного шепота «ах ты, господи» и «не может быть...». Собаку это странное поведение человека, казалось, ничуть не удивило. Пока он тыкался, как слепой, от стены к стене по тесной кухоньке, собака присела, полизала шерстку, осмотрелась и уже уверенно, без заискивания подошла к Генералу и подняла мордочку. Сквозь начавшую подсыхать и расправляться шерсть блеснули чуть выпуклые умненькие глаза. Это был не щенок, а молодая сука довольно редкой породы, называвшейся апсо и происходившей из Тибета.

В тибетских храмах в нишах загадочно улыбаются каменные

Будды, крутятся под руками паломников медные молитвенные барабаны, курятся сизым дымком благовонные палочки, молятся бритоголовые, в оранжевых широких одеяниях ламы. Ночью храмы пустеют, с высочайших гималайских вершин спускается леденящий холод и вместе с ним идут в долины, в обиталища людей злые демоны. Снаружи храмы оберегают большие черные с сединой собаки. Внутри в лабиринтах переходов, закоулков, пещер день и ночь священную службу несут чуткие маленькие сторожа — апсо. Именно они издалека чувствуют приближение демона, отпугивают его звонким лаем, будят дремлющих монахов и возвращают их к нескончаемой молитве.

У тибетского терьера, у апсо, у яка-дзо, у самих тибетцев длинная густая челка закрывает глаза, защищая их от нестерпимого блеска вечных снегов под вечным солнцем. Ни одно живое существо не может долго видеть это сияние, не ослепнув.

Генерала привела в смятение, разумеется, не редкость породы, хотя, приоткрывая дверь, он ожидал увидеть столь обычную для наших мест дворнягу — животное ничуть не менее приятное и понятливое, чем многие его породистые, холеные сородичи. Приблудная собачка была точной, до мельчайших деталей, вылитой копией того существа, которое давным-давно и, увы, недолго было любимым и избалованным членом семьи Генерала. Сходство было разительным, вот почему и дрогнула рука, остановилась в воздухе, вот почему замерло и забилось сердце.

Все происходящее надо было осмыслить, но собака казалось голодной, да и самому Старику хотелось есть. Он подошел к полке, выбрал блюдце побольше, положил туда остатки макарон с мясом, подумав, что надо бы их слегка подогреть, поставил блюдце на пол. Ему почудилось, что гостья посмотрела ему в глаза, прежде чем приняться за еду. Миска быстро опустела, рыжая мордочка повернулась к хозяину (хозяину?), уставилась на него черным носом, из-под высохшей челки светились блестящие глаза. Пришлось выложить на блюдце то немногое, что еще оставалось на сковороде. «Ничего, сделаю себе бутерброд», — утешился Генерал, налил в мисочку поглубже холодной воды и поставил ее на пол. Собака ела спокойнее, выбирала крохотные кусочки мяса, поглядывая на хозяина, оторвалась наконец от блюдца и завиляла лихо закрученным пушистым хвостом: ну, что, мол? Что дальше?

Дальше надо было бы поесть самому, но Генерал как-то забыл про голод. Он опять погладил собачку, легонько свистнул и пошел в свою комнату — к письменному столу, вороху одежды на стене, постели, огляделся, не нашел ничего подходящего, снял с

крючка синий потрепанный свитер, постелил его на полу у изголовья, похлопал по нему ладонью: иди сюда, ложись, спи!

Собака не спешила принять приглашение. Она неторопливо обошла комнату, проследовала под стол и ткнулась носом в ножку стула. Этот стул жил в семье с незапамятных времен, еще с квартиры в Кузьминках, но не скрипел и не шатался, лишь ободралась на нем обивка. Запах собачку, кажется, удовлетворил. Она задержалась под тряпичным ворохом, принюхалась и легонько фыркнула. После этой инспекции, на которую смотрел с замирающим почему-то сердцем Старик, она подошла к расстеленному свитеру, внимательно его понюхала, глубоко вздохнула, как умеют вздыхать собаки, и легла, свернувшись калачиком.

«Кто ты, кто, о гость случайный?» — продекламировал вполголоса уже с легкой усмешкой Генерал. Ирония была призвана, как обычно, скрыть подлинные, отнюдь не смешные чувства. Ошеломление, вызванное внешностью и манерами нежданной гостьи, проходило, разум быстро перебирал все мыслимые реалистические варианты происходящего: из соседнего поселка прибежала и заблудилась... соседские ребята упустили... Какие соседские ребята, Старик? На дворе поздняя осень, дождь со снегом, соседские ребята появлялись здесь только раз, в августе, и с ними была здоровенная овчарка!

Собачка устраивалась поудобнее на синем свитере, но еще не спала.

Генерал в свое время читал Эдгара По, откуда и выплыл «гость случайный». Любил лемовский «Солярис», помнил Дж.Б. Пристли, огромного блоковского пса в туманном кабинете — «перед гением судьбы пора смириться, сэр». Все это был плод фантазии довольно благополучных (кроме По, разумеется) талантливых людей. Читать их было интересно, зачаровывала благородная необычайность ситуаций, вымышленные ими призраки вызывали умиление.

Жизнь Старика складывалась в общих чертах таким образом, что он не верил ни в Бога, ни в черта, посмеивался над экстрасенсами и парапсихологами, не переживал ни кошмаров, ни видений и к приметам относился, как уже было сказано, не вполне серьезно. За каждым непонятным явлением стояли либо живые люди, либо непреложные законы физики и химии. Если вещь не могла быть объяснена немедленно ни тем ни другим, а рассказывал ее кто-то из подчиненных, следовало вежливо посоветовать ему пойти проспаться и зайти с докладом на свежую голову. Положим, ты нажал на тормоз на скользкой дороге. Твою машину развернуло, пронесло мимо встречного грузовика,

выбросило через обочину буквально в сантиметре от бетонного столба, перевернуло, и она вновь оказалась на колесах, даже не помятая, а ты как был, так и остался на водительском месте, судорожно вцепившись в баранку. Весь этот головоломный путь укладывается в цепочку формул, жестких, как земное тяготение, и даже намека на чудо, на спасшую тебя сверхъестественную волю здесь нет. Повезло. В следующий раз не повезет, вот и вся мистика. Такую же или примерно такую шутку могут устроить и люди: слить, скажем, тайком тормозную жидкость, и ты расшибешься в лепешку строго по законам физики, и в этом не будет ничего потустороннего. Кто-то из приятелей, возможно, скажет потом в горюющем дружеском кругу: ах, я чувствовал, что с ним случится беда, не надо было ему тогда ехать... И в этом предчувствии не будет ничего необычного, оно возникло после события, но подсознание перевернуло его во времени. Хотя, если припомнить... Шел однажды Генерал по тегеранской улице в революционное смутное время, вдруг спохватился, что надо бы зайти в аптеку, развернулся, прошел сотню метров, услышал за спиной ухнувший, глухой взрыв и увидел падающую плашмя на тротуар двухэтажную стену. Стена накрыла пяток автомобилей и примерно столько же прохожих, одним из которых должен был быть он.

Он размышлял, поглядывал на дремлющую собаку. К неистребимому табачному духу примешивался легкий запах псины. Любая собака заходит в незнакомый дом, поджавши хвост, настороженно, боязливо озирается...

Казенная серая папка раскрыта, очки водружаются на нос, руки торопливо листают ненумерованные, небрежно исписанные листы, где ручкой, где карандашом, отыскивая и не находя нужное. Вот наконец несколько желтых линованных страниц. На таких писались исходящие шифртелеграммы. Желтая бумага была плотной и приятно шероховатой, не утомляла глаз, фразы ложились на нее отчетливыми черными строками. Один чистый блокнот, обладавший такими достоинствами, генерал приберег для личных нужд и израсходовал на заметки и письма.

Лет пятнадцать, а может быть, семнадцать тому назад на этом листке рукой Генерала, тогда еще подполковника, было написано:

«...крошенный трогательный зверек, оторванный от матери в самом нежном щенячьем возрасте, пил молоко из бутылочки с соской и только-только учился жевать острыми, как иголки, зубками. Собаку-мать звали Тотоша, брата нашей питомицы хозяева нарекли Антошей, а нам захотелось, чтобы в кличке собачки тоже сохранился фамильный звук «шаж Рискуя навлечь недовольство многочисленных Оксан, малышку назвали Ксю-Ша

и объясняли знакомым, что по-тибетски это значит «цветок лотоса». Простодушные выдумке верили и восхищались тем, как подходит имя очаровательному рыженькому щенку, пушистому хвостику бубликом, черному носику и чуть выпуклым блестящим глазкам.

Вечером Ксю-Ша укладывалась в ногах хозяйской постели поверх одеяла и будила меня ранним утром, до рассвета. Она пробиралась по холмистой равнине постели, осторожно ступая неокрепшими лапками, вставляла холодный мокрый нос с жесткими усиками прямо в мое ухо и громко фыркала. Начинающийся так день неизменно приносил удачу и доброе настроение. Очень скоро Ксю-Ша научилась делить все человечество на своих и чужих. Незнакомцев она не переносила, преследовала несчастного не понравившегося ей гостя по пятам. Ее голосок мог звенеть часами. Ксю-Ша охраняла дом и хозяев так же верно, как ее предки сторожили холодные каменные храмы в Гималаях.

Из Индии подросшую собаку привезли в Москву. Она любила запрыгивать на стул, перебираться на письменный стол, устраивалась на подоконнике и внимательно смотрела из окна девятого этажа на московскую уличную сутолоку. На закатном солнце ее тонкая шерстка светилась золотом...»

Собака мирно посапывала на полу. Горела на столе лампа. Раскинулись веером, перемешались старые и свежие листы. Ни шороха, ни звука не доносилось из-за окна. Давно умолкла печка, становилось прохладно, и по спине Генерала вдруг пробежали мурашки. Он негромко, как бывало, позвал: «Ксю-Ша, Ксю-Ша!». Пушистое колечко разомкнулось, слабо вильнул хвост, черный нос уставился на хозяина. Не дождавшись команды, собака вздохнула и вновь свернулась в клубок.

«Ксюшечка, миленькая, — запричитал шепотом Старик, — этого же не может быть. Ведь тебя убила машина. Я сам держал тебя на руках уже мертвенькую, такую спокойную и красивую. Мы плакали всей семьей, мы так любили и так жалели тебя, наше солнышко...»

Старик пребывал в каком-то затмении. Он сразу и не подумал, что с того весеннего дня, когда рыдающая девочка ворвалась в квартиру с пушистым бездыханным тельцем на руках, прошла уже четверть века и что ни одна собака так долго не живет. Когда эта совершенно простая мысль достучалась до его сознания, он, к собственному удивлению, ничуть не опечалился.

«Возможно, это галлюцинация. Такое, говорят, бывает. И зрительная, и слуховая, и потрогать можно... Ксю-Ша, Ксю-Ша!»

Собачка нехотя подняла мордочку, всем своим видом

выражая неудовольствие и как бы давая понять, что в это время порядочные люди и собаки должны спать.

Стараясь больше не тревожить Ксю-Шу, Генерал наскоро прибрал стол, глотнул на кухне холодного чаю, сполоснул разгоряченное лицо ледяной водой и стал укладываться на свое жесткое, из досок сколоченное ложе. Голубым светом поверх занавески светила луна, и думалось легко.

«Что бы это ни было, галлюцинация, сон, чья-то добрая шутка, магия — все что угодно, — это радость».

Генерал опустил руку, погладил теплую шелковистую шерстку, полюбовался мысленно ее рыже-золотой окраской и стал погружаться в сон. Мелькала мысль, что завтра, пожалуй, он Ксю-Шу уже не увидит, но она обязательно будет появляться вновь и вновь, что ее сегодняшнее появление лишь начало чего-то нового и радостного, что Ксю-Ша всегда приносила удачу и хорошее настроение.

(Объяснение автора: автор был очень близко знаком с Генералом и хорошо знал Ксю-Шу, входя в круг людей, относимых ею к своим. Описывая одинокое существование своего приятеля, задумавшего добровольное и постепенное переселение в мир теней, как это называл сам чудаковатый Старик, автор решил скрасить его в общем-то невеселые и однообразные дни и позволить ему пережить необъяснимые разумом минуты радости. Такие минуты могут случаться в любой, самой сухой, черствой и рациональной жизни. Они тоже реальность.)

Генерал проснулся затемно, в необычно бодром настроении, сразу же вспомнил о своей вечерней милой гостье, причем, вопреки обыкновению, не стал посмеиваться над собой и раздумывать над происшествием. Он включил свет, увидел лежащий на полу у изголовья синий свитер, поднял и поднес его к носу. От свитера слегка пахло псиной, в пряже запутались и блеснули на свету несколько рыжих шерстинок. В кухне на полу стояло блюдце с остатками еды, миска с водой. Генерал вышел на холодную веранду, увидел чуть приоткрытую дверь и выругал себя: ну как же мог он забыть запереть ее? Разве можно так небрежно? На дворе лежал снег, задувал ветер. Судя по тому, как сгибались в полутьме голые березовые ветки, как посвистывало под крышей и в печной трубе, ветер был холодным, сухим, колючим.

ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ ВОЗМОЖНА, КСЮ-ША!

Наступал новый день. Старик с нежностью и умилением думал о Ксю-Ше. Он был совершенно уверен, что обязательно увидит ее еще, потрогает лобастую головку и холодную мокрую пуговицу носа. Не надо лишь ломать голову: что, почему, каким образом, откуда? Нет ничего хуже пустоты, наполненной вопросами и сомнениями. Человеку нужна вера, и каждый, будь он законченный безнадежный рационалист и циник, во что-то верит — в Бога, в приметы, в нечистую силу, в человеческую доброту. В разумность мира, в деньги, наконец. Верят в то, что даже рационалисты не могут или боятся поверить разумом, верят в абсурдное именно потому, что оно абсурдно, верят в то, что хотя бы немного светит во мраке суеты.

Строка «я в вечность ухожу из мрака суеты», время от времени всплывавшая в памяти Генерала, принадлежала сатирическому стихотворению Курочкина и казалась там совершенно неуместной, будто съехала на сторону маска насмешника и блеснули печальным светом мудрые глаза. Сборник его стихов Старик купил в единственном букинистическом магазине Тбилиси. Тогда это был богатый и благополучный город, даже не предвидевший ужасы гражданской войны, террористических диктатур, уголовного разбойничьего разгула.

Думать о том, что происходило в Тбилиси, было неприятно. В Москве дело обходилось без таких крайностей, войны не было, всегда стреляла какая-то одна сторона. Когда-то в еще относительно спокойные, но уже отдающие тревожным резким предчувствием смуты времена русская читающая публика обратила мимолетное внимание на две провидческие книжечки. Одна называлась «Невозвращенец» и была написана Кабаковым, другая — «Москва. 2042» — принадлежала перу известного в коммунистические времена диссидента Войновича. И тот и другой кое-что в своих антиутопиях угадали, но в главном, пожалуй, ошиблись. Действительность оказалась нелепее, нелогичнее, нерешительнее и, как это ни странно, снисходительнее к русскому человеку. Способность русского человека выживать, приспосабливаться к самому невероятному, терпеть безумных правителей, отыскивать крупицы разумного в океане хаоса и строить вокруг них жизнь — эту способность не могли постичь ни западные хладнокровные эксперты, ни боязливые правители, ни отечественные пророки и витии, ни даже сатирики.

Разрывы крупнокалиберных танковых снарядов в здании парламента в октябре 1993 года как бы контузили общество. Оглушенные и ошеломленные, русские замерли на месте, даже не спросив, сколько же было невинно убиенных, по окрику пошли выбирать Думу, одобрять задним числом смертоубийство и надругательство над законом. Генералу казалось, что в его памяти достаточно ясно запечатлелись события того времени, конца 93-го — начала 94-го года. Именно этим временем, по его замыслу, и должны были ограничиваться записки.

Оцепенение, в которое впала страна, оказалось недолговечным, но жизнь только сейчас начинала помаленьку налаживаться, маятник российской истории, раскачивающийся по огромной амплитуде, возможно, вваливался в фазу относительного благополучия, ибо полного благополучия в шкале российской истории предусмотрено не было. Старик, однако, не был вполне уверен, что худшее, хотя бы временно, позади. Отстав в своем пригородном захолустье от событий, потерявший к ним интерес и благодарный неведомой местной власти за то, что электричество подавалось почти каждый день, а в магазинах появился хлеб, Генерал не мог бы сказать, как называется должность главного человека в Кремле: президент, председатель чего-то, секретарь чего-то, просто глава, вождь, может быть, правитель, отец народа или монарх — все эти или почти все титулы промелькнули перед равнодушными, с отбитым нутром соотечественниками. К стыду своему, не смог бы Старик и провести границу России на карте, если бы она у него оказалась; назвать пункты, где «силы законности и порядка продолжали успешно подавлять вылазки мятежников», о чем почти ежедневно радостно приподнятым голосом сообщали дикторы радио. Телевизора Генерал не держал. Так и получилось, что он застыл на рубеже 93-го и 94-го годов и мыслил устарело. Его это уже не беспокоило.

Размышления размышлениями, а жизнь продолжалась и требовала движения. «Ничем не оправданное желание жить», — называл это про себя Генерал. Когда-то это звучало шуткой и вызывало у собеседников улыбку.

Хорошее настроение не проходило. На плитке заводил свою уютную песенку чайник, весело завывала отдохнувшая за ночь печка, легко поддавалась бритве седая недельная щетина. Бриться каждый день или через день не было нужды. Первое время, удалившись от шума городского, Генерал старался выглядеть аккуратным и подтянутым. Ему казалось, что именно это означает не опуститься: «Старик немного сдал, но не опустился, всегда выбрит и при галстуке».

Душа требовала праздника. Генерал отодвинул кухонный стол, с усилием поднял металлическую крышку в подпол, осторожно полез по ступенькам в темноту. Над полом осталась только седая голова, затем и она исчезла в темном проеме. Вскоре все повторилось в обратном порядке. На разогретую сковородку шлепнулся кусочек сливочного масла, растекся, зашипел, пошел мелкими пузырьками. Генерал стукнул ножом по зажатому в ладони яйцу, поднес его к сковородке, разломил скорлупу на половинки. Яйцо вытекло аккуратно, кругло засиял желток, запрыгала краями, зафыркала, загустела окружающая его белизна. «Ничто и никогда, ни музыка, ни женщина, ни стихи не волновали меня так, как яичница на завтрак», — посмеивался в молодости Генерал. Бело-желтая глазунья была флагом наступающего хорошего дня.

Земля была припорошена снегом, слишком еще слабым, чтобы закрыть черные бугры, голые ветки, разбросанные у забора поленья. Комочки снега и льдинки похрустывали под ногами, остатки лужи, так и не вытекшие в прокопанную вчера канавку, покрылись прозрачной корочкой. Генерал не удержался, бросил камешек величиной с лесной орех в лужу. Корочка цокнула, и камень ушел в воду. Земля легко поддавалась лопате, чуть слышно хрустела ледком.

Раз и навсегда запретив себе спешить, Старик двигался размеренно, не набирал слишком много на лопату, щадил сердце и поясницу. «Восточная мудрость: в жизни своей человек должен, во-первых, родить сына. Я это сделал, думал Генерал. — Во-вторых, посадить дерево. Сделал и продолжаю сажать. Вырыть колодец, в-третьих. Вырыл, хотя и не сам, но на свои деньги. (У стены торчала зеленая коробка, закрывавшая устье скважины.) И наконец, написать книгу. Не издать, а написать, вот и вся программа».

Генерал, долго живший на Востоке, не вполне доверял восточным мудростям, переведенным на русский язык. Он знал доподлинно, что в те времена, когда советская власть с удивлением открывала для себя Восток, находчивые журналисты из Москвы и Ленинграда умудрялись создавать не только сборники народных пословиц, поговорок и крылатых слов, а целые национальные эпосы. Восточная мудрость затейливым орнаментом украшала газетные статьи, и никого не интересовали ее истоки. Восток обязан быть слегка загадочным и мудрым. В мысленно процитированной мудрости смущал послед-ний пункт — насчет книги. Он был явно выдуман.

«Какая разница? Праздный ум забавляется всякой ерундой... Стучи в барабан и не бойся! Ржавой лопатою мерзлую землю

долби, усталый раб! Вот смысл философии всей!»

Было не скучно. Разогрелось тело, яснее стали видеть глаза.

Жизнь на Земле возможна, Ксю-Ша!

ВЫСОКИЕ СФЕРЫ

Сразу после обеда Генерал принялся писать, боясь, что уйдет приятное возбуждение, что придется вымучивать фразы, отыскивать нужные слова, а они будут прятаться в закоулках памяти, выталкивая на свет Божий своих замученных, затертых частым употреблением собратьев. Хотелось не просто рассказывать о событиях, но оставить в назидание потомкам и какие-то полезные, не заимствованные даже у умных людей, а свои собственные мысли. «Если у нас нет мыслей, — говаривал в ироническом настроении Старик, — это не значит, что мы глупы. Они нам просто не нужны». Шутка была тяжеловатой, двуединая же задача — четкая мысль и верное слово — оказывалась для писателя, увы, непосильной. Его сдавшая в последние годы, но все еще обширная память вмешивалась в самые вдохновенные минуты, невидимым перстом отчеркивала заимствования, предъявляла первоисточник какой-то ярко сверкнувшей, казалось бы, оригинальной, совершенно собственной мысли. Поначалу Генерал огорчался, досадовал на себя за дерзкое, не подкрепленное умственным ресурсом намерение, вспоминал многочисленные чужие потуги сказать миру новое слово и краснел от невыгодных для себя сравнений. Как всегда, пришли на выручку здравый смысл и обыденная логика.

По некотором размышлении выяснилось, что все свежее, яркое, интригующее относится к вещам временным и несущественным — конституции, указы, выборы, газеты, политики, концепции, программы, доктрины, или же (из другой области) — автомобили, компьютеры, моды, цены, еда. Все это могло составить бесчисленное множество комбинаций и действительно показаться чем-то новым. В этом отношении реальный мир никогда не старел и никогда не застывал на месте: на смену кринолинам и робронам приходили мини-юбки, конные экипажи уступали место автомобилям, самолеты — ракетам, счеты с деревянными костяшками сменялись компьютерами, кино — телевидением. Так же мелькали имена модных философов и писателей, певцов и художников, танцоров и поэтов, политиков и мошенников.

Пласт наслаивался на пласт, гора цивилизации непрерывно росла, тянулась к небу. Гора создавалась людьми и была населена людьми от подножья до вершины. Генералу пришлось поездить по Индии, по ее дремлющему захолустью. Маленькие городки, когда-то заложенные на плоской равнине, вознеслись на высокие холмы многовекового, сбитого до каменной прочности житейского

мусора. По вечерам вереницы женщин в пестрых сари с глиняными и медными кувшинами на головах царственной походкой спускались по крутому склону к древнему колодцу. Колодец остался там же, на равнине, где его выкопали пращуры и где они слепили первые глинобитные жилища. Сари на женщинах были из синтетической ткани.

Эта картинка из жизни вставала перед глазами Старика, когда при нем велись беседы о прогрессе человечества. Вспоминались при этом почему-то и такие не относящиеся вроде бы к предмету сцены: ракеты, крушащие иракские города; самолеты, наносящие страшной силы бомбоштурмовые удары по афганским кишлакам; вертолеты над толпами сомалийских оборванцев; разбитый танковыми снарядами Белый дом; колонны беженцев на азербайджанских и грузинских дорогах; изувеченные трупы в Таджикистане. Короче говоря, поразмыслив над вопросом о новых оригинальных идеях, Генерал пришел к выводу, что здесь обычно имеется в виду новизна вещей и второстепенных явлений. От этого оставался только один шаг до абсурдного, на первый взгляд, вывода: со времен Екклесиаста-проповедника в мире не появилось ни одной новой стоящей мысли, да и сам Екклесиаст заимствовал свою мудрость у кого-то, кто жил задолго до него. Про себя Генерал называл свои рассуждения «апологией скудоумия», но воспринимал их всерьез. Ему казалось, что его легковесный вывод подтверждается сотнями книг, беседами с десятками умных и порядочных людей, которые даже не подозревали, что собеседник проверяет, между прочим, на них свою, вернее Екклесиастову, гипотезу: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, — и нет ничего нового под солнцем».

Так дело обстояло с мыслями — старыми и новыми, своими и чужими, мыслями не к частному случаю, а по поводу существования вообще. Генерал избегнул соблазна попытаться найти какие-то неизвестные ему, основополагающие истины у индийцев. Они уже состарились, когда Екклесиаст был младенцем, и чтобы отделить в их писаниях истину от головокружительных интеллектуальных построений, надо было потратить целую жизнь. Целой жизни у Генерала уже не было, а к индийской мудрости, как индолог по образованию, он относился с понятным трепетом. Нельзя было иначе относиться к людям, у которых один временной период — маха-юга — тянется 4 320 ООО лет и составляет всего лишь одну тысячную часть одного дня Брахмы или кальпы, которая, в свою очередь, является тысячной частью маха-кальпы.

И наконец, поскольку с мыслями решено — фразы и слова. У

каждого человека есть запас слов, и среди них нет ни одного своего, все они заимствованы у кого-то еще — у мамы, бабушки, из букваря, с заборов, из книг, все до единого. Слабые амбициозные поэты потешали публику неуклюжими попытками выпрыгнуть из языка. Поэты крупные преуспели в словотворчестве не больше, чем их бесталанные собратья. Правда, новые слова появлялись почти каждый день, их брали взаймы из чужих языков торопливые газетчики и политиканы, уродовали до неузнаваемости, вкладывали свой смысл. У Генерала свежих слов не было, занимать новомодные изобретения у газетчиков не мог, извлекать из памяти лингвистические редкости и лепить яркие заплаты на серую ткань повествования не хотел. Старик рассчитывал, что его воображаемый читатель будет не только умен и любознателен, но и добр.

Все эти рассуждения, сомнения, надежды, опасения не помешали Генералу вспомнить Ксю-Шу, вздохнуть, закурить, глотнуть чаю, посмотреть в окно на черно-белый пейзаж, положить перед собой тонкую стопочку бумаги и начать писать. Ему казалось, что предшествующее повествование о прогулке по воюющей Москве — нет, не воюющей, а избиваемой Москве, поправил он сам себя, — нуждается в дополнении, рассказе о соприкосновении Генерала с главными фигурами трагического действа.

Вот что выходило из-под его пера:

«Мысль о том, что парламент должен быть ликвидирован, появилась у Ельцина, судя по всему, уже к концу 1991 года. К этому времени он напрочь рассорился со своим недавним соратником и единомышленником, председателем Верховного Совета Русланом Хасбулатовым.

Мне не довелось быть лично знакомым с Ельциным, но видеть его вблизи приходилось. Первый раз это произошло в начале 1990 года на очередном пленуме ЦК КПСС, куда начальник Службы приглашался по должности. Пленум шел нервно. Один за другим на трибуну выходили рассерженные и обескураженные люди, бросали злые хлесткие слова генсеку Горбачеву. Партия разваливалась, монолит покрывался паутиной трещин. Призрак беды нависал над роскошным залом, украшенным изображениями простых советских людей. Статуи колхозницы, солдата, рабочего, ученого, изваянные из каррарского мрамора холодной рукой официального мастера, безмолвно взирали на испуганную суетливость, растерянность людей, которые еще недавно безраздельно владели огромной страной.

Будущий президент России, недавний хозяин столицы,

изгнанный за строптивость, амбициозность и несдержанность из узкого кружка партийных вождей, был на пленуме.

В перерывах заседающий народ шумным потоком стекал по широкой мраморной лестнице в огромный буфет, к столам с бесплатными сосисками, колбасой, сыром, ветчиной, творогом, кофе, чаем, наскоро насыщался, ни на минуту не прекращая разговоров, и растекался по просторным холлам. Встречались старые знакомые — здесь все были знакомы друг с другом, сбивались в группки, громко смеялись, шептались по углам, устраивая какие-то конфиденциальные дела. По мраморному полу выхаживал в полном одиночестве Ельцин, как бы обведенный невидимым магическим кругом. Его лицо уже тогда начало превращаться в маску, изредка оживляемую непроизвольной презрительной гримасой. Казалось, что спокойное безразличие этого человека таит скрытый призыв: «Ну подойдите кто-нибудь! Заговорите со мной!». Заколдованный круг отталкивал. Спешащий по холлу человек вот-вот столкнется с Ельциным, но невидимая сила отводит в сторону его торопливый бег, он скользит невидящим взором по маячащей перед ним высокой фигуре и, не замедляя шага, устремляется мимо. Ельцин смотрит поверх всей этой суеты безразлично и чуть презрительно.

Едва ли сам будущий российский президент знал, что очень скоро, на XXVIII съезде, он громогласно объявит о выходе из партии и размеренным шагом уйдет из Кремлевского дворца съездов под ошеломленное молчание делегатов. Я наблюдал эту сцену сверху, из второго ряда верхнего яруса, где размещались делегаты Комитета госбезопасности. Перед нашими глазами разыгрывался очередной акт исторической драмы, в которой мы были статистами. Главное действующее лицо уходило на иную, более просторную сценическую площадку. Действо транслировалось телевидением на всю страну и весь мир, оно столько раз повторилось на экранах, что впечатление живого присутствия стерлось.

Второй раз я близко увидел Ельцина уже в другой обстановке и другой роли. Российский президент посетил Комитет государственной безопасности, принял участие в совещании руководящего состава и даже кратко выступил на нем. Он говорил живо, высказывал весьма взвешенные и разумные соображения, избегая обращения «товарищи».

Темный амфитеатр — начальники областных управлений, председатели комитетов автономных республик, члены коллегии КГБ — слушал внимательно, приглядывался к новой власти, уверенно расположившейся в президиуме.

Ельцин говорил о постоянном контакте с руководством КГБ

(Крючков сидел в президиуме), о необходимости не разрушать госбезопасность, а превратить ее в институт демократического государства, о том, что должен быть сохранен мир в России и сама Россия должна быть сохранена единой. «Каждый может исповедовать те взгляды, которые ему близки, но основой деятельности госбезопасности должна быть не идеология, не догматы, а закон; не время сводить счеты, недопустима борьба с инакомыслием в органах; армия, МВД, КГБ не должны становиться ареной политической борьбы». Аудитория согласно кивала, именно это она и хотела услышать от российского президента. Легкий шепот, даже не шорох, а едва уловимое движение прошло по залу, когда Ельцин заговорил о предстоящих уже к концу года трудностях, возможности массовых беспорядков и призвал органы госбезопасности быть готовыми к такой ситуации.

Вопросы на совещании не задавались; стороны, а были две стороны — новая российская и старая советская, приглядывались друг к другу, не верили словам, демонстрировали полнейшее расположение друг к другу: Ельцин и Крючков, сидевшие рядом, тихо и оживленно переговаривались, так, чтобы не мешать выступающим.

Выступить пришлось и мне — начальнику Службы. Я говорил о том, что давно уже беспокоило всех нас, сотрудников госбезопасности, о том, чему не хотело верить и что не хотело слышать горбачевское руководство: «...возросли масштабы вмешательства, воздействия на наши внутренние дела из-за рубежа. И далеко не всегда интересы иностранных партнеров совпадают с интересами нашего общества, нашей государственности. ...деятельность американской и других западных разведок против нашей страны... приобретает все более наступательный и масштабный характер...».

Теперь, задним числом, я прихожу к выводу, что этим выступлением я занес свое имя в черную книгу новой, демократической власти. Она смотрела на деятельность новоявленных союзников в России еще либеральнее, если это было возможно, чем Горбачев и его соратники. Тем не менее ту же самую речь я, не колеблясь, произнес бы и в сентябре 1991 года (совещание происходило в середине июля) и с существенными дополнениями — через год и через два. Жизнь подтвердила справедливость опасений Службы, но не оставила ни малейшей возможности вмешиваться в ход событий.

Был и третий, последний раз, когда я оказался под одной крышей с Ельциным. Вчерашний отступник, человек, которого так тщательно обходили коллеги по десятилетиям работы в

партаппарате, переживал момент упоения победой. Дело было 23 августа 1991 года. Только что были арестованы высшие руководители страны, предпринявшие отчаянную, плохо подготовленную и неудачно исполненную попытку ввести чрезвычайное положение и приостановить неумолимое движение страны к пропасти.

В просторном кабинете, где еще месяц назад заседало политбюро ЦК КПСС, собрались главы союзных республик. Председательствовал президент Советского Союза Горбачев, вернувшийся два дня назад из Крыма в другую, как он выразился, страну и уже оправившийся от первого шока. Моменты унижения, позорное судилище в Верховном Совете РСФСР, оскорбительные жесты Ельцина и укусы всей своры политиканов, публицистов, аналитиков и просто болтунов, оказавшихся на победившей стороне, были еще впереди. Михаил Сергеевич председательствовал, но главным действующим лицом был, несомненно, президент Российской Федерации — в этот момент экспансивный, громкоголосый, по-хозяйски деловитый. Когда я входил в кабинет, Ельцин поднимался из-за стола, возвышаясь над некрупным Горбачевым, и объявлял, что едет на Лубянку унимать бушующую у зданий КГБ толпу. Демократы подстрекали народ на. штурм этих зданий, комитетское руководство, временно возглавлявшееся мною, воззвало к двум президентам о помощи. Призыв дошел до адресатов удивительно быстро (на нашем языке — оперативно), и вот Борис Николаевич спешил на выручку чекистов. Мне подумалось, что ему не терпится показаться на людях, услышать их рукоплескания и восторженный приветственный рев, убедиться воочию, что он победил и народ — весь народ! — на его стороне.

Вмешательство Ельцина помогло. Штурм не состоялся. Я был снят со своего временного поста, несколько анекдотическим образом войдя в историю как самый мимолетный глава КГБ.

Меньше чем через месяц я официально вежливым письмом извещал обоих президентов — Горбачева и Ельцина — о том, что подал в отставку с поста начальника Службы. Возможно, Горбачеву показали мое письмо — это пообещал сделать заведующий его секретариатом Г. Ревенко. Мог видеть его и Ельцин.

К чему было посылать это письмо? Специфика мемуарного жанра требует, чтобы отставка была чем-то вроде перчатки, брошенной в лицо политическому ли, идейному или личному— любому противнику. Рапорт об отставке был движением импульсивным, мгновенной реакцией на демонстративную грубость моего преемника на посту главы КГБ. Реакция не была

случайной. Много позже, возвращаясь к этим тревожным и неприятным дням в разговорах с Николаем Сергеевичем Леоновым, мы нашли естественное объяснение своим действиям (он ушел из КГБ на несколько дней раньше меня) — нас тошнило. Тем не менее, хотя решительный шаг был сделан всерьез, мне казалось, что послеавгу-стовская сумятица помаленьку успокаивается, что наши вожди — Горбачев и Ельцин — отложат в сторону свои распри, начнут вместе работать на государство. Разумеется, это было каким-то скоротечным умопомрачением. Как мог я, начальник Службы, свидетель ожесточеннейших схваток в борьбе за власть в чужих, правда, странах, даже подумать, что в такие моменты политиков может интересовать что-то кроме власти, что они могут стать выше личного соперничества? Мелькала жалкая надежда, что кто-то из них прикажет мимоходом помощнику: «Разберитесь, почему он уходит. Поговорите с ним». Самолюбие— страшный порок. Польстите самолюбию — и средний человек забудет все свои обиды и претензии, он еще попытается отплатить добром за добро!

Никакого жеста сверху — ни ободряющего кивка, ни грозящего перста, разумеется, не последовало. Звезда Горбачева стремительно закатывалась, Ельцин же шел в гору и готовил решающий удар по союзному президенту и самому Союзу.

Шел октябрь. Я числился формально в отпуске и продолжал жить на служебной даче. Перебираться в шумную и суетливую Москву, прощаться с милым осенним лесом не хотелось. Беспокоила мысль о том, что же мы будем делать в городе с двумя собаками. Кажется странным, что мог беспокоить такой пустяк, но когда человек ошеломлен внезапной переменой жизни, он может терять способность здраво оценивать вещи. Обида заслоняет белый свет, хотя и обижаться, кажется, было не на кого. Во всяком случае, являть миру спокойное лицо было трудно.

Время было странное. По законам советской бюрократии, которые были восприняты и даже ужесточены бюрократией демократической, уволенный чиновник немедленно лишался дачи, машины и правительственного телефона. Как это нередко случалось в дальнейшем, чиновник и узнавал-mo о своей участи тогда, когда персональная машина в одно печальное утро не появлялась у подъезда. Я оказался исключением лишь потому, что новая власть еще не пришла в себя от внезапной победы и несколько растерялась, впрочем, временно.

Как бы то ни было, была дача и работал правительственный телефон— «кремлевка». Его звонок — неприятный улюлюкающий сигнал — раздавался с каждым днем все реже. Я звонил

знакомым, поскольку надо было задумываться о будущей работе, искать место в новой жизни. Кажется, кое-кого «моя кремлевка» заставляла задуматься; действительно ли я конченный человек или еще выпрыгну на какую-то важную государственную должность? Со мной разговаривали вежливо и подчеркнуто бодро: держись, дескать, вот они в своих делах разберутся и о тебе вспомнят, не может быть, чтобы они обошлись без профессионалов, и прочие ободряющие словеса.

Мне и самому временами казалось, что куда-то вызовут, что-то предложат, я, пожалуй, откажусь... Предложение пришло с неожиданной стороны.

Звонок «кремлевки», вежливый интеллигентный голос: «С вами хотел бы поговорить Руслан Имранович Хасбулатов. Не можете ли вы позвонить ему сейчас?» Голос назвал номер телефона приемной председателя

Верховного Совета России, сказал, что дежурный предупрежден и немедленно соединит меня с Хасбулатовым.

Кто такой Хасбулатов, мне, разумеется, было известно. Бывший профессор выделялся даже на непривычно пестром фоне нового поколения политиков. Умный, жесткий, язвительный до грубости, амбициозный, верный соратник Ельцина, хотя уже стали появляться признаки того, что пути двух августовских триумфаторов начали расходиться.

Приятных ассоциаций имя Хасбулатова у меня не вызывало. Вскоре после августовских событий, которым победители приклеили ярлык «путч», Хасбулатов совершил зарубежную поездку, кажется, во Францию. Он, подобно многим другим в демократическом стане, пребывал в состоянии эйфории, навеянном победой. (Ка-ково-то ему было вспоминать эту победу, поверженных противников, торжество демократии в Лефортовской тюрьме после октября 93-го?) Хасбулатов выступил перед тогда еще советскими дипломатами. По свидетельству очевидцев, которых разведка имела в каждом посольстве, он был раскован, непрерывно курил трубку и рассказывал историю «путча» с демократической стороны. «Рано утром 19 августа, — примерно так говорил Руслан Имранович, — узнав по радио о введении чрезвычайного положения, я побежал к Ельцину на дачу: (Дачи Совета Министров РСФСР, где проживало все российское начальство, располагались в Архангельском, близ Москвы.) Борис Николаевич ходил по спальне в одних носках и о чем-то раздумывал. Я взял его за руку и сказал, что надо без промедления, сейчас же ехать в Москву, в Белый дом, созывать народ и т.п.».

Никто не помешал президенту и председателю Верховного

Совета России сесть в черные сверкающие автомобили, никто не пытался останавливать их при выезде из Архангельского, не гналась за ними вооруженная погоня, и они благополучно добрались до Белого дома на Краснопресненской набережной. Таким образом, выводя президента за руку из загадочного состояния задумчивости, председатель парламента сделал решающий шаг к спасению российской демократии. Дальше уже события понесли и Ельцина, и Хасбулатова к триумфу...»

Строка нанизывалась на строку, старенький «Шеффер» легко бегал по бумаге. Так бывало, когда надо было срочно отчитаться о проведенной операции, толково изложить политическую информацию, доложить в Центр о беседе с важным источником. Писать приходилось, как правило, по ночам, поскольку именно к ночи и завершались всякие интересные служебные события. Радостное возбуждение от удачно сделанного дела придавало стройность и легкость мыслям, они быстро ложились на бумагу, и два-три часа работы пролетали как один миг. Генералу подумалось, что если бы сейчас ему удалось взглянуть на свои сообщения, он смог бы сразу же определить тогдашнее настроение по самому строю фраз, по выбору слов, по логичности написанного. Так же можно было бы распознать и признания в неудачах, срывах, сбоях, провалах — они писались свинцовой рукой, душа отказывалась верить в поражение, но разум безжалостно диктовал короткие тяжелые фразы.

Сейчас же Генерал притомился и несколько засомневался. Встреча Хасбулатова с дипломатами могла состояться до августа 1991 года. Возможно, что тогда он говорил только о своей теснейшей дружбе с Ельциным: «...тогда я сказал Борису и он...», «...мы с Борисом...», «...Борис послушался...» и т.п. Это было достоверно. Достоверно и то, что Хасбулатов рассказывал о происшествии в Архангельском ранним утром 19 августа именно в тех выражениях, которые запомнились Генералу, но, возможно, при других обстоятельствах.

«Какая разница? Кому интересны микроскопические подробности грандиозного обвала? Все они хвастались, врали, обманывали друг друга, думали, что творят историю, а история тащила их самих за загривок, как слепых котят... Вчерашние герои становятся преступниками, а преступники — героями; завтра они поменяются местами. Так и качается российский маятник».

Генерал уставился невидящими глазами в сосновый сучок— коричневый ровный кружочек на желтоватой доске — и укорил себя за то, что даже в мыслях употребляет слово «российский» вместо «русский». Русский маятник, именно русский; едва ли он

качался бы так зловеще у россиян-татар, россиян-евреев или десятков других российских народов. Характер российской истории задан русскими. «Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому не жалко умирать», — Пушкин цитировал Овидия. Старик вспоминал Пушкина; строка эта волновала его с юности, с того времени, когда он впервые прочитал «Евгения Онегина».

Коричневый кружочек на стене вдруг насмешливо подмигнул: «Ну что, Старик? Задремываешь? Пытаешься разгадывать великую тайну русской души?» Голос был знакомым, давным-давно именно таким голосом, с легкой иронией, забавляясь простыми странностями жизни, слегка посмеиваясь над собой и над собеседником, говорил Тимур — татарин, женатый на еврейке, исконно русский человек.

Генерал вздрогнул. Нарушался установленный им самим и необходимый ему порядок: обитатели мира теней должны были появляться по его вызову, но не по своей воле. Порядок нарушался все чаще и чаще. Вот и Тимур заговорил после долгих лет молчания. Пожалуй, именно он мог бы стать не мимолетным добрым приятелем, а задушевным другом и доверенным лицом. Не получилось. Жизнь развела их в разные стороны. Но в мире теней Тимур был, и Генерал порадовался, что он дал о себе знать.

Бесконечный день, непроглядная темень за окном, холодный ветер, тревожный шорох несуществующих шагов на дороге, и в комнатенке нечем дышать — так накурил не заботящийся о своем здоровье Старик.

Он встал, помахал руками, расправил плечи. Задумчиво посмотрел на сосновый сучок и решил оставить его таким как есть. Не завешивать фотографией или открыткой, иными словами, не взыскивать за насмешливое подмигивание. «Дожил! С людьми говорить неинтересно. Общаешься с призрачной собакой, неодушевленными предметами и умершими друзьями».

Если бы Генерал приостановился и на секунду задумался, он бы понял, что компания не столь уж плоха, но тело требовало движения, хотело есть, пить. Возможно, оно боялось остаться в мире теней, где его хозяину было так покойно и уютно.

Немудреные вечерние дела не требовали ни раздумий, ни усилий. Можно было бы посчитать, сколько тысяч раз стареющий человек ужинал, пил чай, читал на сон грядущий, выходил на крыльцо, чтобы посмотреть на звезды, на темные ели, кремлевскими башнями прорисовывающиеся на ночном небе. Считать не хотелось, числа удручали и величиной, и ничтожеством.

Лампа в кокетливом абажурчике погасла и тихо остывала,

луна светила откуда-то сбоку голубым, отраженным от снега светом. Надо было спать, но не засыпалось. Мелькали лица Ельцина и Хасбулатова, задумчиво и лукаво улыбался Тимур, беспокоила какая-то забота о справедливости и объективности, словно будущий неведомый читатель был не в состоянии разобраться в писаниях, и Генерал уже сейчас переживал за него. Было тихо, беспробудно тихо, и никто не скулил, не скребся во входную дверь.

Ксю-Ша! Где ты, Ксю-Ша?

ВЫСОКИЕ СФЕРЫ (Продолжение)

Каждый мирный день похож на любой другой мирный день; существование после жизни — это покой и мир. Дни сливаются в одну монотонную череду, серую полосу, стенку тоннеля, в котором мчится поезд. Постукивают колеса, ничто не отвлекает взгляда, и нужен особый дар, талант Марселя Пруста или русского Базунова, чтобы найти что-то интересное, заслуживающее внимания в этом успокаивающем и для живых утомительном однообразном мелькании.

Видимо, можно ограничиться достаточно сухим, но тем не менее исчерпывающим описанием каждого обычного загородного дня Генерала: подъем, завтрак, туалет, труды по саду или мелкие работы в доме, скромный обед, чтение или писанина, ужин, недолгий взгляд на ночное небо с холодного крыльца, прогулки по голому, замерзшему лесу. На этом сером полотне изредка мелькают яркие пятнышки: зашел сосед, пришлось съездить в город за провиантом, где-то поодаль звучали автоматные очереди, но так и осталось неизвестным, кто и в кого стрелял. Автоматная стрельба вызывала в памяти Тегеран, Кабул, Москву, поэтому и создавала впечатление яркого пятна в мелькании безликих дней. Забегал на тихий участок заяц в новой зимней шубке. Это тоже было событием, и Генерал даже сожалел временами, что укутал яблоньки и вишни еловым лапником именно для того, чтобы их кору не обглодал вот этот заяц. Пусть бы ел, а весной можно было бы поворчать, поругать зверька и посадить новые деревца. На этот подвиг не хватало духу — давило незримое общественное мнение, совершенно пустая теперь боязнь прослыть чудаком: вот, мол, зайцев яблонями кормит; человеческими судьбами распоряжался, а теперь совесть убаюкивает, откупается от чего-то...

Генерал действительно пытался убаюкать совесть, хотя сейчас и по пустяковому поводу. Вспомнилось, что когда-то, стоя в прозрачной воде поросшего камышом тихого индийского озерца, он срезал лихим выстрелом влёт утку. Птица не свалилась отвесно комком перьев и мяса; она сделала неловкий круг, неуклюже плюхнулась боком на воду и нырнула, отыскивая убежище на песчаном, лишенном растительности дне. Перед ее глазами мелькнула спасительная тень, она ткнулась клювом в непромокаемый, недоступный ни любви, ни дружбе сапог и замерла. Что мог сделать Генерал? То, что сделал бы на его месте каждый настоящий мужчина. Он опустил руку в воду, примерился и резким движением схватил раненую птицу за шею. Она

затрепыхалась, пыталась что-то крикнуть, но, прикинувшись, что он не понимает птичьего языка, человек еще крепче сжал тонкую теплую шейку, выдернул утку из воды, крутнул мягкое маленькое тело, ощущая хруст позвонков под рукой.

Если бы тогда мог Генерал сломать собственную шею, лишь бы не ощущать всю остальную жизнь этот хруст уничтожаемого маленького живого существа... Не мог, он был настоящим мужчиной. Сейчас он пытался по мелочам, жалкими крохами откупаться за прошлые злодеяния, платить живущим за невинно убиенных, за умерших до срока по его вине, за погубленных птиц, зверей и людей. Он понимал тщетность надежды на спасение души, знал, что никто не видел его жестокой расправы с подраненной птицей, ощущал, что когда-то, через несколько существований, ему придется за это расплачиваться, и неумело просил неведомого бога простить невольное прегрешение. Невольное? Не лукавил ли Генерал? Не было ли на его совести загубленных человеческих — не утиных и не заячьих — судеб? Было! Генерал думал, что ему удастся честно рассказать об этом потомкам.

Пока же тянулся нудный рассказ о соприкосновении с обитателями высоких сфер. Генерал отрывался от обыденных мелких дел и продолжал исписывать страницу за страницей, укоряя себя за отсутствие живописных деталей, но припомнить их никак не мог, утешаясь тем, что суть передана верно.

Вот что получилось в итоге:

«В сентябре 1991 года председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов отправился с официальным визитом в Японию. Служба, тогда еще не выделившаяся из КГБ, подготовила, как было принято, пакет материалов: анализ общего состояния советско-японских отношений и «территориальной проблемы», оценка подхода Японии к экономическому сотрудничеству с нашей страной, политические портреты японских деятелей. Обычный набор — проверенные факты, взвешенные выводы, сжатое изложение. Если адресату потребуется дополнительная информация или он в чем-то усомнится, Служба готова дать необходимые развернутые данные. Документы были отправлены, никакой реакции на них не последовало, и аналитики продолжали спокойно заниматься текущими делами.

Телеграмма резидента в Токио прозвучала громом средь ясного неба. Экспансивный Хасбулатов объявил сотрудникам посольства, что КГБ дал ему абсолютно необъективную информацию о позиции Японии, и назвал авторов информации «какими-то динозаврами». Можно было понять, что спикера

рассердило утверждение Службы, что японцы отнюдь не горят желанием оказывать массированную экономическую помощь ни Советскому Союзу, ни новой, демократической России. Хасбулатов произнес резкую тираду, кто-то из дипломатов услужливо подсказал с места: «Разогнать их всех надо!» — и спикер пообещал именно этим заняться по возвращении в Москву.

Казалось, что ни КГБ, ни Служба, в частности, ничего доброго от Хасбулатова ждать не могут. Можно ли было ожидать чего-то от Ельцина? К концу сентября иллюзий на этот счет уже не оставалось. Тогдашний председатель КГБ Бакатин пытался угождать и Ельцину, и Горбачеву, но больше все же Горбачеву. Метался меж двух огней, наносил удар за ударом по вверенному ему ведомству, каждым своим действием усугубляя неразбериху, и в конечном счете утонул в политической трясине вместе с Горбачевым. Это произошло позже, в декабре 91-го. В тот день, когда раздался звонок от Хасбулатова, о возможности такой развязки можно было только догадываться.

Я набрал номер приемной председателя Верховного Совета, назвался. Звонка ждали. Любезный голос попросил подождать, пока Руслан Имранович завершит разговор по другой линии. Через несколько секунд в трубке щелкнуло и заговорил Хасбулатов.

— Я знаю, как с вами обошлась эта камарилья. Предлагаю вам пойти ко мне советником. За вами будет сохранено все, что было у вас до сих пор, — зарплата, дача, машина.

(Очень заманчиво! И о ком он говорит «эта камарилья»? О горбачевцах или ельцинцах? Раздумывать пока некогда.)

— Я очень признателен за внимание и искренне тронут вашим предложением. Но мне, Руслан Имранович, не хочется втягиваться в политику, а ведь без этого, очевидно, не обойдется.

— Да, вы правы. Все, что связано со мной, это политика.

— Разрешите мне немного подумать. Я мог бы позвонить вам послезавтра и дать ответ по телефону.

Хасбулатов согласился, голос его звучал не просто дружелюбно, но неожиданно тепло.

Мой ответ-отказ был предрешен. Намерение держаться как можно дальше от политики, государственной службы, от связанных с ними лжи, предательства, интриг, от бесшабашных новых администраторов и перекрасившихся старых партийных лидеров созрело твердо, и отступать от него я ни на секунду не собирался даже ради тех действительно соблазнительных вещей, которые посулил Хасбулатов. Вежливость, однако, требовала попросить отсрочку на раздумье.

...День был прохладным и солнечным. Вчерашний снег растаял и лишь кое-где белел пятнами на ржавой траве. Пустынная дорога, прозрачный осенний лес и шорох умерших листьев под ногами настраивали на умиротворенный лад. Думалось легко, может быть, потому, что не надо было взвешивать все «за» и «против», спорить с самим собой. Пожалуй, впервые в жизни представился случай свободно выбрать — вернуться ли к уже известному или шагнуть (так поздно!) в новую, неизведанную жизнь.

Появлялось чувство какого-то удовлетворения, даже тщеславия: вот-де есть государственные люди, понимающие, что со мной обошлись несправедливо.

«Ну, а в чем же несправедливость? Ты давно понял, что с новой властью тебе не ужиться, пытался навязать начальству свои правила, потерпел неудачу и по своей воле ушел в отставку. Чем же ты недоволен? Ведь тогда-то выбора не было, нельзя же было допускать, чтобы тобой, начальником Службы, помыкали Бакатин и его прихлебатели».

Обида — это чувство, отвергающее здравый смысл и логику. Впрочем, когда силой обстоятельств человек вынужден расстаться с делом всей своей жизни, можно простить некоторую неуравновешенность его взгляда на жизнь.

Деревья согласно кивали голыми вершинами, сочувственно заглядывала в глаза собака. Осеннее солнце чуть приметно согревало лицо: «Перестань терзаться! Не ты первый, не ты последний!». Есть что-то унизительное в симбиозе человека и служебного кресла, в этом кентавре с людской головой и четырьмя деревянными ножками.

«Ты получил редчайшую возможность стать самим собой и на что-то обижаешься...»

Монолог продолжался не первый день, утомлял до крайности. Не помогали ни книги, ни друзья, ни стакан водки — старинное средство русского человека от сомнений и печали. Можно было уповать только на чудодейственного целителя — время, этого лекаря с бесконечным бинтом.

Заманчиво вновь сесть в персональный черный автомобиль с приветливым и вежливым водителем, поднять трубку телефона правительственной связи и прямо из машины поговорить с каким-нибудь столь же достойным должностным лицом, зайти затем в уютный кабинет, где уже аккуратно положены помощником свежие газеты, попросить стакан чаю и... чувствовать себя государственной персоной,

«Какая мелочная глупость! Неужели меня все еще могут привлекать эти жалкие атрибуты чиновного величия? Нет, нет и

еще раз нет!»

Внутреннее благородное негодование чуточку согревает душу, подобно лучам осеннего солнца, и немного стыдно: если бы вся эта «внешняя прелесть», пользуясь словами протопопа Аввакума, не привлекала, то и мысль ни на мгновение не остановилась бы на ней.

Через два дня, как договорено, звоню Хасбулатову, выражаю искреннюю, действительно искреннюю признательность и прошу извинения за то, что не могу воспользоваться его предложением. Если же время от времени потребуется мой совет или помощь, то, «Руслан Имранович, можете на меня рассчитывать».

Собеседнику моя позиция вполне понятна. Его голос остается ровным и приветливым. Мы прощаемся».

* * *

«Может ли политик испытывать симпатию к человеку, который знаком ему только понаслышке? Может ли теплота в его голосе быть неподдельной? Мне были нужны внимание и сочувствие. Они проявились с неожиданной стороны и были от этого не менее дороги и целительны.

Жизнь продолжалась. Критический период (с некоторого отдаления он не кажется тяжелым) прошел, человек не сошел с ума, не запил, не застрелился и не свалился с инфарктом. Невидимая рука провела его между этими опасностями и вытолкнула на свободу. Я писал книгу воспоминаний, искал работу, встречался с друзьями, заводил новые, полезные и бесполезные, знакомства. Вырваться из мелового круга прошлого существования оказывалось непросто. В этом кругу я как бы сместился из середины к самому краю, но еще не исчез, не растворился в безликой массе тех, кого наверху называют «народ». Пришлось вновь соприкоснуться не по своей воле с Ельциным, хотя я не подозревал, что он помнит мое имя, и с Хасбулатовым.

Любые резкие повороты в жизни общества, будь то революции, контрреволюции, путчи, войны, смены вождей, обрубают одни служебные карьеры и выбрасывают фейерверк новых государственных и чиновных звезд. Безвестные до поры до времени полковники стремительно становятся генералами, скромные кандидаты наук, обреченные всем ходом предыдущей жизни и своим интеллектуальным ресурсом на кабинетное прозябание, вдруг вырываются на политическую авансцену, рядовые охранники, референты и помощники, вообще лица,

приближенные к особе вождя, приобретают непомерное влияние в делах государства. Одновременно другие уходят в небытие, в крайних случаях — в тюрьму, а уж в самых крайних, которых немало повидала Россия, — прямо на тот свет с пулей в затылке или во лбу, по моде своего времени. Судьба играет человеком...

Вот и сыграла судьба шутку с порядочным и добросовестным человеком, моим старинным приятелем Р. В мгновение ока он был вознесен со скромной должности заместителя начальника одного из отделов Службы на пост начальника Главного управления охраны, только что выделенного из КГБ. Масштабы взлета может представить себе только тот, кто сам послужил. Так, скажем для сравнения, мог бы удивить людей спортсмен, всю жизнь прыгавший на два метра и вдруг преодолевший высоту в два сорок. Сказочный элемент, говаривал Щедрин, всегда присутствовал в жизни русского человека. Мой приятель ничуть не возгордился, не изменил своим привычкам и привязанностям, занялся делом с хваткой профессионала, ибо до Службы он работал в «Девятке», в этом же самом управлении охраны».

«УХОДЯ ОТ НАС...»

«Тем временем в Службе появился новый начальник. Былые друзья-сослуживцы — приветливые улыбки при случайных встречах, слегка сочувствующий тон, которым говорят с больными, обмен пустяковыми шутливыми репликами — стали как-то неприметно меня сторониться. Ситуация служивому человеку вполне понятна, и тем не менее появлялось ощущение собственной ущербности и очевидной ненужности занятым людям. Новый начальник не проявил ни малейшего интереса к своему предшественнику, но и не утеснял его. Я впервые оказался невольно как бы на небольшом необитаемом острове посреди дачного поселка. Мелькало в голове совершенно неуместное древнее слово «опала», вспоминались исторические примеры, представлялось, какую горечь, недоумение, надежды испытывали люди, выхваченные из кипения жизни и заброшенные чужой волей в какую-нибудь глухомань. Думалось еще, что могло быть и хуже. Пример был перед глазами, не исторический, а самый что ни на есть свежий. Темными окнами печально смотрел на мир, на меня домик, где совсем недавно жил один из наиболее влиятельных людей государства — Владимир Александрович Крючков. В свое время он удачно отбил попытки своих высокопоставленных коллег — Горбачева, Шеварднадзе, Рыжкова, Яковлева, всех тогдашних руководителей партии и государства, — заставить его жить так же, как они, в роскошных виллах, именуемых дачами, в Подмосковье. Маленький домик тосковал без обитателей, а Крючков томился в тюрьме.

Еще раньше поселок покинул мой друг Николай Сергеевич Леонов. Сентябрьским вечером у нас в гостях было милое семейство Алексеевых. Звякнул звонок у входной двери, зашел попрощаться Николай Сергеевич. У дома стояла его «Волга», нагруженная немудреными пожитками. Мой друг был спокоен и оживлен. Я был слегка пьян и весел, море казалось по колено, не было ни прошлого, ни будущего. Мы прошли по дорожке, сказали друг другу простые слова, смеясь пожали руки, Николай Сергеевич сел за руль, машина укатила. Я остался один под высоким облетающим дубом. Внезапно исчезли все мысли, потемнело в глазах, перехватило горло, и я с ужасом услышал свой собственный, сдавленный, откуда-то из утробы вырвавшийся стон... Нервы были явно расстроены. Через минуту я вернулся к гостям с покрасневшими, видимо, глазами, и прерванное веселье возобновилось.

В конце октября мы с Ниной перебрались на городскую

квартиру. Она была довольна расставанием с необитаемым островом. Меня же раздражал неумолчный шум, не хватало шелеста деревьев, запаха прелых листьев и травы, ощущения земли, начинающейся от порога.

Новое разведывательное начальство устроило прощальный ужин в мою честь. Сказаны были приличествующие случаю речи, воздано должное опыту, заслугам, всем достоинствам бывшего начальника. Церемония совершенно походила на обычные поминки, осложненные тем, что «ушедший от нас» не только был жив, но и во всем происходящем принимал активное участие. Я бодрился, шутил, понимал неловкость положения и старался по мере сил облегчить участь своих коллег. Они мне были по-настоящему дороги и близки. Много дней, а может быть, недель спустя посетила меня мысль, что, возможно, это они оставались на кладбище, а я возвращался к жизни.

В неуютной, небрежно обставленной комнате, среди скупо выпивающих, неохотно жующих, говорящих натянуто шутливые тосты людей было не по себе. Тронул душу Трубников, коротко предложивший тост «за любимого начальника», непозволительно искренне — об ушедших, но еще не умерших, в служивой среде так говорить не принято. Я откликнулся какой-то неуклюжей репликой, никому не стало смешно, но все рассмеялись.

Не надо вмешиваться в чужие жизни, чужую работу, чужое настроение. Было и прошло.

Я расстался с коллегами. Трое из них продолжают быть в числе моих друзей. Остальные как бы растворились в прошлом».

* * *

Поставив точку, Генерал пошел на кухню, заварил очередной чайник чаю, подбросил дров в печку, задумался. Думал он о целительной силе времени, о том, что уж очень близко к сердцу принимал тривиальную, в общем-то, ситуацию, все эти мелочные сны жизни. Отрешиться от прошлого все же никак не удавалось, и, как ни уговаривал себя Старик, что на сегодня довольно, что если спешить, то воспоминаний может не хватить на остаток жизни, он снова уселся за тот же дощатый стол, пристально посмотрел на коричневый сучок и продолжил повествование:

«Человек может надоесть себе дважды: первый раз — когда живет и второй — когда пытается вспомнить прошлое.

Коридоры кремлевских зданий нешироки, но чрезвычайно высоки. В коридоры открываются тяжеленные двери с бронзовыми ручками, заляпанными белой масляной краской, за

дверьми — кабинеты начальников корпуса телохранителей — правительственной охраны. И в коридорах, и в кабинетах вековечная тишина... Стены здесь непомерной толщины и несокрушимой прочности, ни стон, ни вздох, ни случайное слово не вырвется отсюда наружу. Здесь лабиринты тайн, интриг, секретов, дворцовых сплетен, слухов — охранники видят и знают все о высоком начальстве, о вершителях государственных судеб, об их женах, детях, внуках, фаворитах. Они молча наблюдают вождей во время торжественных визитов и встреч, в моменты триумфов и поражений, в печальные минуты болезней, видят начальство трезвым и выпившим, знают его пристрастия и слабости.

Вожди с охранниками на «ты» и скоро перестают замечать их, как мебель.

Охранников много. К середине 1990 года их было 9 тысяч человек, охраняемых же— всего 11. Каждый охраняемый мог бы узнать в лицо, напрягши память, пятерых-шестерых стражей. Остальные были безликим войском «Девятки».

Я заходил в кремлевские коридоры, чтобы повидаться со своим другом Р. «Девятка» выделилась к тому времени в самостоятельное Главное управление охраны. Как обычно бывает в подобных случаях, новое ведомство требует для себя дополнительных средств, добивается увеличения числа сотрудников, стремится приобрести новые функции. Когда-то я подозревал, и, казалось, не вполне справедливо, что истинная цель любых административных преобразований заключается в создании новых начальственных должностей. Гипотеза, увы, неизменно подтверждается.

Совершенно естественно, ГУО не стало исключением из правила, Появилась нужда в самостоятельных международных. Разговор шел о том, чтобы занять внештатную должность консультанта или советника при начальнике ГУО. Из этой затеи ничего не вышло, но, странствуя по коридорам и кабинетам старинного кремлевского здания, встречаясь с многочисленными знакомыми, я невольно узнавал некоторые вещи, которые не должны были выходить из непроницаемых стен. Отставной начальник Службы оставался здесь своим, с ним можно было говорить. Выяснилось, что уже давно (!) президент Ельцин и председатель Верховного Совета Хасбулатов не общаются и даже не разговаривают друг с другом, что Хасбулатов организовал собственную охрану, которая не подпускает официальных стражей к Руслану Имрановичу, и это вызывало естественное недоумение и раздражение моих коллег. Тревожным сигналом прозвучала мысль: что-то больно быстро разладились отношения

двух столпов новой демократии и худо будет от этого России.

Мой друг был занят планами реорганизации, расширения и усовершенствования своего ведомства. Я очень редко бывал у него, и нельзя было подумать, что наши невинные товарищеские контакты вдруг сыграют существенную роль в судьбе Р.О., коловратности мира подачек!

В апреле 92-го года президент вызвал начальника ГУО для разговора один на один. Ельцин почему-то чувствовал себя неловко, мялся, тогда как служивый человек Р., не чувствуя за собой никакой вины и будучи готов исполнить любое указание, смотрел бодро и прямо. Предмет беседы оказался неожиданным.

— Вы понимаете, что на вашем нынешнем посту должен находиться человек, которому я мог бы доверять полностью...

(Можно только представить себе, как был ошеломлен таким началом Р.!)

— Конечно, понимаю, — ответствовал он, — и всегда...

— У меня к вам претензий нет, — перебил его президент. — Но вы не увольняете старые ненадежные кадры, встречаетесь с Чебриковым, с бывшим начальником Службы... Вы понимаете...

Президенту почему-то было тяжело. Мой друг никакой неловкости не испытывал, ибо никогда не шел ни против совести, ни против закона.

— Борис Николаевич, — сказал он просто и четко, — я человек военный и подчиняюсь приказу. Как распорядитесь: надо уйти — и я уйду.

Президент оживился, горячо пожал генералу руку, посоветовал пойти в отпуск и позвонить ему, президенту, по окончании отпуска. Разумеется, после отпуска R пришлось искать новое место в жизни, Он по душевной простоте пытался звонить президенту, но телефон — прямая связь — молчал.

Так выяснилось, что Борис Николаевич помнит и почему-то не жалует мою скромную персону. Подтвердилось и то, что давно уже было известно: новая власть наладила неустанную, хотя и не всегда достаточно квалифицированную слежку не только за своими политическими противниками, но, если можно так выразиться, и за соучастниками по управлению Россией. Пожалуй, люди, пришедшие в Кремль, не любили старый КГБ не принципиально, по убеждению, а лишь за то, что он работал не на них.

Привлекала внимание и непривычно деликатная манера, в которой президент увольнял главного охранника страны. Многие высокие должностные лица узнавали о завершении своей служебной карьеры от вахтеров еще вчера вверенных их управлению ведомств в момент прихода на службу. Публика,

читающая газеты, немало удивлялась примитивной язвительности обращения власти со ставшими неугодными ей единомышленниками. Отнять служебную машину или дачу, не пустить министра в собственный кабинет, лишить правительственного телефона или известить об увольнении через вахтера... Откуда публике знать, что эта метода десятилетиями оттачивалась в райкомах и обкомах для укрощения строптивых и, как весьма эффективная, была захвачена с собой новыми руководителями из старой жизни.

Неизвестно, вспоминал ли президент когда-нибудь еще бывшего начальника Службы. Возможно. В июле 1993 года был уволен министр безопасности Баранников, еще недавно прославившийся газетными сообщениями о том, что он посещал с президентом баню и лично тер мочалкой его спину. Так бойкая газетка «Московский комсомолец» отметила свою осведомленность о жизни высоких сфер и заодно намекнула, что песенка министра безопасности спета. Кандидата на его пост искали долго. Один из советников президента упомянул в этой связи меня как человека профессионально подготовленного и — несколько неожиданно — демократически настроенного. Советник, разумеется, не знал, что дружба со мной недавно послужила причиной увольнения начальника охраны.

Кстати, пост руководителя госбезопасности в нашей стране должен считаться смертельно опасным. За исторически короткий срок были расстреляны Ягода, Ежов, Берия, Меркулов, Абакумов, оказались за тюремными решетками Крючков и Баранников (видимо, Ельцин ёжится, вспоминая, что этот человек тер его голую, такую беззащитную спину и особенно шею). Только по безалаберности российской Фемиды избежал той же участи Бакатин. Пожалуй, именно он должен был стать предметом ее особого внимания, и не по политическим, а по чисто уголовным мотивам — выдача государственных секретов. Пожалела Фемида простодушного. Мартиролог едва ли может быть уравновешен Ю.В. Андроповым, достигшим высшей власти и чудесным образом избегающим поношения со стороны передовой демократической публицистики новой России; пытался поднять на него лапку только несбывшийся корифей тайного сыска бывший генерал Калугин, но и тот отступился.

Знакомство с Хасбулатовым оказалось более близким и более приятным.

В конце 1991 года я вместе с несколькими такими же уволенными или добровольно ушедшими в отставку офицерами КГБ создал частную компанию, занимающуюся обеспечением безопасности новых коммерческих структур. К тому времени

только по Москве подобных компаний возникло десятки, и мы не претендовали на звание первопроходцев. Надо признать, что даже идея создания компании принадлежала не нам, а владельцам одного коммерческого банка, талантливым и дерзким молодым людям, нашедшим то, о чем столетиями мечтали алхимики, — способ делать деньги из воздуха. Один из них в порыве вдохновения признал, что такая волшебная возможность — превращать воздух в деньги — возникает даже не раз в столетие, а, может быть, даже один раз в тысячелетие. Надо было согласиться, что дело обстоит именно так. Все предыдущие попытки быстрого обогащения были неизменно связаны с убийствами, завоеваниями, жертвами, порабощениями целых народов. Пожалуй, в этом смысле, в значении фантастического поворота в способах и масштабах бескровного обогащения, октябрь 1991-го заслуживает большего внимания, чем октябри 1917 и 1993 годов. По крайней мере он обошелся без грома пушек.

Любому москвичу известен стадион «Динамо». Когда-то в годы стремительной, энергичной и юной советской власти он был построен в старинном Петровском парке для того, чтобы сотрудники органов госбезопасности и внутренних дел могли совершенствоваться здесь физически. Парк был огромен, тенист, прохладен в летнюю жару. В дни футбольных матчей, во времена, когда телевизор уже был изобретен, но еще не стал членом каждой семьи, сюда устремлялась вся Москва. Тогда москвичи ютились в коммунальных квартирах, занимались спортом, ездили компаниями за город, играли в домино и пили водку во дворах, толпами штурмовали ворота стадиона и без билетов прорывались на трибуны. Милиция тогда не била людей по головам и знала о резиновых дубинках и слезоточивом газе лишь из кинохроник и статей о бедственном положении негров в Америке. Парк со временем сдавался новым улицам, безжалостно проводимым прямо по его аллеям, огромному зданию гостиницы, автобазе, плавательному бассейну, крытым теннисным кортам и постепенно превратился в маленький зеленый уголок, содрогающийся в мощном автомобильном гуле Ленинградского проспекта.

Я встречался с владельцами банка — очень молодыми и очень вежливыми людьми — в помещении под Южной трибуной стадиона. Они его сняли на всякий случай. Мы договорились, что деньги на обзаведение и разгон дают они, рабочей же силой будем мы. Компания была создана, начала работать и, возможно, работает до сих пор. Именно нужды компании и привели меня к Хасбулатову.

Нам требовалось достойное представительское помещение. Знакомцы показали пустующий особнячок в центре Москвы. Он числился за Верховным Советом СССР и в конце 1991 года перешел по наследству к Верховному Совету России. Обитателей в доме не было, окружали его облупленные строительные леса, мешающие прохожим. Оказалось, что еще при советской власти, то есть до августа 91-го, наши банкиры присматривались к этому же зданию, уже было сторговали его в аренду за 4 миллиона в год, но дело сорвалось по понятной причине — ушел в небытие Верховный Совет СССР и его хозяйственники.

Мы с компаньонами заготовили краткое, достойное и внушительное послание с просьбой предоставить особняк в распоряжение нашей компании на условиях аренды или же, если это будет сочтено возможным, передать его на баланс указанной компании, что, говоря человеческим языком, означает подарить. Помощник Хасбулатова удивительно быстро откликнулся на мою просьбу о встрече со спикером, и уже на следующий день я сидел в просторной приемной на третьем этаже печально известного Белого дома.

В приемной шла обычная напряженно-суетливая жизнь. Она была точно такой во времена партийной диктатуры и, вероятно, при монархии. Дежурный кратко и вежливо отвечал на телефонные звонки, то и дело заходили какие-то озабоченные люди. Бесшумно ступая по ковру, они проскальзывали к дежурному, что-то шепотом спрашивали, едва приметным кивком головы показывая на высоченную дверь руководящего кабинета, выслушивали краткий ответ, безразлично-внимательным взглядом окидывали приемную и так же бесшумно выскальзывали в коридор. Аккуратные прически и галстуки, синие или темно-серые костюмы, отпечаток вечной настороженности на лицах — особая порода людей, выведенная в партийных, советских, профсоюзных аппаратах. Новая власть сменила вывеску, но не суть. Суть в людях. Эту мысль навевала чинная старорежимная обстановка начальственной приемной.

Из кабинета спикера вышел посетитель, видимо, свой человек. Говорил он громко, ступал твердо, смотрел орлом, хотя и был чем-то возбужден и озабочен.

Позвали меня. Огромный кабинет с пальмами, столами, картами на стенах, книжными шкафами был затянут табачной дымовой завесой. Его хозяин — худощавый человек небольшого роста с измученным высоколобым лицом— поднялся из-за стола, любезно поздоровался, предложил сигару. Я отказался и закурил сигарету. Со стены смотрела на меня огромная рельефная карта несуществующего государства — Советского Союза.

Хасбулатов прочитал наше прошение, на секунду задумался, сказал, что в принципе он никогда не дает поручений по имущественным вопросам, но речь идет о поддержке полезного дела... Рука спикера потянулась к карандашу, еще секунда — и на письме появилась нужная резолюция. Разговор был недолгим. Выражение признательности, любезное предложение обращаться при нужде и впредь, обязательный в таких случаях вопрос о делах вообще.

Хасбулатов показался мне человеком твердым, уверенным в себе, властным и умным, совсем не таким, каким представляли его газеты и телевидение. К тому времени травля председателя Верховного Совета набирала силу. Он не сдерживался, срывался, давал поводы для злых уколов, публичных насмешек и лицемерных сетований. Председатель воплощал независимость парламента, выделялся из пестрого хора новых вершителей судеб самостоятельностью, последовательностью и, хочется верить, неподкупностью.

Его взяли в систематическую осаду, завершившуюся в октябре 1993 года пушечной стрельбой, убийствами, вооруженным штурмом парламента. Запах пороха можно было ощутить уже в начале 92-го».

Воспоминания о последних соприкосновениях с вы-сокими сферами утомили Генерала. Запах пороха, тень кнута, призрак тюрьмы, эхо сурового окрика... А ведь тогда, после августа, мелькала наивная мысль, что может произойти чудо, что новые люди — Ельцин, Хасбулатов, их сподвижники — способны повести Россию не в светлое, нет, не в светлое, но нормальное человеческое будущее, что они могут оказаться умнее, проницательнее и просто порядочнее, чем их предшественники. Скептический голос здравого смысла, сам облик этих новых людей предупреждали против обольщений... Но как убедительно говорили демократы, как вдохновенно они врали! Догадка о том, что Россия вступила в очередную полосу фантастического вранья, мелькала столь же часто, как и иллюзорная надежда на лучшее. Хотелось верить — вопреки опыту, вопреки истории, вопреки свидетельству собственных ушей и глаз, — что Россия наконец-то может вырваться из вековечной унылой колеи.

«Память русскому человеку в тягость, — рассуждал про себя Старик. — Надо написать и забыть. Все равно поумнеть не удастся, да и нет в этом нужды».

МЕТЕЛЬ

«Метель по улице метет, свивается, шатается...» Улицы не было. Была узкая, занесенная снегом дорога, темнеющий лес, пустые домики в отдалении, едва видные сквозь снежную пелену. Зима пристреливалась к подмосковной земле, насылала яростные, свитые жгутом полотнища снега, валила с ног ледяным ветром, выла в трубе и под крышей.

Каждый русский поэт непременно когда-то вдохновлялся метелью, белыми снегами и писал в такие моменты особенно проникновенно, трогательно и печально. Однообразна, скучна должна быть жизнь в тех краях, где всегда тепло, где вечно сияет на голубом небе яркое солнце и никогда не сбрасывают листьев деревья.

Горе усталому путнику, застигнутому в дороге метелью. Но едва ли бредут по Подмосковью путники, так что и беспокоиться об их судьбе не стоит. Дома же тепло, сухо, уютно, вой метели не нагоняет тревоги. Человек, если он не страдает каким-то болезненным недугом, не спорит с ближними, не смотрит телевизор, приходит в состояние умиротворенности, стираются и исчезают грани мира теней и реального мира.

Было время, когда Генерал не переносил одиночества. Побыть с умным человеком приятно, шутил он. Почему же так невыносимо оставаться наедине с самим собой? Натура требовала иного общения, движения не внутреннего, а физического. С наступлением сумерек Генералом овладевало беспокойство, не позволявшее ни читать, ни писать, ни заниматься домашними делами. В далекие дни зарубежной работы, если не было определенной операции, он уезжал в город, ходил по выставкам, по книжным магазинам, на стадионы, отыскивал каких-то знакомых, изучал улицы, что было необходимо в его деле. Дома же, в Москве, в выходные дни или бездельные отпускные периоды приходилось утолять беспокойство, жажду действия долгими пешими прогулками, стремительным, лишенным видимой цели движением.

Эта странность с годами прошла, одиночество больше не тяготило, пешее хождение требовалось для поддержания не столько душевного, сколько телесного тонуса.

В этот вечер выходить на холод не хотелось. Можно было надеть валенки, старую потрепанную дубленку, которую Генерал приобрел еще будучи старшим лейтенантом и очень ценил за добротность, опустить уши меховой шапки и совершить небольшой переход наперекор стихии. Настроение требовало

иного.

На книжной полке лежала скромная стопочка магнитофонных кассет, записанных или купленных неведомо когда то ли в Тегеране, то ли в Дели и путешествовавших с хозяином по жизни. Легкая музыка к сегодняшней метели не подходила, и после недолгих поисков выбор был сделан. Играл лейпцигский камерный оркестр. Запись была подарена тогдашним всемогущим главой восточно-германской «штази» Эрихом Мильке. Вот и он выплыл из мрака забвения и шагнул в мир теней — приземистый резкий старик, уже в пору давнего знакомства с Генералом как бы обожженный и высушенный временем. Мильке обожал Бетховена, молитвенно слушал «Оду к радости», финал Девятой. Эта сцена встала перед глазами: завершились переговоры, пора переходить к ужину, хозяин жестом попросил всех задержаться, и зазвучала светлая мелодия. Поводов для радости не было, жребий Мильке уже был отмерен, и, кажется, старик это чувствовал.

Но Генерал включил магнитофон совсем не для того, чтобы продолжить беседу с Мильке. Время для этого придет. Не сегодня. Взволновавшись мыслями о судьбах русских людей, возносимых к вершинам власти и свергаемых безжалостной рукой фортуны, попытавшись воздать скромную дань Хасбулатову («единственный русский человек в верхах, да и тот чеченец»), Генерал не мог разговаривать с иностранцем. Ему хотелось побыть одному, отгородиться даже от теней, погрузиться в истомное небытие. Отодвинут кухонный стол, открыта тяжелая крышка хода в подпол. Старик ныряет в люк, седая голова отсекается гранью света и тьмы (не хватает пляшущей Иродиады для полноты картины, с насмешкой думает он), лезет в дальний холодный угол, шарит рукой и достает желанный предмет — бутылку «Столичной» производства московского завода «Кристалл», приберегавшуюся специально для такого случая. Звучит тем временем Бранденбургский концерт, серебряная труба прорезает голос скрипок и виолончелей, розоватым светом отраженной зари теплится далекое озеро, возвращаются и жизнь, и молодость, и счастье.

Льется прозрачная влага в простой стакан, разбавляется шипучей жидкостью — тоником, который в цивилизованном мире пьют с джином.

Славно! Смесь утоляет неведомо почему появившуюся жажду, мягким теплом согревает нутро, бодрит уставшую голову. Кровь быстрее бежит по жилам, оживает мысль, поют струны и серебряная труба.

Когда-то, давным-давно (о, эти безнадежные слова!), был

Генерал начинающим, совсем юным дипломатом, щенком, познающим огромный мир. Умный и казавшийся тогда старым, хотя было ему немногим больше 30 лет, Клюев сказал ему: «Леня, не пей на работе. На приемах ты не отдыхаешь, а работаешь». Генерал внял словам умного человека и, даже не задумываясь особо, решил отделить работу от спиртного.

Работа кончилась, и с ней кончились ограничения, добровольно наложенные на себя Генералом. Во всяком случае, он вступил в старость с относительно здоровой печенью, что в его службе удавалось далеко не каждому.

Влагу в начисто вымытом стакане пронизывали серебристые змейки, и, прислушавшись, можно было уловить в тишине легкий шорох мельчайших пузырьков.

Генерал всмотрелся в темный угол и не удивился, увидев там неясно обозначенное, как на старой любительской фотографии, лицо Николая Логинова. В 1958 году, когда он приехал в Карачи референтом советского посольства, Логинов был заместителем резидента Службы, прикрытым должностью первого секретаря. Что такое резидент или его заместитель, Генерал тогда представлял себе очень приблизительно, но он твердо знал, что Логинов работает в Службе. Однажды мягким январским вечером, завершив свои загадочные дела в посольстве и направляясь к машине, Логинов натолкнулся на молодого дипломата и предложил ему выпить на сон грядущий. Предложение было заманчивым — умный, энергичный, обаятельный Логинов был весьма симпатичен юноше, и такой знак расположения порадовал.

«Спасибо, Николай Венедиктович, не хочется, — сказал серьезный молодой человек. — Я привык по вечерам читать, а если выпью, то читать трудно».

Логинов с добродушным и недоверчивым изумлением взглянул на Леню, ухмыльнулся и пошел своей дорогой. Пустяковая сценка врезалась в память: яркие звезды в тропическом черном небе, легкий бриз с Аравийского моря, запах мелких белых цветов ночной царицы — рат-ки рани, ладная спортивная фигура Логинова.

Сейчас на возникшем в воображении лице Логинова была добрая и чуть укоризненная улыбка: ну что, мол, Леня? Перестал читать по вечерам и приобщился к другим земным радостям?

Генерал не спеша отхлебнул из стакана, замер на секунду, чтобы лучше прочувствовать растекающееся по телу тепло, допил остаток и разъяснил неожиданному вопрошателю, как обстоит дело.

«Да, Николай Венедиктович, приобщился-то довольно давно,

а грешить стал недавно. Кровь не греет, мысли какие-то вялые, жизнь серая, а от этой штуки вроде бы и оживаешь... Вам-то не известно, что такое старость... Я ведь долго держал себя в ежовых рукавицах, природные наклонности укрощал, карьеру делал. А если говорить честно, терпеть не мог пить на работе: реакция замедлялась, наружку можно было прозевать, пешехода на маршруте зацепить, что-то забыть, не уловить... Моя агентура всегда видела во мне трезвого, уравновешенного и надежного человека. Я любил свою работу... Потом подчиненные появились, уже без Вас. Не знаю, интересно это Вам сейчас, но карьера-то у меня получилась, и, надо сказать, много крови попортили мне люди пьющие. Теперь все равно. Ни я никому не нужен, ни мне никто...»

Этот довольно длинный, с паузами монолог Старик произносил про себя, ибо обитатели мира теней общаются беззвучно, читая чужие мысли. К бывшему заместителю резидента Генерал обращался по имени и отчеству, как при жизни. Логинов умер рано, но Генерал по-прежнему считал его за старшего, вспоминая с сочувствием и жалостью.

Лицо Логинова погрустнело и исчезло.

Генерал наполнил стакан в той же пропорции — одна часть тоника на две части водки, строго и неодобрительно взглянул на приставшие к стенкам жемчужины пузырьков, погрозил пальцем серебристым змейкам и выпил. Стало еще теплее, в голове зашумело. «Объявим войну не на жизнь, а на смерть демону алкоголя, губящему наших лучших людей» — так называлась лекция в клубе для моряков, упомянутая в какой-то занятной книжке. Название книжки и о чем она была, не запомнилось.

Пленка кончилась, магнитофон громко щелкнул и сам собой выключился, умолкли медь и струны. В полной, если бы не шум в ушах, тишине послышалось царапанье в дверь.

«Ксю-Ша, это, конечно, Ксю-Ша», — радостно стукнуло сердце.

Генерал поспешил к двери, не забыв, однако, принять обычные меры предосторожности. Тело казалось ловким и легким, движения точными и экономными. Если бы Старик сумел взглянуть на себя со стороны, он бы сильно разочаровался и, пожалуй, даже сделал бы какие-то строгие и печальные выводы. Перед ним предстала бы долговязая нескладная фигура, непроизвольно прогибающаяся в коленках и поясе, нелепые шарящие руки, всклокоченные остатки седых волос и бессмысленно улыбающаяся физиономия. К счастью для людей, видеть себя со стороны они не способны.

— Брось, Старик, эту дурацкую пушку! Кому ты здесь нужен?

— Порядок есть порядок, — укорил себя Генерал, — а береженого Бог бережет.

Некоторые колебания, с которыми захмелевший Старик доставал ружье из-под тряпичного вороха, были вызваны не только тем, что в этот момент он презирал любую опасность. Его руки любили прикосновение оружия, его успокоительную деловитую тяжесть. Он частенько размышлял о том, сколько выдумки, труда, затрат вложили люди в то, чтобы довести такую простую вещь, как ружье или пистолет, до нынешнего совершенства. Колебался он не из-за этих отвлеченных рассуждений, их время прошло, да и тогда, когда они ненадолго увлекали мысль, очарование оружия не уменьшалось. Все было проще. Генерал знал, что даже слегка повеселевшему или погрустневшему от спиртного человеку не стоит иметь дело с оружием. Он с особым вниманием проверил положение курков, положил палец не на спуск, а на скобу, невольно порадовался, как ладно легло в руку насеченное косой решеткой дерево шейки приклада.

Генерал не только наслышался историй о том, какие штуки может выкидывать оружие в руках не вполне трезвого человека, но и повидал кое-что своими глазами. Ему довелось бывать в Афганистане, где наших нет-нет да и убивал не противник, а свой же перепивший соотечественник. Входное отверстие пистолетной или автоматной пули невелико и аккуратно — просверлена круглая дырочка во лбу. Ужасно то, что делает пуля на выходе. Дробь, которой заряжено оружие ближнего боя в нетвердой руке Старика, уродует цель с фасада.

Дверь распахнута, пожалуй, слишком резко, но там, на снегу, под утихающей метелью все спокойно, а под ноги Генералу влетает милое существо в рыжей, припорошенной снегом шубке. Ксю-Ша появляется нечасто, всегда поздно вечером, исчезает утром или под утро. Впервые посещения и исчезновения Ксю-Ши Старик грешил на свою забывчивость: дверь не прикрыл, но дверь оказывалась закрытой, а собаки не было. Генерал понял бесплодность попыток разобраться в этой странной истории с помощью той плоской логики, которая легко решала обыденные проблемы. Ксю-Ша была и радовала. Вот и все.

Собака неторопливо, без изъявлений восторга прошла на кухню, ткнула нос в пустую миску. Генерал заспешил, заизвинялся, неловким движением опрокинул какую-то пустую банку, но успел подхватить ее на лету и прямо рукой стал перекладывать со сковородки свой ужин — картошку с подозрительной колбасой — в собачью миску. Ксю-Ша терпеливо ждала, с достоинством поела и отправилась с хозяином к

письменному столу.

Генерал сел, собака теплым комочком улеглась у его ног, приятно согревая ступни. В мире воцарились спокойствие и справедливость. Из магнитофона зазвучала флейта. Наклейка с пояснениями отвалилась с кассеты, а то, что на ней было, забылось. Музыка же, печальный голос флейты стародавних времен, осталась.

Прозрачная струйка вновь плеснула в стакан, задымилась еще одна сигарета, деликатно посапывала у ног собачка. Стены комнаты раздвинулись, ушел вверх потолок, музыка звучала как бы в отдалении. Пытаться что-то писать в эти минуты было бесполезно: в голову лезла всякая сентиментальная чепуха, бессвязные мысли о прожитой жизни, мелькали чьи-то милые лица, но Генерал не хотел их задерживать, нарушать разговором состояние блаженного равновесия.

Ксю-Ша при жизни любила конфеты, вспомнил Старик, дотянулся до полки, где была припасена карамелька, развернул хрустящую бумажку и, нагнувшись, предложил карамельку собаке. Ксю-Ша смешно задергала носиком, приоткрыла глаза, взяла подношение, с аппетитом его съела и вновь уснула.

Хотелось спать, но жаль было беспокоить собаку, минуты с ней были драгоценными. «Возможно, это гонец из мира теней, — растолковывал сам себе Генерал. — Настанет день или вечер, и Ксю-Ша принесет какую-то небывалую весть, жизнь обретет наконец смысл, все кусочки мозаики станут на свои места, и мы увидим...» Мысли сбивались, в них и невозможное казалось возможным.

Седая голова мотнулась и опустилась на стол, попыталась приподняться и не смогла. Генерал уснул. Проснулся он в темноте, с тяжелой головой и ощущением неясной вины. Ломило поясницу.

Собаки не было.

ПОЛИТИКА

Метель сменялась безветрием, мороз — ростепелью. Иногда болела по утрам голова, ныла поясница, появлялась и таинственно исчезала драгоценная Ксю-Ша. Генерал, то боясь, что не хватит воспоминаний на оставшееся время, то ужасаясь, как слишком мало у него дней, чтобы записать все, продолжал свои труды, благо и чернил, и бумаги, в отличие от времени, отмеренного неведомо чьей рукой, у него было вполне достаточно.

За несколько вечеров появились следующие заметки:

«Когда-то, в дни размышлений об участи служивого человека в России и своей судьбе в частности, я зарекся приближаться к власти, государственной службе, политике. То ли враг рода человеческого силен, то ли человек слаб, но был я вновь пойман на крючок, подобно классическому карасю.

В середине октября 1993 года, когда уже отгремели пушки над Москвой-рекой и начали ремонтировать почерневший Белый дом, появился у меня в конторе под Южной трибуной стадиона «Динамо» помощник известного политического деятеля застойной, перестроечной и постперестроечной эпох Аркадия Ивановича. Появился не сам по старой дружбе, а по поручению шефа, ставшего главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и одним из лидеров Гражданского союза.

Эта несколько загадочная политическая организация объединяла А.И. с вице-президентом Руцким и самобытным политиком Травкиным. Альянс распадался, воссоздавался, привлекал внимание, выдвигал программы, фрондировал, критиковал власть и порядки, но без обычной для нашего времени разухабистости, иногда вежливо высказывал свое мнение самому президенту, о чем неизменно сообщалось в газетах. Неизвестно, учитывал ли это мнение президент, но Гражданский союз отмечал таким образом, что он жив и озабочен судьбой России.

Гонец явился с приглашением баллотироваться в Государственную Думу по списку Гражданского союза. Примечательно, что власть предписала называть будущий парламент государственной, а не народной Думой. Эпитет «народный», изжеванный донельзя всеми воюющими в годы перестройки и реформ сторонами, отшумев свое, канул в историю вместе с народными депутатами. Кажется, и термин «дума» был избран не случайно. Этих «дум» в России было четыре, все они

плохо кончили, и не будет особой сенсации, если так же кончила бы и пятая, в то время избираемая.

Мог ли отставник, слуга Отечества, не взволноваться таким приглашением? Есть еще, есть государственные деятели, которые знают цену старым надежным и непродажным кадрам! Воздержавшись от окончательного ответа, я посоветовался с друзьями, получил их одобрение (главный аргумент: а что мы в случае чего потеряем?), позвонил Аркадию Ивановичу и договорился о встрече.

Второй подъезд огромного комплекса зданий бывшего Центрального Комитета бывшей КПСС на Старой площади стоило бы превратить в филиал Исторического музея. Та же скромная стеклянная дверь с белыми занавесочками, в тамбуре — машинка для чистки обуви: поставь ногу под щетку, нажми рычаг, никаких денег, и ты достоин предстать нижними конечностями пред ясные очи инструктора, референта или даже заместителя заведующего сектором отдела ЦК КПСС. Если же человеку предстоял визит к заведующему сектором или еще более высокопоставленным товарищам, то, разумеется, он прибывал прямо к подъезду в служебном автомобиле и чистить обувь в тамбуре не было нужды.

И двери те же самые, и чистящая машинка работает, однако за второй дверью вместо подтянутого лейтенанта или капитана госбезопасности сидит индифферентная личность в штатском, которая даже не требует предъявить документы в развернутом виде, Лифт, однако, работает безукоризненно, в коридорах постелены официальные красные дорожки, висят таблички с именами должностных лиц, торопливо пробегают от двери к двери озабоченные миловидные секретарши, Всё, абсолютно всё, как в уютные годы застоя и ранней перестройки. Внимательный посетитель тем не менее замечает, что дорожки неважно вычищены, иные таблички висят несколько криво, как бы собираясь сорваться, что секретарши вроде бы двусмысленно ухмыляются, да и на стенах проступают какие-то подозрительные пятна и потеки.

Изменилась и приемная руководства. Место бравого помощника занимает ветеранского вида аппаратный служака, просторная комната небрежно прибрана. В ту эпоху, когда Аркадий Иванович занимал пост заведующего отделом машиностроения ЦК КПСС, все было торжественнее, чище, четче. Власть гнила изнутри, но оболочка оставалась важной и чинной.

Перемены коснулись не только внутренних помещений бывшего ЦК. Прямо напротив высоких чугунных ворот, куда, бывало, заезжал огромный черный лимузин генерального секретаря, на проезжей части улицы уложены массивные

бетонные блоки. Блоки расчерчены широкими красными полосами — единственное яркое пятно в пасмурном московском пейзаже, гротескный отблеск былых знамен и кумачовых транспарантов. Это заграждения, которые не должны позволить террористам проскочить на большой скорости к правительственным учреждениям и полить их автоматным огнем или забросать гранатами. Трудно сказать, то ли власть действительно боится, то ли делает вид, что напугана. Грохот пушечных выстрелов на набережной Москвы-реки все еще отдается в ушах. Публику, особенно иностранных гостей, надо убедить, что оппозиция— это опасный хищный недобитый зверь, способный на любое злодейство. Полосатые блоки напоминают Генералу о революционном Тегеране и истерзанном войной Кабуле. Стоящие рядом с людьми в милицейской форме автоматчики дополняют впечатление.

Аркадий Иванович — среднего роста человек в синем костюме, с гладким зачесом по моде послевоенных годов, с усталым и умным взглядом — только что приехал с конституционного совещания и пребывает в раздумье. Гавриил Попов резко критиковал президентскую команду, перстом указал на первого вице-премьера Шумейко — особу, приближенную к президенту: Что бы это значило?! Попов никогда не ведет проигрышной игры... Неужели он что-то пронюхал? Что? Так просто он бы не вылез...

Да, Аркадию не позавидуешь. Выборы на носу, надо список формировать, а тут Попов знает что-то такое, чего не знает никто другой. Есть над чем задуматься.

«Может быть, договориться с Поповым о едином блоке? — рассуждает вслух хозяин кабинета. — Почему бы нет? А согласится ли он? Надо подумать...»

Выкуривается сигарета за сигаретой («три пачки в день, и так уже двадцать лет»), на синем пиджачном рукаве белесое пятно — то ли табачный пепел, то ли мел, речь хозяина пересыпана матерком: ему приходится иметь дело с промышленниками, директорами предприятий, людьми жесткими, грубоватыми, но ценящими товарищескую простоту. Аркадий Иванович умеет находить с ними общий язык.

Переходим к делу. Зачитывается длинный список потенциальных кандидатов Гражданского союза с их краткими характеристиками. Звучит моя фамилия. Комментарии не нужны? Я согласно киваю: назвался, мол, груздем, так лезу в кузов, иначе и говорить было бы не о чем. Идем дальше. Имена звонкие, все они годами мелькают на газетных полосах, а лица их владельцев даже поднадоели телезрителям. Народ солидный, объединенный,

пожалуй, единственной, но крепкой идеей — быть на поверхности, если не у власти, то при власти.

(Да, а что же меня гонит в этот список? Гражданский долг? Мнение коллег? Тщеславие?.. Решение принято, а убедительные обоснования постепенно найдутся...)

Кобзон? Почему бы и не Кобзон? Идет! Кто дальше?

Проходит час. Мы страшно заняты. Секретарь-ветеран переносит ранее назначенные встречи: «Аркадий Иванович на совещании в Кремле...»

О, магия руководящих высот! Начальство всегда нечеловечески занято, его разрывают на части, оно (у начальства нет пола) рассматривает и решает, проводит совещания или в них участвует все двадцать четыре часа в сутки, не щадя своего здоровья, Руководящая элита сплочена круговой порукой, ей нужна аура загадочностьI. Мало-мальски организованный человек способен за два-три часа сделать все дела, которые занимают бесконечно долгий день профессионального руководителя:

Мы с Аркадием Ивановичем сидим час, потом еще полчаса, какие-то люди толпятся в приемной, кто-то будет добиваться встречи завтра-послезавтра. Аркадий Иванович занят,... Ладно. Все, кажется, ясно. Пойдем к торжеству справедливости в едином строю. Слово «справедливость» возникает не случайно. В избирательных бюллетенях блоки и партии будут расставлены в алфавитном порядке. Президентский «Выбор России» окажется в верхней части списка; избиратель в программах разбираться не будет и проголосует за тех, кто стоит повыше. Гражданский союз — неплохо. Но Руцкой, узник Лефортова — Руцкой! Кой черт дернул его стать сопредседателем Гражданского союза, а Аркадия Ивановича с ним связаться! «Справедливость» — может, так назвать предвыборную коалицию? Но буква «С» в алфавите далеко отстает от буквы «В». Муки творчества, терзания политической мысли...

На минутку отвлекаемся. Я замечаю, что по всем признакам Ельцин помнит мою фамилию и она, совершенно необоснованно, звучит для него неприятно. Кто-то распространяет всякие злобные и глупые слухи о моей персоне, а в нашей шизофреничной атмосфере им верят.

Аркадий Иванович пропускает все это мимо ушей, но, говоря по-охотничьи, делает чуть приметную «стойку». Выражение лица не изменилось, голос не дрогнул, лишь глаза как бы чуточку потухли. В партийном аппарате люди получали неповторимую закалку, а мой собеседник из того гнезда, где воспитывались такие птенцы, как Арбатов, Крючков, Бурлацкий. Все они работали лично с генеральными секретарями ЦК Выдержка

индейских вождей: из спины режут ремни, а лицо не дрогнет.

Расстаемся тепло. Со мной вступят в контакт помощники. Будем работать.

Иду домой по вечерней Москве, заглядываю в книжные магазины с их унылым набором фантастики и детективов, гоню прочь легкие сомнения. Зачем нужны мне эти выборы?

Добравшись до дома, звоню друзьям: «Да, договорились, Я в списке, Сами понимаете, кто-то должен,..». Короче говоря, делаю многозначительную мину, хотя полного доверия Аркадий Иванович у меня не вызвал. Уж слишком много в нем было от игрока, просчитывающего шансы, да и у Гражданского союза дела отнюдь не блестящие.

День, другой, третий... Ни слова из облезающих коридоров на Старой площади. Но время-то бежит, господа! Опоздавшие-то проиграют!

Утром в понедельник звоню помощнику, тому, что выступал гонцом неделю назад, и извещаю, что приду. Надо же хотя бы программу Союза прочитать, чтобы во всеоружии идти на выборы. Аркадия Ивановича беспокоить не будем, он и так безумно занят, а когда появятся мысли, тогда и поговорим с ним. Настроение бодрое: мы еще повоюем; старый конь борозды не испортит; здравый народный смысл... главное — правильно организовать кампанию... и прочие деловые соображения лезут в голову. Вперед, одним словом.

Чем же смущен мой старый друг, помощник Аркадия Ивановича?

— Вы знаете, у меня для вас неважная новость...

— Что? Из списка вычеркнули?

— Я еще утром сказал Аркадию Ивановичу, что вы собираетесь к нам, а он говорит, что сам хотел с вами связаться. Правление решило, что лучше вас из списка исключить...

— Исключили?

— Да.

— Соедините-ка меня с А.И. по телефону. Мой собеседник звонит секретарю А.И., так, мол, и так, вот у меня здесь такой-то, он хотел бы переговорить с Аркадием Ивановичем по телефону. Женский голос отвечает, что у Аркадия Ивановича сейчас посетитель, но она ему доложит. Через десяток секунд женский голос сообщает, что Аркадий Иванович просит позвонить ему позже.

Мы допиваем кофе, говорим о пустяках, но чего же я жду?

— Игорь Михайлович, передайте, пожалуйста, вашему шефу мои прощальные слова. Только прошу вас, передайте их точно. Сообщите Аркадию Ивановичу, что, прощаясь с вами, я сказал:

«Пошел бы он на х...!» Обещаете?

ИМ. обещал, но, как вскоре выяснилось, обещания не сдержал, перевел мои слова на какой-то интеллигентский лепет. Жаль. Надо было написать их на бумажке, но русский человек задним умом крепок, а блок Аркадия на выборах с треском провалился».

ДОРОГА

Перемещение в пространстве — пешком, в автомобиле, на поезде или в самолете — то состояние, которое именуется «в дороге», особенно если это перемещение совершается в одиночестве, без спутников и собеседников, располагает человека к размышлениям самого различного свойства: о жизни вообще, о быстротекущем времени, о прошлом и будущем или же о вещах обыденных и мелких.

Генерал шел мерным шагом русского пехотинца по краю заснеженной дороги, с удовольствием поглядывал на тонкие верхушки елей, радовался своим ладным непромокающим сапогам, вспоминал всякие пустяковые события, а временами затягивал про себя, а то и вслух какую-нибудь старинную походную песню вроде «Солнце скрылось за горою...», «Артиллеристы, Сталин дал приказ...» или «Соловей, соловей, пташечка...»

Проносились мимо огромные грузовики, грозили смахнуть путника в сугроб тугой волной снежной пыли, обдавали его дизельной гарью. Но даже это настроения не портило. Под грохот грузовика можно было в полный голос проорать песенную строчку или полстрочки в уверенности, что никакой случайный слушатель не изумится надрывистому пению. Впрочем, какой может быть слушатель на пустырной загородной дороге? Разве только полевая мышь, мирно зимующая под снеговым покровом?

Генерал с сожалением подумал о том, что настоящих холодов нет, что снег хорошо держится только за городом, а в Москве он, наверное, уже начал таять. Ему стало жарко. Можно было бы расстегнуть все пуговицы на теплой куртке, снять шарф, подставить грудь освежающему ветерку. В прошлом году он так и сделал, после чего натужно кашлял почти два месяца, ругая себя за легкомыслие.

Пришлось сбавить шаг. Дорога круто поворачивала влево, вливалась в шоссе, по обочине которого тянулась узкая протоптанная стежка. Места здесь были более людные, чем в лесу, народ из ближних поселков ходил на станцию пешком. Вот и сейчас плелись вдоль дороги темные фигуры, нагруженные чем-то тяжелым. В России редко можно увидеть человека ненагруженным: сумки, чемоданы, рюкзаки, тюки, санки, тележки, пакеты, ведра, мешки, портфели — все что-то несут, тащат, везут. Примета борьбы за существование, уникальной особенности русского общества при всех властях. Генерал

невольно улыбнулся, попытавшись представить себе Париж или Лондон, где жители привычно волокут на себе столько же, сколько москвичи и подмосковные обитатели. Конечно, непомерно, свыше всяких человеческих сил навьюченные фигуры обычны на индийских или иранских базарных улицах, но то грузчики и носильщики, зарабатывающие на жизнь перетаскиванием чужого добра. У нас же неоднократно менялось многое, как оказывалось — несущественное: лозунги, идеалы, вожди, доктрины, программы, системы, даже государственный строй, но оставалась неизменной в этом водовороте основная единица общества — простой русский человек, вечно несущий на плечах и в руках какие-то тяжести, не надеющийся ни на власть, ни на Бога, ни на очередное светлое будущее. Когда в свое время замороченный демократическими концепциями и не очень склонный к интеллектуальным изысканиям президент Ельцин пустил было в оборот «суверенитет личности», то, возможно, и мелькал перед его мысленным взором именно такой «суверен», все свое несущий с собой. Он не мог не видеть из окна автомобиля эти бредущие по обочинам фигуры, которые населяют всю необъятную Россию. Возможно, мелькали они и в подсознании предшественника Ельцина Горбачева, провозглашавшего примат общечеловеческих ценностей над национальными или какими иными.

Размеренно и твердо ступая по тропинке, нескончаемой и древней, как Среднерусская равнина, Генерал укорил себя за несправедливость. Глупо сравнивать Москву с Парижем, Россию с Францией. Однажды довелось ему ехать по дороге близ Калькутты. Мелькали километры, десятки километров, а по обочинам с обеих сторон тянулись вереницы людей, и каждый нес что-то тяжелое на голове и в руках. И в тех краях каждая личность суверенна и не столько живет, сколько борется за существование.

В пасмурное зимнее утро на прорезающей хвойный лес дороге, далеко от жаркой Индии и цивилизованной Европы, подумалось, что Россия вечно обречена искать свой путь, ибо по каким-то таинственным причинам русский народ и его вожди не способны учиться на чужих ошибках и чужих достижениях. Они не могут усвоить даже собственный исторический опыт. Нечто подобное происходит с неисправными старыми часами: заводится пружина, сжимается все туже и туже и вдруг срывается, и все начинается сначала.

«Уймись, Старик!» — жестко приказал себе Генерал и правильно сделал. Задумавшись, он не заметил надвигающиеся на него санки, груженные мешками, и едва успел отступить в

снежную целину, набрав снега в голенище.

Путь до Москвы на электричке был ничем не примечателен. Ехала сильно выпившая компания — мужиков пять-шесть. Они играли в карты, пили из горлышка, вполголоса матерились, но на остальную публику — женщины с суровыми лицами, несколько ветеранов, небрежно одетые «лица кавказской национальности» — внимания не обращали. Время было довольно раннее, день будний, а час пик уже прошел.

Как и опасался Старик, снег в городе превратился в грязную жижу, растекался лужами, прикрывал коварные наледи на тротуарах, а с вокзальных крыш лила крупная капель.

Нужно было выбирать: идти поближе к стене, где не так скользко, но зато льет сверху, или двигаться посередине тротуара, по мокрым ледяным колдобинам. Московский житель, как обитатель джунглей, выживает примитивной мудростью. Весной ходить вдоль стен нельзя. Срываются с крыш увесистые копьеобразные сосульки, и в газетах появляются сообщения об убитых или искалеченных прохожих. Их не так уж много, но достаточно, чтобы предупредить о нависающей над головами опасности. Зимой тысячи невинных и по преимуществу трезвых жителей ежедневно ломают ноги и руки на скользком и грязном льду. Вывод: зимой прижимайся к стенам, даже если тебе льет за шиворот, а весной уходи от них подальше.

Немного одичав от жизни в лесном уединении, Генерал держался, тем не менее, бодро. Он миновал длиннющий лоток с сомнительными газетами и журналами. С каждого листа смотрели на свет божий либо выпяченный женский зад, либо непомерной величины груди, а иногда, вопреки законам физики и анатомии, и то и другое сочеталось в одной картинке. Россия быстро догнала и перегнала Запад по этой части. Генерал схватывал картинки тренированным боковым взглядом, сохраняя при этом совершенно равнодушный вид. Ему было бы неприятно, если бы даже незнакомый прохожий или продавец подумали: вот-де, старик, а непотребными изображениями интересуется. Был как-то у него смолоду случай заметить, что ни теория, ни художественное отображение интимных моментов его не волнуют. Теперь не беспокоили мысли и о самих моментах. Всему свое время.

Народ по тротуарам шел сосредоточенный и неулыбчивый; стаей ворон толклись на углу цыганки, высматривающие простодушную жертву; дремал нищий старик, положив у ног истрепанную шапку. Город жил обычной жизнью.

Вот и дом, громадина из светлого кирпича, построенная в начале 80-х годов исключительно для ответственных работников,

именовавшихся в ту пору загадочным, ставшим потом ругательным словом «номенклатура». Генерал удостоился попасть в эту номенклатуру на самом закате советской власти. Дом заселялся сотрудниками аппарата ЦК КПСС, заместителями министров и даже министрами, родственниками членов политбюро, высокими чинами министерства обороны и КГБ, народными депутатами, так что квартира в этом доме означала принадлежность к высшим слоям общества.

Одно время в доме жил Ельцин, переброшенный волей партии из Свердловска для того, чтобы навести порядок в Москве. Порядка он не навел, но поссорился по каким-то вздорным поводам со своим патроном Лигачевым, а затем и со всем политбюро, был переведен с высокой партийной на административную должность, что повергло его в мрачное отчаяние. Пути Господни неисповедимы. Лигачев привел Ельцина в Москву, ссора с Лигачевым дала толчок новому витку карьеры. Будь у Лигачева побольше ума и такта, а у Ельцина побольше выдержки, пошел бы будущий президент ко дну вместе с КПСС. Получилось же так, что вознесся он на самую вершину власти, попирая пятой бывших коллег, руководителей и покровителей. Оказалось, что и единомышленниками у него всю жизнь были совсем другие люди, не те, с кем так хорошо и торжественно заседалось на съездах, пленумах и конференциях, а те, кто ненавидел советскую власть и десятилетиями с ней боролся.

Летом 91-го Ельцин переселился в официальную резиденцию, однако квартиру вместе с московской пропиской сохранил, и жильцы привыкли к фигурам охранников, круглосуточно стерегущих президентский подъезд. Охрана, как и все остальное в изуродованной перестройками и реформами России, утратила былую бдительность и непреклонность. Стражи бдили у дверей и даже поймали однажды безумца, замышлявшего покуситься на президента с перочинным ножом. В это время какая-то коммерческая фирма тихомолком и едва ли законно арендовала полуподвальное помещение прямо под квартирой президента и завозила туда грузовиками подозрительные с точки зрения безопасности огромные коробки и ящики. Президент иногда появлялся в своей квартире: сняться в телевизионном фильме на скромной кухне наедине с холодной котлетой и режиссером Рязановым или отправиться отсюда на избирательный участок. Выборы и референдумы в то время проводились с удручающей частотой.

В последние годы многие квартиры поменяли владельцев, появились в доме молодые дельцы, иностранные бизнесмены, просто зажиточные люди неопределенных занятий и гражданства,

но дом, как и встарь, считался престижным.

Табличек, увековечивающих память выдающихся жильцов, на доме, однако, не было. Их вообще перестали устанавливать в Москве еще с 80-х годов, когда выяснилось, что многие герои прошлого были преступниками или людьми просто недостойными. Новые деятели, имеющие право вывешивать таблички и возводить монументы, были достаточно проницательны и знали, что нынешние герои будут объявлены преступниками в любом, может быть, самом недалеком будущем, и поэтому не тратили время и деньги на это пустое занятие. Они увековечивали свою память в спешно и тайно сколачиваемых состояниях, в приватизированных, говоря языком времени, а проще — присвоенных зданиях и землях, в заграничных банковских счетах — во всем том, что перейдет к наследникам, которые уже и почтут достойным образом основоположников новых российских родов.

День проходил в мелочной суете, и лишь к вечеру Генерал приступил к поискам того, за чем он и ехал в Москву. Нить воспоминаний разматывалась и подходила к августу 91-го. В самом начале сентября того же года, через две недели после краха ГКЧП и смены власти, Генерал сделал пометки, зарубки на память о действующих лицах этого акта исторической драмы. Листки с записями затерялись, и попытки отыскать их оканчивались ничем. Они могли быть заложены в книгу… Какую?

Книги стояли плотными рядами на полках, лежали стопками в углах и на подоконниках, укоризненно взирая на человека, который зачем-то собрал их вместе. Книги были частью жизни, но жизни быстро уходящей. Они начинали внушать Старику суеверный трепет. Библиотека— это кладбище, где покойники пытаются говорить, надеются, что чей-то взор оживит их мысли, они продолжают вечно спорить друг с другом, наставлять ушедших современников и живущих потомков.

Генерал не коллекционировал книги, покупал лишь то, что было интересно прочитать и потом перечитать, поэтому его библиотека была разномастной. Теперь старые, единственно верные друзья томились без движения на полках. Старик, зачитываясь изредка какой-нибудь страницей, перетряхивал том за томом. Тщетно…

В шкафу несколько полок забито бумагами — рукописные листы, ксероксные копии чужих рукописей, географические карты, фотографии, старые газеты и журналы, любительские рисунки, папка с устрашающей надписью «Вопросы, связанные с осуществлением контрольных функций», пакет «Тов. Крючкову В.А. Только лично», грамоты, письма на разных языках,

сообщения телеграфных агентств. Разобрать всю эту мешанину надо было бы лет десять назад, а теперь приходилось заниматься археологическими раскопками. Генерал решил не торопиться и часа через полтора нашел наконец несколько листков с заголовком «Действующие лица».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

«С лишком восемь лет тому назад, пытаясь разобраться в иранской драме, которая развертывалась на моих глазах и которую оказался вынужден, не по своей воле, досматривать со стороны, я понял, что без проникновения в характеры действующих лиц сделать это невозможно. Там были чужие люди, обитатели сумрачного шиитского мира. Неприятие имама Хомейни с того времени разбавилось уважением к его твердости, последовательности и убежденности. Его окружали одаренные пройдохи. Жизни многих из них волею Аллаха пресеклись задолго до естественного срока. Все они были объектом моего пристального внимания, но наблюдались с некоторого удаления. (Не случайно все напоминает Иран. «Декларация прав и свобод человека» принята Съездом народных депутатов СССР 5 сентября 1991 года. Статья 17: «Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство наказанию». Сколько раз звучали эти благородные слова по-еле победы иранской революции и в 1979, и в 1980 году! Как искренне ликовали иранцы, что с пыткой, этим национальным проклятием и позором, покончено навсегда. Могу ошибиться, но в 1981—1983 годах в иранских тюрьмах и застенках было замучено больше людей, чем в 1953—1979 годах при шахской монархии. Сменились только палачи, ибо шахские мастера заплечных дел были спешно расстреляны революционными судами.

И очень благородная фраза «унижающему его достоинство наказанию»... Где-то это уже звучало: тюрьма человека не унижает. То ли пролетарская тюрьма, то ли демократическая.. Не упомню.)

Кое-кого из действующих лиц отечественной драмы мне довелось видеть с близкого расстояния и работать с ними, еще с одним-двумя — только познакомиться и не было ни малейшей нужды никого из них изучать. Да и интереса не было. Они принадлежали чуждому миру высших сфер, миру коварному и опасному. Там нет места дружбе, преданности, честности, постоянству. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять эту простую истину, ее внушает каждый эпизод политической истории Отечества, судьбы бесчисленного множества жертв властолюбия — от Меншикова и Волынского (чтобы далеко за примерами не ходить) до соратников Сталина, Хрущева, Брежнева и т.д. Мир высших сфер вызывал только одно желание — быть от него подальше. Но от соприкосновений уйти не удалось.

С кого начать? Видимо, с того, кто был мне меньше известен,

и пойти по нарастающей по личному составу Государственного Комитета по Чрезвычайному Положению (кажется, каждое слово писалось с большой буквы) и его соучастников.

В. И. Болдин. Это имя Крючков упоминал всегда с заметным почтением. Изредка, давая поручение по какому-либо документу, говорил: «Свяжитесь с Валерием Ивановичем».

Впервые я увидел Болдина в памятный день 24 января 1989 года в коридоре у зала заседаний политбюро, когда Крючков вел меня представлять президенту. Что-то в неприметной фигуре Болдина привлекало внимание: не демонстративная, а внутренне уверенная в себе манера держаться, острый взгляд сквозь очки. В разговор со мной он не вступал, но Крючков сразу же проследовал за ним. (В кремлевских коридорах давление власти ощущается физически. Политбюро еще было ее абсолютным центром.)

Вторая и на сегодняшний день последняя встреча с Болдиным состоялась у него в кабинете, на шестом этаже здания ЦК КПСС на Старой площади, в феврале 1991 года. Речь шла о возможности нашего содействия в организации Академии книги и книжного искусства. Поговорили с час, я обещал помощь наших специалистов в закупке современной копировальной техники. Проект был масштабен и для ПГУ небезразличен. Доложил Крючкову, сказал, что втягиваться в это дело в качестве полноправных участников считаю нецелесообразным, а чем-то помочь, воспользоваться «крышей» было бы полезным.

Б. К. Пуго. Прием на даче МВД в Серебряном Бору в честь венгерского министра, телефонный разговор с просьбой о содействии в оперативном вопросе, звонок Пуго по пустяковому делу, связанному с его сыном, нашим работником, — ехать ли ему в командировку под своей или под чужой фамилией. Решили, что под своей.

У Б. К. Пуго было лицо и манеры мягкого, добродушного и не вполне уверенного в себе человека. Это, конечно, совершенно поверхностное впечатление.

Борис Карлович застрелился.

С. Ф. Ахромеев. Маршал Советского Союза.

В числе обвиняемых его нет, ибо маршал покончил с собой, повесился в своем кабинете. Не знаю, был ли причастен он к заговору.

Крючкова покойник не любил за Афганистан и, при всей своей сдержанности, вежливости, несколько старомодной интеллигентной манере речи, особенно этого не скрывал.

Маршал останется в моей памяти честным и прямым военным человеком, твердо убежденным в своих воззрениях на жизнь и

мир. Он не боялся отстаивать дорогие ему убеждения ни на публичных митингах (избирался народным депутатом в Молдавии в то уже нелегкое время, когда другие, равные ему по положению, проскальзывали в парламент по мандату общественных организаций), ни на съездах в Кремле, ни в газетной полемике. Он иногда ошибался и без обиняков признавал, что неверно оценил стойкость афганского режима. (По этому поводу в 1988—1989 годах шли острейшие споры.)

Сергей Федорович был слишком авторитетен, слишком известен, слишком эрудирован и умен для того, чтобы сокрушить его в честном противостоянии. (Да и кому нужно честное противостояние?)

Его травили демократы.

Оказалось, что Маршал Советского Союза, бывший начальник Генерального штаба, бывший солдат Великой Отечественной войны, военачальник с мировым именем приобрел списанный холодильник или два за ничтожную цену. Холодильник! Маршал Советского Союза! Какая радостная, ликующая травля...

Мир праху Сергея Федоровича и вечная ему память!

В. И. Варенников. Генерал армии, первый заместитель министра обороны, командующий сухопутными войсками.

Я почитал за честь знакомство с Валентином Ивановичем и верю (опять это никчемное слово «верю»), что никаких корыстных мотивов у него быть не могло.

Мое знакомство с генералом армии восходит к 85-му или 86-му году, когда он был начальником Главного оперативного управления Генштаба, а я начал приобщаться к афганским делам с позиций сотрудника информационного управления Службы. Детали уже ушли, но впечатление осталось: яркий, красивый, мужественный генерал с открытой обаятельной улыбкой. И голос его, глубокий, хорошо модулированный, под стать внешности. И самое приятное— четкие, грамотные, логично изложенные мысли. Валентин Иванович сразу становился душой любого делового совещания, и можно только представить себе, как его любили в своем кругу.

Варенников стоял во главе всех советских военных усилий в Афганистане с января 1987 года (дату надо проверить'.), лично принимал участие в сражениях. В1988 году он штурмовал (не планировал штурм и не осуществлял руководство, а был на переднем крае) укрепленный район оппозиции Джавару. Прост, умен, красив и обаятелен. Его любили в армии. Даже византийские межведомственные интриги вокруг Афганистана, тайные ходы и маневры, в которые были вовлечены КГБ, Минобороны, МИД, международный отдел ЦК, посольство в

Кабуле, Б. Кармаль и Наджибулла и в которые был вовлечен В. И., генерала не испортили. Мне кажется, что для него стержнем жизни было дело, а не он сам.

На заключительном этапе афганской эпопеи В.И. совершенно четко определил главную задачу армии — покинуть Афганистан без потерь. Сделать это удалось, людские потери в 1988—1989 годах были незначительными. Только сейчас можно оценить, насколько трудно было последовательно провести эту линию, как много приходилось убеждать, лукавить, как трудно было противостоять давлению Наджибуллы и КГБ. Варенникова загоняли в новую войну с Ахмад Шахом в начале 1989 года. Он спас сотни советских жизней и тысячи — афганских. «Самый мирный генерал», — подшучивал он над самим собой.

В Москве мы иногда общались по телефону. Он тяжело переживал все происходящее— развал великой страны, экономическую разруху, гонения на армию, поругание прошлого. Не знаю, когда В.И. был вовлечен в заговор и какую роль в нем сыграл, Знаю, что никакой личной корысти у него быть не могло. Была боль за Отечество. Думаю, что В.И., как и многие другие, не осознавал, что ход истории неумолим и возврат к прошлому невозможен даже на время. Валентин Иванович всю свою жизнь был солдатом и ввязался в проигранный бой.

О. Д Бакланов. Бывший министр, бывший секретарь ЦК и заместитель председателя Совета обороны, а неформально — полновластный распорядитель военной промышленности и науки.

В ноябре 1988 года в составе возглавляемой Баклановым делегации я летал в Кабул. Деловой, предельно лаконичный и властный человек, никогда не повышавший голоса и очень уважительно относившийся к людям. В афганских делах, по моим наблюдениям, он полностью подпал под влияние Крючкова и в меру своих немалых сил вел линию на безоговорочную поддержку Наджибуллы. Мне довелось видеть, как ОД. инспектировал советскую воинскую часть под Кабулом (вывод войск еще продолжался). Он разговаривал с солдатами не для того, чтобы продемонстрировать столь необходимую партийным лидерам демократичность. О.Д. выяснял у солдат качество их снаряжения, оружия и боевой техники. Кое-что из услышанного его изрядно огорчило, но не знаю, удалось ли ему поправить дело. К этому времени военно-промышленный комплекс нашей страны уже начал разрушаться.

При вылете из Кабула аэродром был подвергнут ракетному обстрелу. Горел склад с боеприпасами, ракета упала на взлетную полосу, другая (об этом мы узнали в Москве) угодила прямо в

помещение, где отдыхали советские военные летчики, и пятеро из них были убиты на месте. Находиться в самолете было неприятно: негде укрыться. О.Д., а глядя на него, и остальные вели себя так, будто находятся на 8-м этаже здания ЦК.

Второй и последний полет в Кабул с О.Д. был в апреле 1991 года — отклик на очередной зов Наджибуллы о помощи. Линия О.Д. на безоговорочную поддержку Над-жмбуллы была проведена четко, с оговоркой на необходимость поиска политических решений.

Бакланов не мог, полагаю, пережить происходящее у него на глазах крушение уникальной военно-промышленно-научной махины. Она создавалась для войны и не могла выдержать затяжного мира. Страна не в состоянии была содержать эту махину. У политического руководства не хватало воли, авторитета, мужества, чтобы демонтировать ее постепенно, сообразуясь с национальными интересами. Боюсь сказать — не хватало интеллекта, ибо именно интеллект — и первейший предмет гордости, и, говоря честно, — самое слабое место союзных верхов.

Бакланов принадлежит, мне кажется, к числу тех, кто не смог выйти из традиционной системы ценностей, увидеть, что мощь страны не столько в пушках, сколько в масле.

Отступление № 2: о лжи и насильственном обращении в фальшивую веру

Нас заставляли верить не только в божков, идолов, ниспосылающих благодетельное сияние осчастливленным низам из высочайших, непостижимых земным умом сфер. Нас заставляли верить и в идеи, рожденные в тех же сферах.

Из раз и навсегда данной колоды презумпций и постулатов ловкая рука шулера выхватывала именно ту карту, которая должна выиграть. Занятный и печальный перечень: мировая пролетарская революция, загнивание капитализма, обострение классовой борьбы, космополитизм, диктатура пролетариата, монолитность, общенародное государство, новый тип человека, идеологическая диверсия, руководящая роль партии, реальный социализм, Москва —- образцовый коммунистический город, однопартийность, ускорение, коммунистический труд, экономная экономика, многопартийность, плюрализм, новое мышление (по старой привычке мудрецы в нашем институте разработали курс «Философские основы нового мышления»), православие, духовность, социальная справедливость, рынок (это уже из другой

колоды, но тоже крапленой), федерация, гуманность, конфедерация, свободная ассоциация... Противно вспоминать и противно писать, но надо.

И всю эту белиберду, творение неистребимого племени теоретиков (это именно племя, со своей родословной, отцами семейств, подрастающим молодым поколением), всю эту дрянь нас заставляли конспектировать, заучивать наизусть, декламировать на экзаменах и хором петь на собраниях. Странная религия, где менялись боги, менялись молитвы, но оставался неизменным ритуал и символ веры — власть партии.

Слова и понятия «совесть» в жульническом наборе карт не было и, боюсь, никогда не будет. Людей честных, распознавших нечестную игру, травили, и мы радостно и зло клеймили очередную жертву.

«Традиционные ценности» отчаянно защищались, уползали с ворчанием, расточались в яростных спорах. Социализм, Октябрьская революция, Ленин, «ведет на подвиги советские народы Коммунистическая партия страны»...

«Все призрак, пепел, прах и дым. Исчезнет все, как вихорь пыльный...»

Отступление № 3, продолжение отступления № 2, чрезвычайно краткое

«В нашей действительности невозможно допустить, что принципом отношений с подчиненными, равными себе, начальниками, со всем окружающим человеческим миром может быть честность. За этим видится самый изощренный подвох».

Так писал в своем дневнике мой ближайший когда-то друг, индо-иранский житейский философ Кришна-мурти. Думается, что, путаясь в трех соснах заблуждений, он набрел-таки на близкую к истине мысль.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (продолжение)

По сообщениям печати, заговорщиков перевели на общий режим, на тюремную баланду. Это может означать лишь одно — они говорят не то, что хотелось бы услышать следствию. Баланда должна помочь им увидеть свет истины. Если и баланда не окажет действия, то найдутся другие средства, несомненно гуманные и демократические.

Бакатин заверил Бейкера, что расстрел заговорщикам не угрожает. Вернее, выразил твердое мнение, что суд на такой приговор не пойдет. Наш суд всегда был достаточно предсказуем.

Самое тяжелое — это отсутствие улик о причастности к заговору. Оно свидетельствует об исключительной хитрости и коварстве заговорщика. «И даже если не был причастен и не знал, то мог бы, проявив некоторую расторопность, узнать и, видимо, узнал, но не сознается...» Логика швейковского жандарма.

Но вернемся к тем, кто был причастен.

В. Ф. Грушко. 1989-й, 90-й и 91-й (до злосчастного августа) были удачными для Виктора Федоровича. В 89-м году с должности первого заместителя начальника ПГУ он был назначен начальником Второго главного управления (контрразведка), в 1990-м избран членом ЦК КПСС. (Мне удалось набраться мужества и отклонить предложение Крючкова о выдвижении моей кандидатуры для избрания в ЦК на XXVIII съезде КПСС. Виктора Федоровича, таким образом, невольно подвел я.) Свое избрание Грушко воспринял с удовлетворением, и было заметно, что его политические взгляды стали несколько консервативнее и жестче. В1991 году Виктор Федорович стал первым заместителем председателя КГБ (весьма солидный пост), отметил свое 60-летие и получил звание генерал-полковника.

«Если тебя откармливают, подумай, не на убой ли», — говаривал Кришнамурти. Получилось — на убой.

Мое знакомство с В.Ф. восходит к концу 70-х годов, когда он был еще начальником европейского отдела ПГУ. Он отнесся ко мне чрезвычайно благожелательно, и я с удовольствием воспринимал его мягкую интеллигентную манеру разговора, интерес к моему мнению, предлагаемую неизменно чашку кофе.

После не очень удачного возвращения из командировки в Иран в 83-м я увидел, что многие прежние знакомые и даже приятели как-то перестали меня замечать. Кто холодно кивнет, а иной и пройдет мимо, не подав виду, что еще недавно мы были на дружеской ноге. Это задевало, и ровное, спокойное отношение В.Ф., а он к тому времени уже стал заместителем начальника

ПГУ, было вдвойне приятным. Стоит припомнить, насколько высоким был авторитет заместителей начальника ПГУ и насколько недостижимым казался этот пост для среднего, да еще попавшего в переплет работника.

По службе в информационном управлении пришлось чаще бывать в спокойном и просторном кабинете В.Ф. на третьем этаже, докладывать документы, получать задания. Начальник привычно ровен, мягок, уважителен.

Во всей внешности В.Ф. есть что-то мягкое, обтекаемое, неторопливое. Со временем замечаю то, что другим уже давно очевидно: Грушко не любит принимать на себя какую-то ответственность, мгновенно распределяет поручения вышестоящего начальства так, что на его долю остается очень малое. Короче говоря, он мастер канцелярской игры, но строго в пределах действующих правил. Как все.

Думаю, что Грушко уверовал в безграничное могущество Крючкова. Это было легко: в допутчевом раскладе сил наверху Крючков был, видимо, одной из самых влиятельных фигур. Во всяком случае, не было таких вопросов, которые не мог бы решить Крючков, а это вернейший объективный показатель положения дел,

К тому же Крючков полностью подавил волю и самостоятельность Грушко. Это предположение. Мне часто приходилось говорить с В.Ф. на различные темы. Ни разу ни словом, ни намеком он не позволил себе критически или неодобрительно отозваться о председателе. А другие? Другие Крючкова побаивались, уважали за хватку и целеустремленность, но проскакивало у них временами раздражение и недоумение по поводу крюч-ковских распоряжений. (Речь идет о заместителях председателя. В узком кругу руководства ПГУ обстановка была несколько иной.)

Смирного судьба ведет, упрямого тащит».

(В найденной рукописи недоставало страницы, и раздел, посвященный В.А. Крючкову, начинался с сере-дины фразы.)

«...затем Крючков стал членом политбюро, и ему, как и остальным «советским руководителям» (термин официальной переписки), была выделена дача — дворец где-то в Подмосковье, но поселок он не покинул. В этом случае он оказался прав. В1990 году члены политбюро под давлением обстоятельств покинули государственные дачи, и Крючков избежал, таким образом, двойного переезда.

(В день назначения председателем В. А. прогуливался с Екатериной Петровной по дорожке, и наш уже тогда старенький, подслеповатый пес Мак с лаем набросился на них. Мы шутили,

что Мака надо судить военно-полевым судом и повесить на суку с табличкой на груди: «Я лаял на председателя КГБ».)

По утрам к поселку подкатывали огромный бронированный ЗИЛ, сверкающий черным лаком, и черная «Волга» с красными и синими сигнальными фонарями и четверкой крепких молодцов внутри.

Обычно в половине девятого появлялся Крючков и шел пешком около километра. За ним шел охранник (все охранники были скромными, вежливыми и добрыми людьми), за охранником медленно плыл черный лимузин, в просторечии именуемый «членовоз», за ним— «Волга». Кто-то из шустрых руководящих сотрудников ЛГУ обязательно пристраивался к шефу. Это был момент для передачи внутренних сплетен и слухов и для получения указаний. Крючков никогда не расслаблялся и никогда не забывал о делах.

Я выходил на работу в 7.35 — 7.40, когда В. А. еще делал утреннюю гимнастику. Это был его ежедневный и совершенно непременный ритуал, независимо от того, как поздно он лег спать вчера и ложился ли вообще. Вопроса о том, в каком состоянии он лег спать, вообще быть не могло. Крючков был чрезвычайно умерен в употреблении спиртного, и видел я его слегка захмелевшим лишь единожды — в Кабуле, в компании маршала С. А. Соколова, который тщетно пытался его напоить. Крючков разрумянился, стал несколько разговорчивее, но когда маршал попытался подвинуть ему на подпись сомнительный документ, В.А. совершенно трезвым голосом сказал, что лучше это сделать завтра.

Всем спиртным напиткам председатель КГБ предпочитал виски «Чивас ригал» с содовой и большим количеством льда. Кто-то когда-то сказал ему, что именно это пьют в высоких сферах на Западе. Крючков был тверд в своих предрассудках: однажды во что-то поверив, он уже никогда заблуждений или убеждений не менял. Такие мелочи — любимый напиток, страсть к театру, чтение журнала «Вопросы философии» (самое короткое приближение к художественной литературе, ее В. А., кажется, не читал вообще) — все это вместе должно было придавать какие-то человеческие черты политико-административному существу— председателю КГБ Владимиру Александровичу Крючкову. Крючков должен стать темой для книги. Его биография типична для нашего мира, он воплощение всего доброго и худого, что отличало человека высших сфер от простых смертных, граждан социалистического Отечества. Когда пройдет боль за покалеченные судьбы и разорение нашей уникальной Службы (оно уже началось), когда не смогут возникать подозрения в

личной корысти и подлости автора (не надо забывать, что ко всем недобрым предположениям следует добавить еще одно — корысть и подлость), тогда, может быть, поднимется рука на такое исследование. Пока рано.

Что же втянуло Крючкова в заговор?

Неуемное желание навести порядок в делах государства. Он часто попрекал нас, своих подчиненных, равнодушием к делам, выпадающим за пределы официальных обязанностей. «В стране не осталось ни одного ведомства или органа, которые могли бы что-то делать, — говорил он. — Если не сделает КГБ, то этого не сделает никто». В результате КГБ занимался по его приказам всем, а в силу своей дистрофичности — ничем. Комитет собирал селъхозстатистику, пользуясь, естественно, материалами ЦСУ, которым не верил премьер Павлов. Комитет шарил по подсобкам магазинов, проверяя излишки колбасы и водки. Комитет боролся с организованной преступностью, вылавливая мелкую уголовную шпану и начинающих вымогателей, Разведка в свободное от работы время косила сено, выращивала смородину и цветы. Какой головной болью для Комитета были все эти начинания! Обладая невероятной памятью, Крючков мог припомнить невыполненное поручение и через год, и через три.

Тревога по поводу развала государства, краха традиционных ценностей, символов и идеалов. Крючков еще недавно полагал, что распад дойдет до неизбежных краеугольных камней: Ленин, Октябрьская революция, социализм — и остановится. Поток смыл и унес эти камни.

Видимо, ощущая всеобщую растерянность и беспомощность своей стороны — социалистических традиционалистов, Крючков и решился на этот шаг.

Могло двигать им и властолюбие. Он шел к власти медленно, осмотрительно, приобретая и меняя союзников, ловко оперируя фактами. Крючков обладал совершенно невероятными возможностями для получения информации любого рода. Это создало ему репутацию всезнающего человека. Там, где реальной информации не было, Крючков конструировал ее на случайных, недостоверных фактах. Ему верили.

Крючков был хитрым, умным, никому не доверявшим и ни перед кем не раскрывавшимся человеком. Замкнувшись в своем внутреннем мире, допуская туда только то, что отвечало уже сложившейся, окаменевшей точке зрения, он, можно полагать, утратил реальное представление о процессах, происходящих в стране, и их объективном характере. Мир для него был скоплением конфликтующих или сотрудничающих политических деятелей, сложной паутиной интриги. Народ в этом мире

присутствовал как предмет заботы или манипуляций, но не творец истории. Народ безмолвствовал и молча негодовал. Председатель не мог уловить глубину изменений общественной психологии. Подозреваю, что, соглашаясь с тезисом о кончине КПСС, он и это приписывал лишь слабоволию и апатии ее руководителей.

Все это может объяснить, каким образом Крючков оказался в заговоре, и, думаю, не в числе простых исполнителей.

Нет объяснения тому, как человек, непосредственно участвовавший в венгерских событиях 56-го года, наблюдавший в качестве помощника Ю. В. Андропова за Чехословакией в 1968 году, причастный к афганскому перевороту 79-го года и введению военного положения в Польше в 1981 году, как деятель такого опыта мог оказаться столь беспомощным 18—21 августа 1991 года.

В нем ошибся Крючков?

Ответов пока нет. Они требуют размышлений».

Генерал внимательно перечитывал эти листки, написанные много лет назад по горячим следам, и думал, что ответов у него нет до сих пор. Интуиция, косвенные признаки свидетельствовали о том, что к «заговору» были причастны, по меньшей мере заранее знали о нем, и Горбачев и Ельцин, что велась хитроумная политическая игра, все участники которой пытались перехитрить друг друга. Выиграл в конечном счете Ельцин, громогласно похваставший, что он «перехитрил» заговорщиков. Истина же никогда установлена не будет, да она давно уже никого в России не интересует. Судить всех, правых и виноватых, будет история; и, как это принято в нашей стране, неоднократно. Ее вердикт каждый раз будет зависеть от предпочтений людей, оказавшихся у власти, и будет пересматриваться с их сменой.

Найденные листки были лишь частью сделанных тогда заметок. Время было тревожное, «демократы» требовали крови коммунистов и чекистов, велось расследование роли КГБ в августовских событиях, люди лихорадочно приспосабливались к новой власти, беспощадно лгали и доносили друг на друга. Это уже потом Генерал позволил себе шутить: «Такое тревожное время, а никого не расстреляли. Будто и не в России живем». В сентябре 91-го было не до шуток, поэтому он разрознил свои записки и спрятал куски в разных местах, а с годами забыл, что где находится. Разделу о действующих лицах должен был предшествовать рассказ о трех августовских днях, по меньшей мере с полсотни машинописных страниц, но его надо было отыскивать в бумажных завалах.

Начала повествования не было. Окончание нашлось через

несколько минут. Две странички были озаглавлены «Заключение».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Написанный уже было краткий эпилог куда-то запропастился. Писал я его 20 сентября, ждал указа президента о своем освобождении от должности. Накануне поговорил с одним доброжелательным человеком, предложившим мне работу в небольшой газете, и приятным холодком тронуло сердце: работать и отвечать только за самого себя.

Завершить эти заметки сейчас невозможно. Надо уходить с твердой почвы хроники в туманную область домысла, того, что для солидности принято называть анализом. Домысла, поскольку ни один человек, ни одна электронная машина не в состоянии собрать все относящиеся к делу факты и обстоятельства и тем более не сможет сделать из них правильные выводы. Формул исследования конкретных общественных явлений нет хотя бы потому, что ни один факт в этой сфере сам по себе, без его истолкования, не существует. (Я часто с некоторым озлоблением и насмешкой вспоминаю фразу — «на строго научной основе». Все государственные глупости, просчеты и преступления в Стране Советов освящались именно этим заклинанием.)

Любая попытка вмешаться со своим анализом, а вернее домыслами, в дело, где решаются самым трагическим образом судьбы людей, кажется мне неуместной. Будучи предан гласности, домысел, независимо от воли автора, входит в сумму фактов и обстоятельств, образующих рассматриваемое событие. У нас не принято разделять то, что действительно произошло, то, что могло произойти, и то, что просто-напросто измышлено... Та же строго научная основа плюс подъем революционного правового сознания. Это уже было, и неосторожное слово стоило свободы, а то и жизни человека.

Дело еще и в том, что, давно работая без отпуска и находясь последний месяц по понятным причинам в состоянии чрезвычайного нервного возбуждения, автор опасается потерять ориентировку в окружающей действительности. Он видит оскаленные свиные рыла вместо лиц, протирает глаза и видит лица, сквозь которые проглядывает свиной оскал. Это, разумеется, не зрительная галлюцинация, а какая-то аберрация осмысления реальности. Тем не менее автор убеждается, что это отнюдь не аберрация, но самая что ни на есть правда.

В таком случае правильный выбор — отложить бумагу и перо, прийти в себя и, если получится, вернуться к заметкам позже.

И в утешение себе. В последние тяжелые дни я узнал многих великолепных людей, никогда не вращавшихся в мире подачек.

Они появились или проявились вновь, зная, что я уже отделился от могущественного кресла, с которым было выгодно быть в добрых отношениях.

Уповаю на то, что эти люди и дальше будут дарить меня своей дружбой. Это помогло бы прожить остаток дней достойным человека образом.

Мир всем. Аминь».

ОТСТАВКА

Генерал подал рапорт об отставке после резкого и до крайности неприятного разговора по телефону с Бакати-ным, который по какой-то прихоти судьбы возглавил на короткое время Комитет госбезопасности после ареста Крючкова. Рапорт был написан 18 сентября 91-го года. Горбачев тогда еще отчаянно цеплялся за власть, а новые правители безжалостно загоняли его в угол.

Воспоминания о тех днях уже не волновали, но возвращались часто, по каким-то случайным ассоциациям. Смена начальника даже важного государственного учреждения сама по себе значит немного. Люди покрупнее Генерала, те, кого он назвал действующими лицами, совсем недавно, а если взглянуть с некоторого отдаления, то именно в эти дни не только расстались со своими кабинетами, но оказались в тюрьме, в приобретшей всемирную известность Матросской Тишине, с позорным ярлыком заговорщиков.

Неустойчивость, зыбкость, эфемерность всего земного, маленькой частицей которого была судьба служивого человека, воспринимались Стариком как нечто неоспоримое, аксиоматичное, единственно постоянное в нашем мире. Жизнь — это ожидание удара из-за угла, говаривал он, вспоминая при этом все те же строки Алексея Толстого:

Все пепел, призрак, прах и дым.
Исчезнет все, как вихорь пыльный...

Поэт размышлял об участи человеческой вообще, о неизбежном конце, ожидающем всякого живущего. Генерала больше занимали мысли о тех превратностях, которые подстерегают человека на пути к этому неминуемому финалу. Умозрительный фатализм — это одно. Другое дело, когда судьба обрушивает неожиданный удар на твою собственную, не абстрактную, а совершенно реальную голову, и тебя, плывущего по какому-то привычному течению, вдруг начинает бросать водоворот о подводные камни и мели. После таких испытаний человеку просто необходимо осмыслить, что же с ним произошло, какие враждебные, дружественные или стихийные силы перевернули его существование.

Генерал отнюдь не рассчитывал, что его пример будет другим наукой, и не ради этого размышлял и неоднократно принимался описывать обстоятельства расставания с работой, которую он

тогда любил и которой отдал тридцать лет жизни. Ему хотелось разобраться, где он действовал по своей воле, была ли вообще эта воля или неведомая сила жесткой рукой провела его через эти дни. После сентября 91-го прошли годы, дело так и оставалось неясным, и Генерал, посмеиваясь над собой, а иногда и всерьез, ждал какого-то озарения или знака, которые позволили бы расставить все по своим местам.

«Едва ли это будет интересно неведомому будущему читателю», — сокрушенно признавался себе Старик, но жизнь он прожил всего-навсего одну, надежды на ее повторение, вопреки заманчивым индусским доктринам, не было, и хотелось все же понять смысл не вполне ординарного по человеческим меркам события.

Старые записи нашлись. Они лежали между суперобложкой и переплетом роскошного художественного альбома «Золото Бактрии», изданного на английском языке в Ленинграде в 1985 году. Теперь они оказались в серой папке на сколоченном из досок столе в маленьком загородном домике по соседству с чайником, кружкой и старой медной пепельницей. Спешить было некуда. Генерал слушал тихую музыку и читал:

«...13 сентября 1991 года государственный секретарь США Л. Бейкер посетил Комитет государственной безопасности на Лубянке и встретился с его председателем В. В. Бакатиным. Госсекретаря сопровождали девять официальных лиц, среди которых не было ни одного, специально отметил Бейкер, кто был бы явно или тайно связан с ЦРУ. («Откуда он знает?» — шепнул я своему американскому визави. Тот понимающе улыбнулся.)

Посещение было представлено как историческое. Госсекретарь США (!) в штаб-квартире КГБ (!) встречается в дружеской беседе (!) с председателем КГБ! Каждое слово, каждый жест фиксируется на пленку двумя дюжинами репортеров! Неуместно было бы вспоминать, что бывший председатель КГБ заговорщик Крючков принимал в этом же кабинете посла США Мэтлока, главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Пауэлла, заместителя помощника президента США по вопросам национальной безопасности Гейтса, ушедших в отставку директоров ЦРУ Тэрнера и Колби... (Впрочем, кабинет уже не вполне тот. Изменился интерьер. Исчезли портрет Ленина и бюст Дзержинского, переместился на стену над председательским креслом портрет президента, сделанный в ту пору, когда он был еще самым молодым членом политбюро ЦК КПСС.)

Гость дал отчетливо, хотя и дипломатично, понять, что он неодобрительно относится к притязаниям России на чрезмерную

долю при разделе наследства бывшего Союза. Позиция не новая.

Примечательно другое. Наша сторона настойчиво, с энтузиазмом (не видел, не было ли слез на глазах?) упирала на то, какая для нас честь видеть у себя господина Бейкера.

И как пароль, как тайная масонская формула многократно прозвучало имя Эдуарда Амвросиевича Шеварднадзе, как выяснилось, дорогого личного друга обоих собеседников.

Единственная роскошь, которую может позволить себе нищая и разоренная страна, — это, пользуясь словами Сент-Экзюпери, роскошь человеческого общения. Угодливость одной стороны (невыносимо вспоминать!) на фоне спокойной, уверенной в себе вежливости другой придает этой общечеловеческой ценности кисловатый привкус.

Новый глава тайного ведомства с нескрываемым скептицизмом воспринимает тезис о том, что в современных международных отношениях сила — экономическая, военная, политическая — продолжает оставаться определяющим обстоятельством. Он делает вид, что уверен, что мир и человек радикальным образом изменились.

Заблуждение наказывает заблуждающихся.

КГБ реформируется. Идет лихорадочная перетряска должностных лиц. Прежние уходят ворча. Появляются новые начальники. Это привычно. Раньше КПСС направляла свои лучшие кадры на укрепление органов. Сейчас другая политическая сила направляет сюда свои лучшие кадры. Выдвигаются в комитетскую верхушку ранее малоприметные люди из второго и третьего руководящих эшелонов (руководство в КГБ глубоко эшелонированное, многослойное), они тянут за собой преданных себе людей. Правда, выдвижение идет без заклинаний о преданности партии и ссылок на всемогущую Старую площадь. Просто дается понять» что за кандидатом стоят влиятельные силы,

Предпринята вылазка и в отношении ПГУ Новый первый зампред КГБ А.А. Олейников выдвигает своего протеже. Все обговорено, и остается только подписать представление, да поскорее. «Председатель уже побеседовал с Р. и остался беседой доволен. Он — за».

Два с лишним года по подобным поводам я воевал с допутчевыми любителями лезть в дела ПГУ, отбивался от всякого рода рекомендуемых кандидатов, а теперь те же приемы со стороны нового начальства. Прошу дать мне возможность поговорить с Р. Он появляется немедленно. Личность серая и бойкая. Поговорив, ничего не обещаю.

В тот же день, 17 сентября, собирается Государственная

комиссия по расследованию деятельности КГБ в период путча. Она же должна вынести заключение о судьбе КГБ.

Председательствует С. В. Степашин, присутствуют (кого запомнил) Ю. А. Рыжов, Н. Т. Рябов, К. Д. Аубен-ченко, Н. Н. Кузнецов — все народные депутаты. Здесь же и А. А. Олейников. Я приглашен, чтобы сказать слово о своей Службе. Приходит моя очередь. Говорю, что КГБ должен быть безусловно упразднен; разведка должна быть выделена в самостоятельное ведомство — это единодушное желание всех сотрудников. Завершаю предложением включить в постановление комиссии следующее: «Рекомендовать руководству КГБ СССР в течение переходного периода воздерживаться от структурных изменений и кадровых перемещений...». Поясняю, что в старые, но недавние времена нам приходилось отбиваться от партаппарата, теперь же происходят назначения лишь по принципу личного знакомства, иными словами, по протекции.

Комиссия воспринимает мое заявление сочувственно. Олейников молчит. Но в нашей системе такое не забывается. Мне это известно.

Попытки хотя бы словом, хотя бы по телефону перемолвиться с Бакатиным повисают в воздухе. Ситуация, описанная Хеллером в «Уловке-22». Начальник приказывает пускать к нему посетителей только тогда, когда он отсутствует. Документы он тоже читает выборочно, и попытка наладить контакт по переписке повисает в воздухе, хотя отдельные резолюции до нас доходят. Докладываем о вербовочном подходе к нашему сотруднику за рубежом. Резолюция: «Почему Вас это удивляет? Ведь и Вы иногда действуете таким же образом».

Мы часто действуем точно так же, и раньше мы думали, что нас трудно удивить.

Кажется, обрывок эпиграфа из «Трехгрошового романа»: «...меняют кресло, но не душу».

18 сентября узнаю, что Р. назначен без моего согласия. С огромным трудом после неоднократных попыток пробиваюсь по телефону к Бакатину. «А где же Вы были раньше? Я уже приказ подписал».

Кратко излагаю свою позицию по поводу возрождения старых порядков, говорю, что далее работать не могу и прошу меня уволить. Немного поиздевавшись, Ба-катин дает согласие.

Пишу рапорт: «...В прошлом, как Вам известно, существовала практика назначения должностных лиц, в том числе и в ПТУ КГБ, под нажимом аппарата ЦК КПСС или по протекции. В последние годы ценой больших усилий эту практику удалось прекратить. С горечью убеждаюсь, что она возрождается в еще более грубой и

оскорбительной форме… Эта практика, уверен, может погубить любые добрые преобразования. Судя по тону Вашего разговора со мной 18 сентября с.г., Вы считаете такую ситуацию вполне нормальной. Для меня она неприемлема».

Генерал попытался вдуматься в прочитанное. Выходило очень здорово, строго по законам мемуаристики: благородный герой, автор воспоминаний, окружен недостойными людьми, его сердце не выдерживает несправедливости и глупости, мужественным жестом он порывает с прошлым и уходит с гордо поднятой головой в никуда… Что-то существенное оставалось недосказанным.

Старенький «Шеффер» стал покорно перекладывать размышления на бумагу.

«Решение уходить, вырваться из атмосферы торжествующего вероломства, всеобщей неразберихи и начальственной некомпетентности не было импульсивным. Оно созревало давно, и нужен был лишь повод для бесповоротного шага.

Неизведанность существования вне Службы пугала, но еще неприятнее была мысль, что мой уход в те тяжелые дни будет понят как дезертирство. Я переоценивал, теперь это очевидно, свой авторитет, влияние на сотрудников и опасался, что каким-то демонстративным действием толкну Службу на конфронтацию с новой властью.

Судьба избрала своим орудием Бакатина, залихватского и недалекого аппаратчика. Выбрать что-то более подходящее, чтобы смягчить горечь расставания со Службой, было бы трудно».

Генерал остался недоволен пассажем, однако решил не переписывать его и вообще к теме своей отставки больше не возвращаться. Тем не менее он припомнил лихорадочное возбуждение, охватившее его после разговора с Бакатиным. Рапорт все же был написан сдержанно. Сказывалась многолетняя привычка подавлять эмоции, думать над каждым словом, предвидеть последствия.

«КТО ПОГИБ ЗДЕСЬ, УМЕР?..»

Совсем обычная поездка в Москву выбила Генерала из колеи. Нечистый ли воздух большого города, судорожная ли побежка его обитателей, безнадежно тусклая окраска домов и улиц — что-то тоскливое вселилось в стариковскую душу. Многоцветную прошедшую жизнь закрыл мутный, без проблесков туман, и стало казаться, что в самом деле ничего не было, что привиделось что-то, как давний сон или чужеземный фильм на телевизионном экране. Привиделось и исчезло. Оставалось ощущение пустоты, несделанного дела, собственной ненужности и, увы, никчемности.

Рука тянулась к перу — перо к бумаге, но не было ни мысли, ни слова. Все это можно было пережить, но страшило, что перестала являться Ксю-Ша. И все реже и реже посещали Генерала его старинные приятели из мира теней. Жизнь окончательно теряла смысл, превращалась в существование без цели, направления и резона. Надо было убивать время, пережидать тусклую полосу, бояться, что она наступила навсегда, ждать вдохновения, искры угасающего, подернутого пеплом костра. (Старик не любил кино и театр, но мог часами смотреть на текущую воду и горящий огонь.)

Но жизнь продолжалась. Генерал каждое утро брился, умывался, безразлично ел что-то, читал, не торопясь, бесконечную историю Н.М. Карамзина. Сплетение русских слов и мыслей зачаровывало, радовали изысканные стародавние, давно заброшенные обороты. Старик читал, и ему казалось, что уже тогда в туманных российских глубинах великий историк понимал, что с его Отечеством творится что-то неладное и что это неладное никогда не кончится, что терзают Россию какие-то недобрые силы. «История не терпит оптимизма и не должна в происшествиях искать доказательств, что все делается к лучшему, ибо сие мудрствование не свойственно обыкновенному здравому смыслу человеческому, для коего она пишется».

Бесконечен перечень войн, бедствий, междоусобиц, интриг, предательств, злодеяний, и становилось непонятным, как же все это мог вынести русский народ, в сочинении Карамзина присутствующий, но невидимый, безмолвный, безмерно терпеливый. Этот терпеливый народ, однако, рождал Ермака, Пожарского и Минина, неистового патриарха Никона, Стеньку Разина, антихриста Петра, Пугачева, Суворова, Ленина и Жукова. (Он же позволял появляться на свет Божий Бурбулисам и Чубайсам.)

«История новейших времен не написана, — размышлял

Генерал. — Она разодрана на клочки, эти клочки связываются в цепочки, каждый набор временных правителей перевирает события так, чтобы прикрыть собственное ничтожество. Русскую историю терзают наемные перья, и, видимо, так и будет оставаться сокрытым тот великий общий знаменатель, который позволил русским выживать во все лихие столетия».

Когда-то Генерал говорил иностранному журналисту, что он уверен в будущей России — прогрессивной, цивилизованной, процветающей России, где каждый гражданин будет сыт, уверен в своем настоящем и будущем. Генерал увлекся этим видением, заговорил с ненапускной страстностью, когда иностранец — то ли датчанин, то ли швед — спокойно спросил, было ли у русских такое время в прошлом.

Генерал даже не запнулся, этот вопрос не единожды задавал себе он сам: было! Если верить Олеарию, побывавшему у нас в XVII веке, «пища в России была обильна и чрезвычайно дешева». Была Россия средоточием Вселенной и тогда, когда повергла в прах фашистскую Германию. Швед (или датчанин?) вежливо удивился. Он думал, что Гитлера сокрушили Англия и США.

* * *

Москву накрыл пушистый белый снег. Через полчаса он посерел, затем почернел. Генерал сбежал туда, где снег остается белым до весны.

Затяжные оттепели, огорчительные январские дожди, наводившие на мысль о том, что сдвинулись с устоев не только люди, но и сама природа, «...необыкновенная зима тогдашняя, которая наступила весьма рано и не дала земледельцам убрать хлеба: в Декабре и Январе было удивительное тепло; в начале же Февраля поля открылись совершенно и крестьяне сжали хлеб, осенью засыпанный снегом», — писал Карамзин о зиме 1371/72 года. Непостижимая людскому разуму связь времен. Казалось, что через шесть с лишком веков неведомые силы решили вновь подвергнуть Россию испытаниям. «Ждите глада и труса, и мора, и затменья небесных светил...» Пронесло. Снега не успели растаять, а в конце января ударили морозы. Ледяная броня прикрыла сугробы, а под ними неслышную и несокрушимую лесную жизнь. На ледяную корку навалил свежий снежок. Снегопада вроде бы не было, снег шел не из тучи, а рождался прямо в воздухе, оседал на землю мелкими пушинками, припорашивал лед и в день-два закрыл его ослепительно белой пеленой. Остался на свете только белый цвет, изредка прорезанный красными кирпичными стенами

да кое-где торчащей исчерна-зеленой еловой лапой.

Белизна с синеватым к вечеру отливом — это тишина. Звуки умерли. Скрип снега под валенками, гулкий треск раздираемой морозом сосны и вновь молчание.

Саваном покрыта наша сторона.

Кто погиб здесь, умер? Уж не я ли сам?..

Печка утробно выла, пожирая сухие березовые поленья, благо дров было припасено вдоволь. Генерал чувствовал себя неожиданно и необъяснимо бодро. Ему, всегда бежавшему тишины и одиночества, невыносимо страдавшему от безделья, было уютно и покойно в маленьком теплом доме среди замолкшего леса. По утрам, а рассвет надвигался все раньше (небо начинало сире-нево светиться в восьмом часу), он надевал валенки, состарившуюся генеральскую куртку на добротной розово-желтой овчине и бодрым походным шагом отмеривал пяток километров, возвращаясь домой разогретым, приятно возбужденным, одержимым жаждой деятельности.

Будь все это лет десять-пятнадцать назад, Генерал тут же окунулся бы в кипучую служивую суету: телефонные звонки, бумаги, беседы, указания — все то, что казалось жизнью и подменяло жизнь. У жизни же — с опозданием понял Старик — есть только один смысл: необходимость осмыслить эту жизнь. Настойчиво, даже назойливо преследовала мысль о Боге и вечности. Генерал читал Библию, пытался проникать в темные рассуждения теологов и философов и приходил к выводу, что его разум слишком слаб, чтобы постичь идеи Бога и вечности. Признать же, что кто-то сумел понять их и пытается передать это знание ему, не позволяло скептическое отношение к своему и чужому человеческому уму, к порожденным умом словам. Вивекананда, Булгаков, Толстой, Фенелон, Беркли, Кришнамурти, Беме, Маркс — слепцы, наставляющие глупцов; люди, толкующие великое и вечное ничто, пытающиеся уложить его в формулы, в понятные человеку фразы. Ни один из них не сумел сказать что-то новое после Екклесиаста. Генерал читал их сочинения и горестно думал, что пастыри недалеко ушли от пасомых; Господь дал им дар слова, но не разумения. Во всяком случае, с помощью этих учителей можно было постигать суть заблуждений, а не истину.

Оставалось ждать озарения, вспышки молнии, чего-то сверхъестественного, что в единый миг осветило бы и прошлое, и настоящее, и непостижимое будущее. «Может быть, Ксю-Ша?» — думал порой Старик, тут же упрекая себя за глупость и суеверие. Не принимая христианства, он не хотел впадать и в язычество.

Снежная белизна, тишина, одиночество, завывание огня в

печке навевали, тем не менее, мысли о вечности, о ее ничтожной, непостижимой в своей малости частичке, какой является любая жизнь. Десять, сто, сто тысяч лет — это ничтожно малая, исчезающая частица равнодушной всепоглощающей вечности.

«Вот еще! В подмосковном лесу, средь снегов, меж окоченевших елок и берез помешаться на вечности!» — насмехался над собой Старик. Он вспоминал сожженные солнцем пустыни, пальмы на каменистых солончаках, изумрудные волны Индийского океана, сияющие нездешним светом вершины Гималаев и приходил к горестному заключению, что все они лишь свидетели и жертвы вечности.

Раньше об этом не думалось. Время было четко разделено на месяцы, недели, дни, часы, минуты. Время не имело отношения ни к вечности, ни к смыслу жизни. Оно служило лишь для измерения человеческих дел, было рамкой, куда торопливо вставлялась одна, другая, третья картинка. Теперь время мстило, нависало угрожающей беспредельной громадой — снежно-белой, непроницаемой и беззвучной. Генерал пытался убежать от него в безопасное, уже прожитое прошлое, расчерченное годами, месяцами, днями.

Он не мог придерживаться холодной хронологии. Логика мира теней подавляла земную рассудочность. Здесь, на земле, Старик равнялся с малой снежинкой, с озябшей еловой веткой, с неяркой звездой, мерцающей в морозном воздухе, с мышонком, грызущим какой-то корешок под ледяной коркой. Здесь он был атомом Вселенной.

Там, в мире теней, он становился сердцевиной непреходящего вечно прошедшего. Ничто не появляется из ничего, и ничто не превращается в ничто. То, что было, есть и будет, пока жив хоть один человек, помнящий то, что было.

Генерал давно не пил, мало курил, плохо спал. Он высох и слегка пожелтел, как желтеет бумага, подпаливаемая огнем. «...Как Данте, подземное пламя должно твои щеки обжечь...» — вспоминал он по утрам перед зеркалом, перед говорящим правду стеклом. Чужая мудрость, чеканность строк угнетали его. Прожить так долго, познать многое и ни разу не быть осененным собственной, не заемной мыслью, так и не понять, зачем же все это было...

ДЖАГАНАТХАН

После прогулки по сугробам, после тихого и даже какого-то умиленного общения с замерзшими елками и березами, со сверкающим на солнце снегом Генерал пил чай и слушал «Реквием» Габриеля Форе. Темный янтарный настой с почти неуловимым ароматом нездешних стран, негромкое завывание печки, блики отраженного снегом солнца на потолке, торжественные голоса хора...

«Приятно думать у лежанки, — задремывал средь бела дня Генерал. — Вот-вот явится Ксю-Ша, и жизнь обретет ясность». Старик тосковал по Ксю-Ше и в сладкой полудреме возликовал, ощутив рукой теплую шерстку. Так оно и должно было случиться. Ксю-Ша не могла покинуть своего хозяина. «Она со мной навсегда», — подумал Генерал и испугался: он боялся лживых слов «всегда», «навсегда», «никогда». Навсегда человек только умирает. (А музыка пела о вечности, о вечности для человека, музыка упивалась сладкой ложью.)

Ксю-Ша коротко и звонко залаяла: она терпеть не могла чужих. Генералу показалось, что он очнулся от дремы. Так бывает в спокойном сне, переход от одного уровня видений в другой, столь же спокойный. «Я спал, кто-то пришел, кто-то добрый, иначе Ксю-Ша заливалась бы злобно и непрерывно... Она чует злых духов...»

То, что увидел Старик, заставило его затрясти головой и окончательно проснуться. (Ксю-Ша, тем не менее, тихонько ворчала где-то под лавкой.)

За столом напротив сидел улыбающийся Джаганат-хан. Генерал в давно прошедшие времена не только был знаком с этим человеком. Они работали вместе во имя одного и того же дела, которое казалось им священным и вечным. Джаганатхан был древнеиндийским божеством, изваянным не из черного дерева, а вылепленным из плоти и крови, воплотившимся в нашем мире для того, чтобы мы, смертные, могли почувствовать радость от соприкосновения с вечным и добрым. Мысль о неземной сущности Джаганатхана посетила Генерала слишком поздно, тогда уже ничего спасти было нельзя. Боги, спустившиеся на землю, подчиняются законам нашей земной жизни.

Джаганатхан — выходец из Южной Индии, но его лицо было слепком изваяния Будды, которое когда-то Генерал видел на земле древней Гандхары, в музее Таксилы.

До Таксилы доходили воины Александра Македонского, Искандера Зулькарнайн-Двурогого, здесь греческая культура

сплавлялась с древнеиндийской. Безукоризненный овал лица, четко изваянные губы, загадочная и добрая улыбка — Джаганатхан мог быть «аватарой», перевоплощением Будды в цвете черного эбенового дерева.

Если в жизни прошлой не происходило ничего необычного, не объяснимого простыми обстоятельствами, то существование в мире теней приучило Генерала не удивляться ничему тому, что человеку непосвященному могло бы показаться сверхъестественным. Джаганатхан жил в памяти, следовательно, он жил, а то, что он давно уже умер (Генерал достоверно знал это в земном мире), оказывалось несущественным.

— Hello, Doctor! My dear, dear friend! How are you? Ages since I saw you.

Генерал непроизвольно переключился на английский: во сне он с легкостью говорил на четырех языках, но каннара — родной язык Джаганатхана — был для него совершенно чужим. Старик хотел сразу же спросить индийца о Юре, но что-то его сдержало. Пожалуй, он не был вполне уверен, что действительно видит Джаганатхана, а выдать Юру чужому было нельзя.

«Все прошло, — шепнул тихий голос, — можно говорить обо всем, тебе все кажется, и никто не угрожает тебе и твоим друзьям». В той, настоящей жизни Генерал был приучен не верить тихим убедительным голосам, они обезоруживали перед лицом опасности. Сознавая отчасти, что действительно настоящая жизнь прошла, Старик, однако, не мог расстаться с привычной осмотрительностью. Доктор Джаганатхан сомнений не вызывал, но надо было все же убедиться в его реальности.

(Генерала и Джаганатхана связывало многое. Беспощадная и не верящая ни в Бога, ни в черта Служба, душу которой продал Генерал еще в очень молодые годы, вовлекла Джаганатхана в свои дела и не отпустила его до самой смерти.)

Индиец спокойно и приветливо улыбался: «Dear friend! You cannot imagine how happy I am to see you alive and kicking!»

Генерал как-то внутренне всхлипнул, с трудом подавив порыв подняться и обнять своего незабвенного дорогого друга. Он испугался, что объятие пройдет сквозь пустоту и Джаганатхан исчезнет. Рисковать Старик не мог, ему надо было узнать, с чем уходил индиец из нашего мира, какие обиды унес с собой, не было ли скрытого укора в его словах — «живым и здоровым».

Укорять было за что. Давным-давно, в многоцветной земной жизни, доктор Джаганатхан был талантливым, на грани гениальности, ученым-микробиологом. Он был настолько талантлив, что получил в Соединенных Штатах Америки собственную лабораторию, где увлеченно работал над средствами

противодействия бактериологическому оружию. Особенность этой отрасли науки, к несчастью, заключается в том, что средства действия и противодействия отделяет почти неуловимая грань, одно с легкостью переходит в другое. Доктор верил в торжество добра и всеобщей справедливости, ему не очень нравились Штаты. Когда-то в юности он увлекался социалистическими учениями и твердо про себя уверовал, что воплотился социализм в единственной стране — Советском Союзе. Джаганатхан время от времени бывал в Индии, и в один из приездов уважаемый родственник познакомил его с русским. Русского звали Юра, он работал в торгпредстве и был очарован Индией. Если бы каждый советский человек был подобен Юре, то социализм, вне всякого сомнения, был бы построен. Знакомство убедило индийца, что он имеет дело с обычным гражданином идеального государства. Юра был умен, тактичен, остроумен, чуток и неподдельно добр. («Вот уж кто отдал бы ближнему последнюю рубашку» — эта завистливая мысль не раз мелькала у Генерала еще в те времена, когда оба они были молоды, очень дружны и принадлежали только земному миру.)

Скоро, очень скоро Джаганатхан рассказал своему новому другу о секретной лаборатории в далеких Соединенных Штатах, поделился сомнениями и страхами, даже совета попросил: не бросить ли эту сытую и чуждую жизнь, не возвратиться ли в Индию?

Судя по отчетам, которые направлял в Центр Юра (подполковник КГБ Юрий Васильевич Н., оперативный псевдоним — Луков), обращение Джаганатхана, говоря иным языком, вербовка на советский флаг прошла без затруднений, хотя вербовочная беседа продолжалась почти шесть часов и ее краткое изложение, полученное в Центре почтой, занимало около 20 страниц. Центр мудро решил не устанавливать контакта с «Директором» (так для конспирации был обозначен Джаганатхан) в Штатах, дабы не рисковать особо ценным источником. То, что «Директор» заслуживал столь почетного наименования, он доказал несколькими научными отчетами о своей официальной работе и даже образцами лабораторной продукции, с некоторым риском вывезенными из США. Вот тут бы и заключить: «and they lived happily ever after».

«Директор» навещал родственников в Индии, встречался с Юрой, передавал информацию, которой по меркам холодной войны не было цены.

В Службе работали интеллигентные люди, полиглоты, ловцы человеков. Традиция жесткого и по необходимости упрощенного, «смершевского» подхода к реальности уходила в прошлое. Его

пережитки сохранялись в языке. Юра и Генерал, который волею судеб и едва ли по заслугам стал его начальником, частенько посмеивались, особенно если дела шли хорошо: «Жадность фраера сгубила».

Бактериологическая лаборатория в индийском городе Пуна, близ Бомбея, издавна интересовала Службу. Нелегкая толкнула «Директора2 рассказать о своем родственнике, работающем там. И вновь очень скоро этот родственник, получивший псевдоним «Зам» и классификацию «подысточник», начал давать такую информацию, от которой потекли слюнки у руководства Управления Т (Научно-технической разведки) в Москве.

Дивны дела твои, Господи! Дивны твои оперативные замыслы! Дивны пути, которыми Ты их воплощаешь! (Генерал никак не мог решить, надо ли к Богу обращаться на вы или на ты, и подумал, что ты звучит как-то уместнее.)

Короче. Индийская контрразведка старинной английской выучки давно поместила «Зама» под колпак. Арестовали его по обвинению в работе на ЦРУ, ибо какой-то дурак из резидентуры ЦРУ в Бомбее встречался с ним почти открыто, уповая на беспечность «туземцев». «Зам» продавал информацию американцу и бескорыстно делился ею с «Директором». Будучи схвачен, «Зам» не нашел ничего лучшего, как отрицать свою связь с американцем, но инициативно назвал «Директора», тайного друга Советского Союза, которому он бескорыстно помогал. Вся история выплеснулась на газетные страницы, имя «Директора» не упоминалось, но все было вопросом времени, и ему пришлось исчезнуть. С помощью, разумеется, Службы. Был Джаганатхан — и его не стало, куда-то он уехал из Бомбея, кажется в Абу-Даби, и след его затерялся в песках времен.

Генерал и Юра были прямо причастны к исчезновению «талантливого индийского ученого, живущего в США», именно они это исчезновение организовали. Джаганатхан начал свои скитания по миру, Генерала унесло в исламский Иран, а Юру — в Европу. Узел рукой Божьей затянулся и ею же был развязан. Умер Джаганатхан вдали от родной Андхра-Прадеш, Юра умер в родной Москве, а Генерала судьба несла в самые верха Службы, он оставался единым хранителем памяти своих друзей, ибо встречался тайно с «Директором», дружил с Юрой и любил их обоих.

И вот теперь, через много лет, пройдя огни, воды и медные трубы (так многое обрушивается на человека за двадцать лет!), Старик видел своего дорогого, давно ушедшего друга. Джаганатхан, воплощенный Будда, улыбался, он был рад видеть Генерала. Старик неплохо разбирался в людях. При жизни

Джаганатхана ему казалось, что и в индийце нет особенных секретов — всего лишь надо найти уязвимую точку и нажать на нее. Приближение к непостижимому (Служба не знала этого понятия, и Генерал — глава Службы — лишь скептически хмыкнул бы, услышав о нем) заставило часто-часто забиться сердце.

— Дорогой друг! Как там Юра? — расслышал собственный голос Старик. Теперь можно было упоминать Юру, в «Директоре» не было ни малейшего сомнения.

— Я слышал, что с ним все в порядке. К сожалению, повидаться с ним мне пока не удалось, но ведь в нашем распоряжении вечность, — не торопясь, подбирая слова, не переставая улыбаться, разъяснил по-английски «Директор».

И вдруг, перейдя на чистейший, без акцента, русский, и с не свойственной ему фамильярностью (или теплотой?) спросил:

— Ну, а ты-то сам когда к нам собираешься? Не пора ли? Устал ведь?

Старик хотел было сказать, что действительно он несколько устал, что пора и честь знать, а любое место, где он сможет быть вместе с Юрой и Джаганатханом, его вполне устроит, но не успел. Под ногами взвыла Ксю-Ша, почему-то погасла лампа и, вспыхнув через мгновение, осветила пустую комнату. Старик растерянно опустил руку, чтобы погладить умную собачью голову и успокоить Ксю-Шу. Под лавкой никого не было. Генерал вновь остался один в холодной пустыне.

Утром он проснулся в слезах и не мог вспомнить причины.

В НАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ВЕЧНОСТЬ

Человек жив не только до тех пор, пока продолжается обмен веществ и линия на зеленом экране энцефалографа остается зубчатой, не вытягивается в унылую безупречную прямую. Человек жив и не только пока он сохраняет память. Нужно, чтобы у кого-то сохранилась память о нем. Утверждение рискованное, и Генерал был уверен, что, произнеси он его вслух, тут же объявятся незваные критики, которые не только разнесут на куски само утверждение, но и его автора. Рассчитывать на то, что критики позаботятся узнать действительного автора, не приходилось. Бергсон давно умер и забыт, а жизнь в Генерале еще держится. Критикам же, подобно горьковским соколам, по вкусу живая, хотя бы и полумертвая плоть и мысль. Старик знал, что на этом моменте он категорически разошелся бы даже с некоторыми, в общем доброжелательными, коллегами по Службе, воспитанными, как и он сам, в духе исторического и диалектического материализма. Настоящая жизнь в рамки этого духа, увы, никак не укладывалась. Она всегда оставляла какую-то, пусть призрачную, надежду на будущее. «Директора» и Юры нет, но с ними можно общаться, и Генерал твердо рассчитывал на их доброе сочувствие. Уж они-то понимали, что все мы — жертвы обстоятельств, от которых не спасает даже божественное происхождение. («Директор» так и не сказал главного, ничтожно малого, но для Старика главного: не обижен ли он на него, на Юру, Службу?)

«Ничего, — успокаивал себя Генерал, — в нашем распоряжении вечность».

Уверенности, однако, у него не было, но подбадривать себя было необходимо. «Да и где тот храбрец, кто без волнения готовится к прыжку в бездонную пропасть?»

* * *

Успокоив себя таким образом, Генерал продолжал бесконечную работу, благо бумаги у него было вдосталь, верный «Шеффер», с которого уже облезла позолота, послушно бегал по листам, а колючий почерк (буквы вытягивались, теряли округлость, пошатывались) все еще позволял разобрать утром то, что было написано вечером.

Он принялся было вспомнить историю своего знакомства со стариннейшим другом, как от ворот послышался автомобильный

гудок: кто-то явно пытался сыграть насмешливую мелодию на столь нескладном инструменте. Этот кто-то мог быть только тем самым другом, который давно обещал навестить Генерала в его берлоге, — Славой Гургеновым.

Пожалуй, у каждого человека, почти у каждого, есть кроме близких родственников люди, которые десятилетиями присутствуют в его жизни и придают ей какой-то особый привкус. («Назовите мне что-нибудь хорошее, что вы сделали в жизни; если можете припомнить». Константа думал изо всех сил. «У меня был друг», — сказал он.)

Курт Воннегут иногда задевал за живое, а Гургенов читал Воннегута, и с ним можно было поговорить о судьбе Малахии Константа, об удивительной книге «Сирены Титана» — философии, облаченной в пеструю одежду фантастики.

Познакомился Генерал со Славой в невероятно далеком 1953 году, в Институте востоковедения, где оба они усердно изучали Индию. Генерал уже был второкурсником. Гургенов только поступил, приехав в Москву из Грозного. Так они и разошлись бы, студенты разных курсов, но судьба распорядилась иначе.

Осенью 1962 года, вернувшись из дальних стран — Слава из Калькутты, а Генерал из Карачи — и встретившись в небольшой толпе незнакомых сверстников, ожидавших первого звонка в загадочном учебном заведении, Школе 101 ПГУ КГБ при СМ СССР, бросились они друг другу чуть ли не в объятия. «И ты здесь? Вот здорово!»

Тридцать лет... Генерал выпал из Службы, Слава в ней остался, был предупрежден Бакатиным, что дружба со старым начальником приведет к немедленному увольнению («выкину!»), но не убоялся. Расточился в смрадном воздухе конца 1991 года Бакатин. Слава продолжал работать и не отвернулся от опального друга, как сделали более впечатлительные коллеги.

Гургенов стоял у закрытых ворот и нарочито хриплым громким голосом вопрошал:

— Водопроводчика заказывали? Где это у вас все течет и все изменяется?

— У нас ничего не изменяется, поэтому всегда течет, — в тон ему завопил Генерал. — Лампасу привез для прочистки?

Сели пить чай. Другого Гургенов с 1968 года, после довольно обычной юности, не воспринимал. Он делал вид, что ему приятно быть в подвыпившей компании, поднимать со всеми рюмку, но в его сосуде светилась обманчивой прозрачностью лишь минеральная вода. Бросил он и табак, но, как с тревогой отметил Генерал, выглядел Слава неважно: похудел, глаза запали, чем-то скрыто обеспокоен.

Говорить о здоровье не было принято. Это не мужское дело. Друзья беззлобно, даже с сочувствием посмеивались, бывало, над общими знакомыми, глотавшими на людях таблетки от каких-то несмертельных хронических болезней.

Люди, пожившие на индо-пакистанском субконтиненте не один год, понимают толк в чае. Знаток скептически взирает на яркие жестяные коробочки, с презрением воротит нос от бергамотовых, цитрусовых, черничных, шоколадных ароматов — это не чай! Его оскорбляет мусор, выдаваемый за благородный лист. У Генерала сохранилась скромная бумажная упаковка «лопчу» — крупного высокогорного чая с неповторимым, отдающим дымком букетом. «Лопчу» заваривается долго, не спеша разворачиваются в крутом кипятке чайные листы, и темно-янтарный настой бодрит душу и разум.

Слава, как обычно, принес груду вырезок из иноземных газет и журналов. Он был неутомимым читателем, и, пожалуй, именно это сблизило их в то время, когда они жили в «казарме» — уютной большой комнате с еще тремя «однокорытниками» — слушателями Сто первой.

Сейчас наступала весна. В 64-м в это время будущие сотрудники Службы готовились к городским занятиям.

У них, во всяком случае у тех, кто попал в одно отделение со Славой и Генералом, уже был опыт работы за границей, делового общения с иностранцами, каждый свободно владел по меньшей мере двумя чужими языками. Готовились же они к своеобразной работе, и именно на городских занятиях это своеобразие ощущалось особенно остро. Занятия были игрой, но настолько, насколько возможно, приближенной к действительности, хотя, разумеется, воссоздать в Москве условия Парижа, Нью-Йорка или Токио не удавалось. Однако задания: провести личную встречу с агентом, заложить и изъять вложение из тайника, осуществить моментальную передачу — эти задания были вполне настоящими, так же как и оппозицию (наружное наблюдение, «наружку») представляли профессионалы. Они проходили переподготовку на своих курсах. Так сходились во вполне жизненных ситуациях извечные соперники — Служба и Контрслужба.

Игра велась азартно, жестко и корректно, обе стороны достигали немыслимых вершин изобретательности, стремясь перехитрить друг друга. Здоровенный и ловкий Игорь, оторвавшись, как он думал, от «наружки», проверив и перепроверив, двинулся не спеша в направлении явочной квартиры. Добрый человек, он не мог не помочь девчушке, с трудом волочившей тяжелую сумку. Девочка была рада нежданной помощи. Игорь чувствовал себя скромным рыцарем.

Вскоре ему пришлось почувствовать себя дураком: при разборе оказалось, что помог он той, которая за ним следила. «Мне показалось, что ей лет пятнадцать, — смущенно объяснял он насмешливым товарищам. — Черт знает, как это они маскируются!». Маскировались они действительно ловко, за несколько секунд меняли и одежду, и повадки, показывали на мгновение одного-другого члена бригады. Внимание наблюдаемого, «объекта», привязывалось к этим людям, он «отрывался» от них, а другие невидимо и неслышно сопровождали его до цели — агента, тайника, явочной квартиры.

Вот эти все давнишние дела и вспомнили Генерал со своим другом. Вообще из прошлой жизни прочнее всего удерживается в памяти занятное, то, что благополучно кончилось, и трагичное. И того и другого приятели навидались вдоволь, но воздух был так свеж, а радость от встречи столь искренней, что все нескладное, печальное, незадавшееся ушло в тень.

О делах нынешних не говорили. Генералу, конечно, было интересно все связанное со Службой. Но он решил раз и навсегда, что Служба ушла в прошлое, что он не должен, даже простым любопытством, вмешиваться в ее дела, осложнять жизнь еще работающим товарищам, которых он уважал и любил. (Кстати, уважал и ценил Старик само слово «товарищи». В его среде оно означало нечто большее, чем безличное интернациональное обращение. По крайней мере, так ему казалось.)

Слава это понимал, поэтому порассуждали о печальных домашних делах (бойня на Краснопресненской набережной была еще впереди), поругали сукина сына Гор-диевского, а потом как-то незаметно перешли к Пакистану, Индии, Афганистану. Дела у России были худы, в общем-то, везде. На глазах у всего мира развалилась великая держава, и Пакистан(!) предложил ей десять тысяч тонн риса в виде гуманитарной помощи.

— Господа антикоммунисты, демократы, либералы, монетаристы и просто прохвосты! Неужели в вашем «менталитете» и «интеллектуальном потенциале» не осталось щелки для простого человеческого стыда? — слегка привстав и взмахнув от негодования руками, возопил Генерал.

Эта митинговая выходка была нарушением негласной конвенции. Гургенов и Генерал воли эмоциям не давали, они не просто понимали друг друга с полуслова, но думали одинаково, следовательно, витийствовать не было нужды. Стоило, разумеется, помнить, что Генерал был вольным пенсионером и мог не отвечать за свои слова, Слава же продолжал работать на благо той власти, которую его друг яростно хулил.

— Ладно! Пропади они все пропадом! Жив ли «Тон»?

— Жив. Старик работает.

— А «Черномор»?

— Совсем ослеп, но ум острый. Помогает чем может.

— Слав, а ты помнишь, как..?

— Еще бы не помнить! А ты помнишь?..

Можно ли вспомнить всю жизнь? Надо ли ее вспоминать?

В прошлом Славы был тяжелый момент, сугубо личный, но для Службы ничего личного не существовало. Генералу и Славе — молодые, растущие! — люто завидовал, терпеть их не мог случайный начальник. Случайные начальники, увы, бывали в безупречной Службе. Усилиями светлой памяти Юрия Ивановича Попова, который был тогда заместителем начальника Службы, Славу удалось отстоять. Всех перипетий закулисной возни он, разумеется, не знал, но честный человек доброго дела не забывал. (Здесь Генерал сделал мысленную пометку: не забыть Юрия Ивановича и Якова Прокофьевича!)

— Слава, ты знаешь теперь все. Мне не с кем поговорить. Бакатинская команда каким-то образом прикоснулась к документам по «Рабину». Мы очень много ему платили — миллионы. Я слышал «Голос Америки» — ловят нашего источника, получавшего большие деньги. Подумай. Его надо спасать.

Генерал сделал при этом предостерегающий жест — молчи, дескать, не надо ничего объяснять, я не хочу вмешиваться в ваши дела.

Слава слегка задумался и кивнул. Он знал, о чем идет речь, и думал, что ничего существенного Генерал добавить не сможет.

Он ошибался. Старик мог бы поделиться своими вескими подозрениями. Но если твой проверенный друг не задает вопросов, лучше помолчать.

(«Рабина» через какое-то время арестовали, шумно судили и приговорили к пожизненному тюремному заключению. Генерал был уверен, что предали его в Москве. Служба, как и положено, отрицала свою связь с «Ра-бином», намекая в то же время, что сам-де виноват, жил не по средствам.)

Выпили еще чаю, повспоминали старых знакомых и дела давно минувших дней. На дворе стремительно темнело, и где-то вдали заухала вечерняя птица. Генерал боялся, что под лавкой появится Ксю-Ша да еще попытается по-собачьи облобызать гостя, с которым она была знакома при жизни. Слава-то знал ее судьбу и мог бы изумиться возобновлению знакомства. Объяснить же появление собаки Старик бы не смог. Слава еще принадлежал миру живых, миру предрассудков и предубеждений. (Генерал не мог подумать, что его друг, когда-то игравший в футбол за

институтскую команду, пробегавший каждое утро десяток километров, не пивший и не куривший, так скоро расстанется с Землей.)

(«Пытаясь прикинуть, — выводил потом на бумаге «Шеффер», — скольких же моих друзей не осталось на этом свете и с кем я могу еще общаться не во снах, а наяву, я плачу горькими слезами...»)

Гургенов укатил на серой «Волге». Раньше начальники его калибра ездили только на черных машинах. «Хорошо хоть, что не на «Мерседесе», — машинально отметил Генерал. Почему-то его задевало пристрастие демократического начальства к иномаркам, возможно, вызванное отвержением советского тоталитарного прошлого.

* * *

Генералу нравилась московская осень, и не очень — московская весна. Резко ломалась погода, чего не бывало в тех жарких краях, где он провел много лет. Но отступала стужа, временами лютая, невыносимая, светилось бирюзой небо, стучала по случайно брошенному листу железа капель (такое славное весеннее слово — капель!), появлялось все чаще бодрое молодое солнышко. Жить было не просто нужно, но даже приятно. «А другой вариант гораздо хуже», — думал Старик, но, как всегда, без особой уверенности.

АНДРОПОВ

Поздней весной 1979 года Генерал отправлялся в охваченный бурей исламской революции Иран. Напутствовали его многие: знатоков ислама и революций, к тайному изумлению Генерала, оказалась тьма-тьмущая, особенно во всех отделах ЦК КПСС. (Один из них, например, заметил в научной книжке, что Коран был написан Мохаммедом. Книгу никто из серьезных людей не читал, поэтому чудовищный ляпсус прошел незамеченным.) Единственным человеком, который говорил дело и, кажется, искренне интересовался предстоящей нелегкой работой, был председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов.

Вспомнив этого человека, Генерал мысленно перекрестился и поймал себя на том, что крестное знамение стало превращаться в привычку. «Но надо же как-то почтить память... — мямлил про себя Старик. — Кого? Начальников? Что, они и там могут остаться твоими начальниками? И там о карьере будешь думать?»

Вот здесь Генерал начинал серьезно злиться на своего воображаемого собеседника, а проще — на самого себя. Тезис — антитезис, аргумент — контраргумент, утверждение — опровержение. Так жить нельзя. Нет, не начальников, не друзей, не партнеров, а добрых и умных людей поминал про себя Генерал. Все его предки были православными, и сам он был православным, временно смущенным атеизмом. Символы были нужны. Крестное знамение было символом принадлежности к великой и вечной общности. Люди, которых поминал он, принадлежали к этой общности — умных и добрых. И не было среди них ни эллина, ни иудея, ни мусульманина.

«Мне довелось шесть раз побывать на беседе у Юрия Владимировича, — выводило перо. (Над этой фразой он задумался: побеседовать с Ю.В.? встречаться с Ю.В.? быть принятым? говорить с...? Все не то! Пусть так и останется— официально, сухо, в соответствии со стилем того времени. Стоит мимоходом заметить, что Старик частенько задумывался над пустяками, будто был где-то высокопоставленный и строгий адресат. Старые рефлексы никогда не покидают человека.) — Был я тогда, в 1974— 1981 годах, не так уж молод, но не слишком умен и, во всяком случае, непредусмотрителен. Надо было думать о будущих воспоминаниях, записывать как можно подробнее каждое слово председателя и свои глубокомысленные ответы, дабы можно было когда-нибудь наставлять молодежь былой мудростью. Ни о чем этом не думалось. Я докладывал начальству

о беседах, работал «в соответствии с указаниями», но «с учетом обстановки» и быстро забывал, о чем же говорил со мной Юрий Владимирович. Не было времени заботиться о будущем, хотя в ту пору еще не вполне оформилась и мысль, что в будущем мало кого будет интересовать наше прошлое и тем более такие детали, как беседы председателя с резидентом по сугубо конкретным делам.

Остались впечатления, разумеется, отчасти искаженные. Уж слишком, казалось, была велика пропасть между одним из небожителей и простым смертным. Служивый восторг перед воплощением высшей власти, непостижимой мудрости. Нужны были еще годы, чтобы понять незавидную участь и специфическую направленность талантов вершителей наших судеб: они умели выживать и держаться за власть в жестокой борьбе. Это не тот дар, который может очаровать разумного человека. У Юрия Владимировича этот дар, несомненно, был. К счастью, не он формировал этого человека. Не только он. Было еще и обаяние незаурядного ума».

Генерал перевел дух, перечитал написанное и огорчился: получалось плоско и было непонятно, чем же, кроме служебного положения, мог очаровать оперативного работника Андропов.

Вспоминался огромный сумрачный кабинет, казенная мебель, оставшаяся здесь с двадцатых годов: стол из карельской березы, крытый зеленым сукном, старомодные стулья, зеленый абажур настольной лампы. Фигуры хозяина не было. Впрочем, последняя беседа в этом кабинете начинала всплывать в памяти. Шел июнь 1980 года. Генерал приехал в Москву из Тегерана в отпуск.

— Юрий Владимирович! Это наш резидент в Тегеране, — представил его начальник Службы.

— Да я-то помню, что он наш резидент. А вот он нас забыл!

Что мог сказать, оправдываясь, резидент? Что весь тот апрельский день, когда американцы пытались выбросить плохо задуманный и еще хуже исполненный десант на Тегеран, он метался по своим связям и пытался выяснить хоть что-то существенное? Что именно поэтому он не сидел около шифровальщика и не изобретал срочных сообщений для Центра? Сказать было нечего. Сидел резидент, понурив голову, и ждал справедливой кары. Он знал, что любая кара может быть только справедливой, и не пытался отпираться и оправдываться. Разжалобить начальство он не хотел. «Я свое дело знаю и делаю его так, как могу, — мелькало в повинной голове. — Лучше не получилось. Объявите выговор, злее буду. Найдите кого-нибудь умнее, кто умеет с ходу врать».

Ничего этого он, разумеется, не сказал, а молчал, ус-тавя

взгляд в затейливый завиток карельской березы. Ее древесина скручивается так причудливо жестокими северными ветрами и морозами. Береза выживает.

Не было ни громов, ни молний, ни начальственного пустословия. Юрий Владимирович откашлялся, отсморкался (чувствовал он себя неважно), и пошел деловой энергичный разговор. Когда говорили по делу, в котором резидент разбирался, смутить его было трудно. Юрий же Владимирович любил слушать тех, кто в деле разбирался. Короче говоря, вышел резидент из ситуации с непорченой шкурой, а случись по-иному, ругал бы себя, а не начальство.

Андропов умер в феврале 1984 года, на пороге великих перемен. Необходимость перемен ощущали многие. Кричали о ней те, кто был далек от власти. Аюди при власти и у власти публично декламировали стертые лозунги, кто-то из них безусловно верил в незыблемость краеугольных камней, другие же каким-то сверхъестественным крысиным инстинктом уловили обреченность привычных порядков. «Гениальность военачальника во время гражданской войны состоит в том, чтобы своевременно перекинуться на сторону победителей», — съязвил какой-то забытый Генералом циник. Способных людей в России всегда было множество, способных на все. Почему-то больше всего их оказалось среди людей, профессионально занимавшихся вопросами идеологии: вторых секретарей обкомов и горкомов, преподавателей марксистской науки, деятелей идеологического отдела ЦК КПСС, штатных и внештатных сотрудников журнала «Коммунист» и газеты «Правда». Пожалуй, никогда и нигде в истории человечества не было столь массового отступничества жрецов старой веры. «Можно ли представить себе, — полемизировал сам с собой Старик, — что во времена наступления России в Средней Азии все мусульманские муллы вдруг в одночасье сказались бы православными попами?»

«Стоп, стоп! — подсказывала память. — А куда девались служители Перуна и других языческих богов, когда святой Владимир приказал Руси стать христианской? И куда девались православные, когда другой Владимир, но не святой, а просто Ильич, приказал России стать коммунистической?»

«Ну что ж, — рассуждал сам с собой несколько теряющийся Генерал, — видимо, официальная идеология немного значила в России. Приказали поменять убеждения — вот и поменяли. Да уж и после Юрия Владимировича вдруг разом поверили в общечеловеческие ценности и новое мышление. Строилась Россия по военному образцу, а у военных принято не рассуждать, но выполнять приказ. У русского человека исстари было две души:

одна для официального предъявления, другая же для себя». (Эту мысль Генерал позаимствовал у В. Ключевского и не переставал изумляться ее глубине.)

Экскурсы в историю всегда полезны, но Старик начал рассуждать про себя о прошлом, дабы избежать прямого ответа на прямой вопрос: были бы иными результаты перестройки, если бы страну возглавлял Андропов, а не Горбачев?

Хитра и увертлива человеческая душа. Пока можно было говорить о вещах очевидных, тех, которые несомненно были, Генерал не отрывал взора от бумаги, даже увлекся самим ходом письма. Прямой же вопрос заставил задуматься, а думать всерьез для самого себя всегда трудно, находчивость здесь неуместна. Вот и взглянул Старик окрест (устал, дескать, передохнуть надо).

Посмотреть же окрест было на что. На березах набухли почки, а кое-где и прорезались нежнейшие листики, так что весь лес казался слегка подкрашенным зеленым цветом, будто набросила на него чья-то добрая рука прозрачную вуаль. Снег давно сошел, и на грядках подняли лихие головы молодые сорняки: Генерал поленился как следует обработать землю осенью. Звенели над головой мелкие птахи, радуясь весне и жизни. Своей очень коротенькой жизни и очень короткой весне.

Так все же могла ли сложиться судьба нашего государства по-иному, проживи Юрий Владимирович еще лет пять-семь? Споры по этому поводу, особенно между людьми отдаленными от власти и не имеющими возможности к ней приблизиться, шли давно, примерно с 1987 года, когда стали обнаруживаться слабые стороны Горбачева. Уже тогда Генерал, еще работавший на власть, и следовательно на Горбачева, начинал задумываться о дефектах вождя. Достоинства были очевидны: способность говорить экспромтом на любую тему, физическое здоровье, оптимизм, свойственный людям с хорошим пищеварением, безмятежный взгляд в грядущее. Главное же преимущество генерального секретаря, а затем президента СССР заключалось в том безотрадном фоне, на котором он принял власть. Живой человек пришел на смену покойникам: Черненко, Брежневу и, увы, Андропову. Безнадежно больные руководили занедужившим государством. Генерал верил, что Юрий Владимирович сохранял ясность ума и твердость воли до кончины, но уж больно короткий срок был отмерен ему судьбой (или Богом? — в который раз поймал себя на ненужной мысли Старик).

Да, был вознесен на устрашающую вершину российской власти Михаил Сергеевич. Едва ли в апреле 1985 года ему припоминалось, что на этой вершине побывали Шуйский, Лжедмитрий, Петр III, Павел, убиенный революционерами

Александр И, расстрелянный Николай II, ошельмованный Никита Хрущев. «Конечно, уж Никиту-то он помнил, при нем начинал комсомольскую карьеру, — позлорадствовал Старик. — Едва ли у него было время вникать в русскую историю». (Можно укорить Генерала за это замечание. Поколение Горбачева воспитывалось на концепции борьбы масс за свое освобождение, там не было места рассуждениям о пакост-ности нравов правящей верхушки. Наставники пускали горбачевское поколение в историю только с этим условием — не вникать.)

Итак, Горбачев на вершине и где-то посредине, скорее даже в приближении к вершине, Генерал, осмелившийся судить о носителе высшей власти. Судить про себя, не прилюдно! Изредка, в разговорах с людьми проверенными, неспособными на доносительство, осмеливался высказывать он свои безрадостные заключения: во главе государства оказался безвольный, упоенный собственным величием и вселенской славой себялюбец. А сам Генерал? Он долго был зачарован радужными переливами, блеском живых глаз, человеческими интонациями генсека. Он был готов даже простить ему сказанную в Вене в 85-м году фразу: «Это соглашение ложит начало...». Дожит так ложит, если за неграмотностью есть здравый государственный смысл. Смысл был столь же неграмотен, как и фраза.

И тем не менее Генерал, служивый человек, подавлял все эти бунтарские помыслы, он ждал ясных указаний. Ничего подобного не было. Какие-то помощники генерального секретаря и президента неуверенно звучавшими голосами давали туманные распоряжения, все отчетливее проявлялась воля Раисы Максимовны — главы семьи Горбачевых. Михаил Сергеевич однажды сравнил страну с кораблем, идущим через штормы и туманы. Он держал в руках штурвал (романтический образ, столь созвучный душе бывшего артиста самодеятельности!) и воображал, что видит все мели и камни. Сладкие голоса прихлебателей и зарубежных знатоков человеческих душ пели ему хвалебные гимны, не было желания смотреть на путеводные звезды. Не сумел Михаил Сергеевич, подобно Одиссею, залепить уши воском, чтобы не слышать сладкоголосых сирен.

Но все же, Генерал, проживи Андропов дольше, ожидала бы иная судьба наше государство?

Любой ветеран Службы и КПСС, ни на секунду не задумавшись, ответил бы утвердительно. Почти любой. Нельзя винить ветеранов за то, что им проще мерить настоящее аршином прошлого. Вообще, если нет ясности сейчас, нет ее в будущем, то пусть она будет хотя бы в прошлом. Там все мы были сильны и молоды, зимы были холодными и снежными, летние месяцы

жаркими и сухими, водка дешевой и женщины красивыми. В ветеранских грезах и политический выбор был прост: живи Андропов, СССР оставался бы могучей супердержавой на страх врагам и на радость всему прогрессивному человечеству. (Идиотизм этого выражения — все прогрессивное человечество — так и остался неисследованным после победы демократии в России.) Горбачев — предатель, его сподвижники — Яковлев и Шеварднадзе — американские шпионы. С этой мыслью спокойно умирать, но трудно жить. Еще труднее примириться с тем, что Горбачев, Яковлев и Шеварднадзе были сподвижниками Андропова, что они все были птенцами одного и того же гнезда. Одного и того же инкубатора — аппарата ЦК КПСС.

А тем временем птички заливались все громче над самой головой Генерала. Редкие облака за кромкой еще прозрачного леса сгустились, окрасились розовым, застыли, и стало казаться, что где-то у горизонта стоит высокая горная цепь, как в Кабуле, Пешаваре, Тегеране. Храбрая синица стремглав метнулась с еловой ветви прямо на стол, за которым сидел, завернувшись в потертую дубленку, Старик, требовательно постучала клювиком по доске и так же стремительно исчезла.

Генерал заставлял себя вспоминать и думать.

Прежде всего надо восстановить то, что не может вызывать сомнения: Андропов ясно видел, что страна начинает все дальше отставать от своих международных конкурентов. Научно-техническая революция, изменявшая материальный облик мира, обходила Советский Союз стороной. Андропов подгонял и поощрял Службу. Служба напрягалась до предела, рисковала, добывала ценнейшую информацию, но плотно сколоченная, в своем роде идеальная, система отталкивала все, что родилось не в ее недрах, морщась, с отвращением глотала чужеземные новинки, а чаще выплевывала их. Такой прием на Руси когда-то встречала картошка, дело доходило до картофельных бунтов.

Система оказывалась совершенно неспособной угнаться за обещаниями, которые ее представители десятилетиями давали собственному народу. Непостижимо легкомысленное заявление Хрущева: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» — вызывало даже не усмешку, а тяжелые размышления. Все это Юрий Владимирович понимал и не случайно был первым за все века (!) единоначальником России, призвавшим сограждан задуматься и осмыслить, в каком обществе они живут. Всем его предшественникам, а затем и преемникам поставить вопрос таким образом не приходило в голову. Это всегда было печальным, зачастую тяжко наказуемым уделом оппозиции.

Таким образом, заключал про себя Генерал, можно быть уверенным, что Андропов понимал неизбежность и необходимость глубокой реформы всей государственной системы. У этого человека могла быть мечта, но не могло быть иллюзий.

Сомнения возникали дальше. Горбачев бездумно, не осмысливая последствий, подтолкнул страну в пропасть, на краю которой она оказалась отнюдь не по его, горбачевской, вине.

Мог бы Юрий Владимирович провести реформы иначе? Подобрать иной круг соратников и советников? Сдержать напор диссидентской интеллигенции? Сбить непомерную цену, которую впоследствии заплатил Горбачев за выход из международной конфронтации?

Однозначных ответов на эти вопросы не было. Андропов был деятелем иного калибра по сравнению с Михаилом Сергеевичем, иного прошлого, иного интеллекта. Пожалуй, аплодисменты заставляли бы его не ликовать внутренне, а досадовать на самого себя. В то же время Яковлев, Шеварднадзе, Горбачев вполне могли бы войти в его ближайшее окружение. Надо думать, что сумел бы Андропов смириться с возвращением в активную жизнь Солженицына и Сахарова, даже злого гения Сахарова — его жены Елены Боннэр. Проницательный прагматик, озаренный отсветом великой идеи, Андропов шел бы к реформации медленно, обдуманно, взвешивая риск каждого шага. Недуги, которые стала лечить хирургически, тупой пилой, руками алчных эскулапов «демократия», Андропов пытался бы излечить терапевтически. Возможно, мы пришли бы к тому же, но спокойнее и заплатив меньшую цену за счет народа. Все революции и контрреволюции оплачиваются народом.

(Смутно припоминал Генерал, по чужим рассказам, что прабабушка Наталья, баюкавшая его в младенчестве, застала крепостное право. За революции и контрреволюции, за чужие войны платили сполна все предки Генерала, сырой материал истории, русские незадачливые люди. «Чем же я лучше их?» — размышлял Старик.)

В конечном счете главный вопрос так и остался без ответа, однако Старик был уверен, что, доведись ему работать с Юрием Владимировичем до любого конца, он ни на минуту не усомнился бы в своем вожде.

ВЕСНА

Генерал, кажется, принадлежал к той породе русских людей, которые испытывают какое-то невнятное раздражение с наступлением тепла, с возрождением буйной зелени, с немыслимо ранними рассветами. Все вокруг кричит, что надо жить, надо радоваться очередному неизбежному витку жизни, надо забывать сумрачное снежное замороженное прошлое. Тянет к земле бремя прожитых лет, спокойнее и уютнее было размышлять в зимнем полумраке, радуясь редкому солнышку. Еще тяжелее груз лет, которые предстоит прожить, но, думал Генерал, он становится легче с каждым днем. И есть к тому же в настоящей ли или призрачной жизни Ксю-Ша — комочек непреходящего бытия, вестница вечности, воплощение человеческого (это в собаке-то?) печального тепла.

Надо заметить, что в довольно бурной и не вполне обычной жизни, которой он был обязан Службе, Старик пережил много горестных потерь. Уходили в небытие друзья, родные, незримые для мира помощники, рушилась казавшаяся незыблемой власть и единственно верная идеология («Учение Маркса вечно, потому что оно верно»). Ушло в историю великое государство, которому Генерал был искренне и бескорыстно предан. Оставались мелочи, из них складывался остаток жизни, едва мерцающий лампадным огоньком. Ксю-Ша, милый посланец из прошлого, придавала особый, еще не осознанный смысл нынешнему существованию Генерала. В его старой жизни было много волнующих мгновений, душа на миг возносилась на сияющие высоты или падала в пучину отчаяния, но прикосновение к золотистой шерстке, взгляд в бездонные умные глаза маленького вечного существа, наследницы тибетских тайн, успокаивал и примирял с прошлым, настоящим, будущим.

Утратить Ксю-Шу было нельзя, и она, умница, не покидала Старика. «Видно, не все в моей жизни было неправедно, если Ксю-Ша меня посещает», — думал он и суеверно боялся сглазить, спугнуть чудесное видение.

Боялся он напрасно. Ксю-Ша была частью его самого и могла исчезнуть только с ним самим. Генерал этого не знал. Если бы он ненадолго задумался, то непременно догадался бы, что, пожалуй, именно в незнании заключается главное, чем жив человек.

«Прежде, давно, в лета ранней юности, в лета безвозвратно мелькнувшего детства, мне было весело каждый раз подъезжать к незнакомому месту... Теперь равнодушно, безучастно гляжу на дорогу...» Свиридов и Гоголь...

«На годы, на десятилетия искренние слова и неброская русская мелодия определили не просто настроение, а восприятие жизни, — торопился записать случайно возникшее впечатление Генерал. — В далеком 75-м году, в пустой и гулкой квартире в басурманском городе Дели зазвучала для меня эта музыка, эти простые старинные слова. Мне было весело и бездумно шагать по жизни. Все было продумано за меня людьми мудрыми и всевластными, у каждой трудности было заранее заданное решение. Они похлопывали меня по плечу, когда я находил это решение, подсказывали, если я запинался, наказывали, если я искал неправильные, на их взгляд, пути. Все было просто. Потребовалось много времени, чтобы понять, что любой человек есть преимущественно сумма сомнений, предположений, ошибок, заблуждений, что всеведущие и всемогущие эти люди лишь пытались перекладывать тяготу своего неведения и неуверенности на наши плечи. Умудренность — это та цена, которую мы платим за утрату надежды на вечное блаженство, — «блаженны нищие духом». «Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом...»

Здесь автор, незримо наблюдавший за Генералом и терпевший все его мудрствования, не выдержал.

— Слушай, Старик!

Генерал вздрогнул и выронил перо, растерянно оглядываясь по сторонам. Ничего, кроме мелькнувшей синички да еловых лап и по-весеннему ярких облаков он не увидел.

— Слушай, слушай! Не прикидывайся дураком!

Генерал понял, что прикидываться нет смысла, притих и стал слушать.

— Ты ведь давно понял, что тебя обманывают и с твоей помощью обманывают других?

— Нет, недавно. Относительно недавно, — встопорщился Генерал. — Тому лет двадцать.

— Ты пытался ли хоть кого-то увести от обмана?

— Честно, пытался. Я никогда не врал своим подчиненным и партнерам. Кубинцы, немцы, Наджибулла...

— Лукавишь! Ты передавал им вранье Горбачева, делая вид, что сам ему веришь.

Возразить было нечего. Чужую ложь Генерал излагал убедительно, но до поры до времени, до того предела, когда она стала невыносимой.

— А ты спроси Бермудеса! Врал я ему? (На разъяснения Генерала о делах в Советском Союзе начальник кубинской разведки ответствовал кратко: «Todo claro» — все ясно.) Спросить Наджибуллу было нельзя: его окровавленный труп висел перед

воротами президентского дворца в Кабуле, прежде чем быть похороненным в Гардезе.

— А подчиненным? Ведь у тебя было несколько тысяч подчиненных, умных, грамотных, самоотверженных людей. Куда ты их завел?

— Мне хочется верить, что я был первым начальником, говорившим людям правду. Пусть они, а не ты меня судят...

На этой тираде Генерал запнулся. Показалось, что даже про себя, особенно про себя, наедине с памятью и совестью, такие декларации звучат хвастливо. Склонность приукрасить прошлое и преувеличить собственные заслуги или затушевать грехи свойственна всем без исключения ветеранам. Это вещь естественная, вроде седины или лысины, от ветеранской воли не зависящая. Плохие офицеры были, а плохих ветеранов в природе не существует. Все это Генерал узнал еще тогда, когда распоряжался чужими судьбами. Теперь распоряжаться было некем. Надо было на всякий случай разобраться с самим собой. На какой случай? В этом тоже предстояло разобраться.

Мы врем особенно убедительно тогда, когда верим лжи.

...В январе 1990 года, когда будущее великого государства было непознаваемым лишь для простаков, Генерал во главе группы умных и опытных людей направился в Прибалтику с очень ясной целью — взглянуть свежим взглядом на все там происходившее. Совсем недавно там побывал прирожденный оптимист Горбачев, а незадолго до того — А.Н. Яковлев, признавшие ситуацию вполне нормальной. Яковлев, как выяснилось, проводил «линию партии» публично, втихомолку же советовал нажимать на Москву поэнергичнее. Александр Николаевич, человек несомненно умный и опытный, прекрасно понимал, сколь весомы мысли, высказанные в расслабляющей банной атмосфере. Кстати или некстати, вспомнил Генерал, Яковлев был частым гостем Крючкова в приятной сауне, которой могла похвастать Служба. Что-то русское в Александре Николаевиче после долгих лет в идеологическом отделе ЦК КПСС и в Канаде все же оставалось.

Так вот, в январе 1990 года Генерал морочил головы десяткам своих сослуживцев и единомышленников. Он говорил им, что вот-вот будут приняты такие законы, которые сделают пребывание республик в составе Советского Союза неотразимо для них привлекательным. Он говорил еще, что Москва никогда не оставит тех, кто работал и работает на благо Отечества. Таковы были указания. Генерал верил человеку, который их давал, убеждал себя, что и этот человек не просто верит, но уверен, что его слова — правда.

Получилось так, что врали все, включая Генерала. Рассчитываться за ложь, столкнуться лицом к лицу с новыми прибалтийскими властями — потомками богатых свиноводов, домовладельцев и адвокатов — пришлось другим, тем, кто верно служил Отечеству.

Потом был Владивосток, смесь тумана с дождем, воздух сочился водой. Генерал разъяснял служивым людям, коллегам, суть решений XXVIII съезда КПСС. Здесь он не врал, подробно изложил все, что происходило на этом «судьбоносном» (ужасное чужеземное словечко fateful, подхваченное по-русски Горбачевым) форуме. От себя же добавил нечто по старым временам крамольное: мно-го-де и раньше было прекрасных постановлений, но непонятно на сей раз, как и кто собирается их выполнять. Умные слушатели вопросов не задавали. Генерала свозили на остров Русский, полюбовался он на удивительно прозрачную морскую воду да с тем и вернулся в Москву. От былых иллюзий не осталось и следа — только безнадежные простаки думали, что все образуется и будет катиться и дальше по проторенной колее.

Впереди оставался целый год. Генерал пытался подготовить своих соратников, коллег, друзей к мысли о том, что грядут великие перемены и наше настоящее стремительно уходит в прошлое. Так ли уж их это волновало? «Будем правдивы и признаемся, что если отобрать даже из законной и обычной армии тех, кто идет в бой только из религиозного рвения, а также тех, кто движим единственно желанием защитить законы своей страны или послужить своему государю, то из них едва ли можно будет составить полную роту солдат», — четыре с половиной века назад писал величайший знаток человеческой души Монтень. Едва ли порадовался бы он бесчисленным доказательствам своей правоты.

Генерал, как обычно для русского человека, постигал неоспоримые истины задним умом. Во Владивостоке, туманном и далеком, убеждал он людей в том, что они давным-давно узнали и поняли раньше его. Если бы кто-то задал им цель и сплотил единой волей, пожалуй, из них можно было составить не только полную роту, но несокрушимые полки. Единой воли не было: русский служивый человек привык ждать приказа, а без приказа полк оказывался стадом баранов.

«Мы готовы умирать, — писал забытый русский военачальник, — но укажите нам место, где мы должны стоять насмерть.»

Рубежом были туманнейшие общечеловеческие ценности, на которых Михаил Сергеевич собирался въехать в мировую историю. Случилось так, что легче было отстоять

общечеловеческие интересы немцев, израильтян, американцев; русский же народ оказался лишним на этом вселенском празднике гуманизма. «Гуманитаризма? Гуманности?» — спросил себя Генерал. Слова «гуманный» и «гуманность» куда-то исчезли, осталось «гуманитарный».

Но бог с ними, со всеми этими вопросами языкознания, — новая власть переводила на русский язык чужие понятия. Ни русским, ни чужими языками в должной мере она не владела. Получалась смесь французского с нижегородским, к чему каждый исконный русский человек издревле относился снисходительно — уважал, посмеиваясь.

Толкнулась в ногу Ксю-Ша, золотистая шерстка, хвост баранкой, глазки бездонные, непостижимая вечность за ними: «Корми, хозяин!».

«Вот она, непреходящая общечеловеческая ценность», — мелькнуло в стариковской голове. Мелькнуло и забылось — побежал он смешной, ковыляющей рысью на кухню, где лежали специально для собачки заготовленные оттаявшие сосиски. Старик был уверен, что Ксю-Ша появится и попросит есть. Как все живое...

* * *

Автор, alter ego Генерала, боится, что его потомки (Ира, Сережа, Леня, Таня) подумают, что все описанное он изобрел, измыслил. Милые человечки! Во всем повествовании нет ни грана выдумки. И Ксю-Ша была. Она еще посетит кого-то из вас. (Не бойтесь. Это доброе существо.)

«НЕ ВОРУЙ, НЕ ВРИ...»

Всю свою активную служивую жизнь Генерал плыл по течению. Кстати, думалось ему, служивая жизнь началась гораздо раньше его перехода в Службу в довольно зрелом возрасте. Советское общество было прекрасно организовано, и человек начинал служить великой идее, великому Отечеству, а короче и проще — товоднешней власти со вступления в пионеры. В суровые военные годы в тех школах, где учился будущий Генерал, никаких признаков пионерии не было (хотите верьте, хотите нет, но именно так). Служба началась в 7-м классе, прямо с комсомола. Подошел секретарь и предложил вступить в ряды юных коммунистов.

— Игорь, — сказал честный Леня, — в комсомол принимают с четырнадцати, а мне всего тринадцать.

— Ничего, — сказал комсомольский секретарь Игорь, — мы тебе год прибавим, проверять никто не будет.

— Ладно, — сказал честный Леня и написал стандартное заявление: «...хочу быть в первых рядах...», после чего со спокойной совестью пошел играть в футбол в школьном коридоре. Мячом был старый носок, туго набитый чем-то мягким. Выбить стекло им было невозможно, а учителя тогда снисходительно относились к забавам учеников. Особенно в Марьиной Роще и подобных ей окраинных московских районах.

Хочешь? Твое желание сбылось. В твоих руках новенький комсомольский билет с твоей фотографией (первой официально!) на внутренней странице обложки, ты платишь неизвестно с каких доходов двугривенный в месяц, ты признан полноправным, хотя и юным, членом советского общества. Да и не просто так, а «в первых рядах...». Экая мелочь, соврать вместе с Игорем всего-то на один год. Зато документ с фотографией.

В утешение свое Генерал придумывал, что, будь он на сколько-то годков постарше, он точно так же соврал бы, чтобы попасть на фронт. Вполне возможно. Думать рационально Старик научился, если научился вообще, после отставки, когда изменить ничего нельзя ни в своей, ни в чужих судьбах. До этого он плыл по течению, следовательно, врал бы без колебаний, лишь бы быть как все. «В первых рядах...»

Дома врать было нельзя. В убогой, пыльной, деревянной, дурнопахнущей Марьиной Роще смертных грехов было всего три: врать, воровать и брать в долг без отдачи. Все остальное прощалось. Нельзя было и ябедничать, но это уже относилось к школе.

«Да, кажется, — писал отставной Генерал, — в школе тех моих стародавних времен даже понятия такого не было — ябеда. Знали мы о нем из каких-то книжек да кино, и казалась ябеда чем-то придуманным, невозможным в настоящей жизни. Откуда было мне и моим приятелям знать, что ябеда, донос с незапамятной старины были неотъемлемой составляющей русской действительности. Это знание пришло много позже, когда душа и совесть несколько задубели и могли спокойно воспринимать неприятные стороны отечественного бытия. Лишь в 89-м я узнал, например, что в мрачном 37-м году четыре миллиона соотечественников обратились в «компетентные органы» с поклепами на такое же или даже большее число других соотечественников.

К счастью, в Марьиной Роще жили люди по преимуществу мастеровые, никакой власти или политике непричастные, у них не было резона держаться за свое место нечестными способами (куда денется место сапожника, портного, слесаря?) или убирать начальника, ибо начальников у них не было. Так они и прошли мимо репрессий, чисток, расстрелов, неожиданных карьер и трагических крахов выдающихся личностей. Припоминаю, что и к тогдашнему вождю, товарищу Сталину, отношение в Марьиной Роще было не то что скептическим, а просто безразличным. В нашей повседневной жизни он присутствовал — в каждой почти комнате висела черная тарелка радио, но как нечто действительно существующее

Сталин едва ли воспринимался теми, кто воевал, кормил свои семьи, иными словами — выживал.

Вот именно здесь и начал обозначаться разлом — надуманный, несущественный, не имеющий практических последствий разлом между старшим битым* перебитым, тертым-перетертым поколением и молодой, воспитанной советской школой порослью.

Нам так много врали, что ложь становилась реальностью, а реальность — четверо, шестеро жителей в темной каморке, непролазная грязь в воровских переулках, галоши по талонам — реальность представлялась мимолетной случайностью, всего лишь по чьему-то недосмотру заброшенной прихожей сверкающего дворца будущего.

Мы, рощинские ребятишки, читали «Тимура и его команду», михалковское «Сомбреро», какие-то другие сочинения о славных делах передовых советских мальчиков и девочек. Жили они в сказочной стране, соприкасавшейся с Марьиной Рощей, но недоступной для нас, маленьких людей в чистеньких, но штопаных-перештопаных одежках».

«Мимолетной мечтой моего детства, — писал Генерал, — была стеганая серая телогрейка. Казалось, что ничего моднее, уютнее, теплее, удобнее этого каторжного одеяния и быть не могло. Сам донашивал старые вещи, ходил в перелицованном (это слово, к счастью, ушло из русского языка, хотелось бы, навеки) пальто и завидовал счастливым обладателям телогрейки. Сомбреро...

Нам много врали.

Владимир Иванович, член ВКП(б) с 1931 года, прошедший действительную службу и Великую Отечественную от звонка до звонка, вернее от первого пушечного выстрела до последнего, слушал как-то восторженный монолог свежеиспеченного комсомольца, своего сына, будущего Генерала. Юный комсомолец восхищался И.В. Сталиным.

— Да, этот армяшка еще натворит бед, — спокойно, но со скрытой ухмылкой заметил отец. Кажется, ему хотелось проверить реакцию своего отпрыска.

— Папа! — возопил отпрыск — Перестань! Что ты говоришь?

Тень Павлика Морозова еще витала над страной, вдохновляла молодые души. Вместо того чтобы дать ретивому юнцу заслуженную родительскую затрещину, Владимир Иванович промолчал. Очередная маленькая, неприметная победа лжи. Отец побоялся поговорить с зарывающимся сыном. Пожалел? Может быть. Умен был Владимир Иванович и не захотел совращать родную поросль. Простакам легче жить. Проще. Умные люди это понимают.

Удивительно, как далеки от семейного круга были «великие свершения». Родители, бабушки Евдокия Петровна и Елена Ивановна, многочисленные дядья и тетки чтили все тот же ветхозаветный кодекс: не ври, не воруй и не бери в долг без отдачи.

«Не ври» не означало, что нужно всегда говорить правду. Иногда следовало помолчать.

В Марьиной Роще не было ни рощ, ни зеленых кущей, ни стадионов, ни клубов, где сознательные мальчики и девочки могли бы культурно проводить досуг. Жизнь сосредоточивалась во дворах, рядом с помойками и «удобствами». Весеннее солнце сгоняло снег, и на первых же островках сухой земли развертывались азартные баталии: играли в «расшибалку» (для лихости говорили «расши-бец»), «пристенок», «казенку». Играли отличники и двоечники, первоклассники и десятиклассники, хулиганы и тихони. Играли на деньги. Деньги выклянчивались у родителей, ибо самостоятельных доходов ни у одного из игроков не было. Летними вечерами народ постарше шел на танцы в

Останкино, мелочь усаживалась стайкой на лавочке и развлекалась как могла до тех пор, пока не раздавались в сумерках голоса мам: «Катя! Домой!» — «Ну ладно, ма! — ноет Катя или Люся, — еще рано!» — «Сказано, домой! А то получишь по жопе!». Кате (или Люсе) неудобно, она взрослеет, здесь мальчики. Она фыркает и уходит, чтобы устроить маме скандал. В этот момент раздает-с я топот, из-за угла выскакивают два подростка и плюхаются на лавочку. Нам они хорошо известны — отчаянная шпана, с которой не приведи бог связываться. Из-за того же угла вылетают двое запыхавшихся взрослых. Они на миг приостанавливаются: «Ребята! Никто не пробегал?». На ребячьих невинных лицах недоумение, мужики возобновляют бег и исчезают. Двое жуликов, не торопясь, поднимаются и уходят в другую сторону.

Мы не совсем соврали, ибо никаких слов сказано не было, но не сказали и правды. Уже тогда мы жили в безжалостном мире. (Два жулика выросли в воров и затерялись в тюрьмах. В Марьиной Роще все знали всех. Жуликов не пожалели. Так им и надо! — постановило общественное мнение.)

Случай с жуликами был не уроком, а неким промежуточным экзаменом. Ценой сказанной правды была бы пробитая голова: в те времена ворье было неизмеримо мельче, чем ныне, но мстительность была неизменной.

Не врать в делах семейных, дружеских, житейских. Осмотрительно обращаться с правдой, особенно если дело как-то связано с властями. Таким образом, старинная семейная заповедь «не врать» несколько уточнилась, сузилась.

Мы не лицемерили, оплакивая смерть Сталина. (К тому времени Владимир Иванович скончался.) Его наследники лгали нам. Масштабы их лжи мы смогли оценить позже.

Мы, первокурсники, утирали честные слезы. Нам-то казалось, что над Отечеством нависают свинцовые тучи беды, ибо ушел от нас Великий Вождь. («...Умер водитель народов Атрид, я же, ничтожный, живу...» Гумилев горевал по последнему российскому императору. Будь у нас поэтический дар, мы в порыве вдохновения написали бы что-то столь же взволнованное на кончину Сталина. Увы, дара не было, и Гумилева Генерал прочитал много лет спустя. Ошибались же они — Гумилев и сверстники будущего Генерала — в равной мере. Им врали, и они верили лжи.)

Удивительно доверчив может быть человек, особенно если он рос в среде, вранья не поощрявшей.

В июле 1953 года погожим летним днем совсем молоденькие пионервожатые и их столь же несмышленые подопечные радостно

уничтожали портрет английского шпиона и вообще нехорошего человека Лаврентия Берия. Тугая струя из шланга била в неприятную лысину, в пенсне, в острые глаза за этим пенсне, смывалась краска, и исчезало изображение немыслимого злодея, прокравшегося какими-то тайными тропами в самые верха нашего Отечества. Выставь злодея на площади, дай нам в руки камни и скажи: «Узы его!» — мы так же радостно забили бы его до смерти. Обошлось без нас. Тайком судили и тайком казнили. Молодежный вердикт был — так ему и надо, английскому шпиону и развратнику. Думать было недосуг.

Задумываться начали немного позже, когда наш Никита Сергеевич приступил к развенчанию Сталина.

Уничтожение кумиров тягостно для стариков, молодежь оно если не радует, то развлекает. Однако и мысли всякие стали появляться: не на пустом же месте выросли Сталин и Берия? Нет ли у «культа личности» каких-то органических корней? Может быть, что-то неладно с самой организующей и направляющей силой нашего общества?

Пожалуй, хорошо, что не вылезли мы со своими незрелыми мальчишескими рассуждениями на каком-нибудь комсомольском собрании или, скажем, семинаре по марксизму-ленинизму. Сложности соотношения «правда и власть» отложились в подсознании накрепко. Оказалось, инстинкт не подвел. Кое-кто из старших (остались в памяти две обнародованные фамилии — Мордвинов и Шаститко) высказали свои сомнения публично, за что и были подвергнуты суровому партийному порицанию. Времена были неуверенные, их не стерли в порошок, не изгнали за пределы Отечества, не загнали в лагеря. Бывали такие моменты в России, когда власть, сомневаясь в самой себе, позволяла жить еретикам, крамольникам и просто скептикам. Бывали они нечасто.

Кстати, Петра Шаститко будущий Генерал знавал. Румяный, бодрый, одноногий аспирант Института востоковедения как-то посоветовал толковому студенту перевести с языка урду на русский книжечку сэра Сайд Ахмад Хана «Асбабэ-багаватэ-хинд» («Причины индийского мятежа»). Уж не упомню, была ли книжка, необходимая для кандидатской диссертации Шаститко, переведена полностью, но первая ее фраза навеки осталась в памяти: «Я мусульманин, и в моих жилах течет арабская кровь».

История разоблачения «культа личности» и ее частные последствия даже не напомнили, а скорее укрепили настороженность к соотношению «власть и правда». Можно было сомневаться и даже негодовать про себя, в компании с приятелями, но, упаси Господь, отступить от линии партии вслух.

Время доносов в ту пору в основном прошло, но осечки бывали. Миша Кашкаров, индонезиец, спросил в перерыве между лекциями: «Знаете самый длинный анекдот? Это речь Хрущева на XXII съезде. А самый короткий? Коммунизм». Брякнул и забыл. На его беду пересказала эту байку наша сокурсница Женя Л. своему мужу, заведующему кафедрой марксизма-ленинизма Дмитрию Владимировичу Е. У институтских властей не хватило духу подвергнуть «богохульника» публичному судилищу. Разобрались с ним втихомолку, лишили заграничной практики и распределения в МИД. Нравы определенно смягчались. Начальство с некоторым риском для себя уже осмеливалось заминать невыгодные для себя политические инциденты.

Нас приучали ко лжи. Неспособных выкидывали.

Так и поехало. Не ври, но и не говори правду...

Слаб человек. Думать он может обо всем: о торжестве всемирной справедливости, о достойной честной жизни для всех, о сокрушении подлости... Пожертвовать собой? Едва ли. То же соотношение власти и правды и еще — инстинктивного желания выжить, просто жить.

(Подсчитал ли кто-нибудь, сколько нормальных людей и клинических психопатов было среди тех, кто бросал вызов советской власти?)

В молодой жизни все было бездумно прекрасно. Так и должно было бы быть у всех молодых людей. Жена — родственная душа и теплое, такое желанное сладкое тело. Первенец— горластый малыш. Одоме надо думать, о крыше над головой. Пропади они пропадом, те, кто наверху. У них амбиции, у них власть, они никогда не задумают-ся о судьбе простого русского человека. Очень много лет потребовалось, чтобы осознать эту простую истину.

Власть и правда, служба и совесть, начальство и закон.

Служивый человек постепенно постигал сущность этих дилемм и, поскольку жить ему непонятно по каким причинам хотелось, отдавал предпочтение первой части — власть, служба, начальство.

В жизни Генерала, в его молодости, был ослепительный период. Сплелись воедино интересы Отечества, Службы, сотрудника Службы, чудесный воздух предгорь-ев Гималаев, кружащее голову ощущение успеха. Удивительно как-то получилось. Начинающий офицер Службы оказался один — без начальства, без партийной организации и месткома с женсоветом, без обязательных совещаний и собраний, без шифрованной связи. Были у него жена с двумя ребятишками, сторож Кала Хан, «чистый», то есть не связанный со Службой посольский приятель

Виталий Микольчак. Была машина — серенький «Хиллман» и несколько негласных помощников, как говорилось и писалось в Службе, «из числа иностранцев».

Сотрудник Службы набирается опыта и самомнения до первого провала, затем остается только опыт. Провалы — несмертельные — были еще впереди. Опыт же накапливался стремительно.

Будущий Генерал, а в ту пору старший лейтенант, шел по темной загородной дороге в туземных сандалиях, чаппаль, на босу ногу, обмотав верхнюю часть туловища и голову покрывалом, позаимствованным с семейной постели. Изредка встречались местные путники, одетые точно таким же образом: дело было поздней осенью, даже зимой, и бедный люд заматывается по макушку в домотканую ряднину. Очень внимательный наблюдатель мог бы заметить отличия в походке настоящих местных жителей и замаскированного чужеземца. К счастью, такого наблюдателя не было и быть не могло. Старший лейтенант позаботился об этом.

Дело было простым: перехватить агента у тайника, сказать ему условную фразу, означающую, что спокойная жизнь кончилась, что надо бежать. Была во всем этом оперативная недоработка. Чрезвычайные ситуации должны предусматриваться. На такие случаи существуют условности — телефонный, скажем, звонок, когда звонящий просит позвать какого-то несуществующего человека и спокойно вешает трубку, услышав, что он набрал неправильный номер. Условностью может быть и припаркованная в определенном месте машина, и меловой значок на заборе. Личная встреча при чрезвычайных обстоятельствах означает непомерный риск.

Как-то так получилось, что в условиях связи сигнал опасности был предусмотрен, но уверенности, что объект воспримет его с должной серьезностью, не было.

Отсюда указание, доставленное специальным гонцом из резидентуры, — разъяснить объекту суть возникшей чрезвычайной ситуации и убедиться, что он ее понял и исчезнет, прежде чем до него доберется контрразведка.

Старший лейтенант, будущий Генерал, залег в колючих кустах на пригорке, нависшем над тайником, и стал терпеливо ждать. К сожалению, никто его не учил умению терпеливого ожидания, а оно, пожалуй, было одной из основ профессии.

По тропинке в десятке метров от укрытия проходили какие-то люди, негромко переговаривались, запах туземных сигарет, бири, тревожил обоняние, хотелось курить. Белолицый человек, закутанный в пестрое покрывало, ждал терпеливо и дождался.

Неспешной походкой шла к тайнику знакомая фигура — среднего роста худощавая персона, отчетливо видная в лунном свете.

«Али! Аре, Али!» — негромко крикнул Генерал. От неожиданного оклика человек подпрыгнул, замер, готовясь кинуться в сторону.

«Али! Не бойся! Мат даро!» — чистое пуштунское произношение, некое подобие кавказского акцента в русском языке.

Выручил акцент, Али узнал своего друга. Во время нечастых встреч общались они на смеси английского и урду, которым Генерал владел не хуже Али, ибо тот был бенгальцем.

Две минуты шли вместе неясные фигуры, обмотанные с головы до колен рядниной, и разошлись. Сколько раз это было? Разошлись, чтобы никогда больше не встретиться.

Рядовой, случайный эпизод. Человеку свойственно очищать свое прошлое от неприятных наслоений. Вот и показалось Генералу, что там, вдали от Родины, азиатской осенью не было вранья. Некому было врать и незачем. Все было кристально ясно. Честная работа. Жизнь возвращалась к детской Марьиной Роще. Не ври, не воруй, не бери в долг без отдачи!

Дома надо было врать и верить чужому, начальственному вранью.

Были же они, все это начальство — Сахаровский, Мортин, Попов, Медяник, Крючков, Соломатин, Ерохин — простыми русскими людьми. Кто-то еще заставлял их врать. Ум, честь и совесть нашей эпохи?

Азиатская прохладная, благоухающая сухими травами, сияющая огромной луной на черно-бархатном небе осень. Ласкова была она к молодому, подвижному («волка ноги кормят»), амбициозному чужестранцу.

Старик отодвинул исписанные листы и прислушался. Сквозь открытую форточку доносился неумолчный тупой гул машин, прорезаемый время от времени воем то ли милицейских машин, то ли карет, как говорили раньше, «скорой помощи». Это уже было напоминанием о другой, тегеранской жизни, об исламской революции. Слякотно и холодно было за окном. Где-то далеко ежился в предзимних холодах уютный дачный домик. Дела медицинские держали Генерала в Москве, а душа рвалась к безлистным березкам и осинкам, к тонкому ледку на лужах, к несокрушимой зелени елок.

И Ксю-Ша не любит город, и, может быть, сейчас она скулит у закрытой двери. Эта мысль была невыносимой. «Заведи себе собаку, и пусть она будет при тебе эталоном. Калибратором

совести», — написал когда-то малоизвестный литературный гений Т. Пинчон.

Никаких других эталонов у Генерала не оставалось. К милой рыжей собачонке был он привязан душой, сердцем, всей прошлой жизнью. «Ксю-Ша! Где ты?»

Автору, с сочувствием и сожалением наблюдающему Генерала, кажется, что за годы отставки он несколько утратил способность осмысливать серьезные явления жизни. Раньше у него такая способность была, он с первого взгляда отличал хорошее от плохого, доброе от злого, искренне негодовал и искренне радовался, ибо все было кристально ясно, не все можно было говорить вслух — это тоже было совершенно ясно. Важно было ощущение правоты своего восприятия действительности. «Учение Маркса вечно, потому что оно верно» (В. Ленин). Лучше не скажешь, и молодой человек, никаких других учений не знавший, был готов на смертный интеллектуальный, а если потребуется, то и рукопашный бой с любым, кто осмелился бы в этой истине усомниться.

Или, немного позже: «Мирное сосуществование есть форма классовой борьбы». Тоже было все предельно ясно: немного пососуществуем, а потом мы их, капиталистов, закопаем, потому что у нас все лучше, чем у них, и одураченные народы мира это вскоре поймут.

Много, бесконечно много примеров единственно правильного мышления мог бы привести автор, но можно суммировать все немногими словами: оба они, и Генерал, и автор, были просто-напросто наивными молодыми дураками, которым хотелось верить в честность и мудрость своих вождей, дабы не было «мучительно больно», и т.п.

Верхи не могли не врать, низы не могли позволить себе не верить.

С годами все усложнилось. Думал Генерал без горечи, без желания кого-то осудить, а кого-то обелить, что лицемерие остается основой любого человеческого сообщества. Жил сотни четыре лет тому назад совершенно непостижимо совестливый и умный человек Мишель Монтень, изрекший: «Если все будут говорить правду, то в мире не останется и четырех друзей».

Как-то неприметно сложился вывод: ошибка и ложь есть фундаментальные категории человеческого бытия.

Размышления по этому поводу были мучительными. Генерал пытался осмыслить последствия этого сомнительного вывода, пытался проверить его истинность, пытался найти выход для честного, разумного русского человека. Ничего утешительного не выходило. Не может выжить общество, основанное на

совершенной честности и открытости. Не может позволить этого сама природа человека.

Заклинившись на соотношении правды и жизни, Старик прибегал ко всяческим ухищрениям: пил только крепкий, очищающий разум, индийский высокогорный чай, переходил на известный, высвобождающий русскую душу напиток, не пил ничего, кроме молока. Итог был один: совершенно честного способа выжить ни одна человеческая общность, кроме семьи, кроме двух-трех друзей, не имеет.

Возникавшее было намерение припомнить все случаи, когда Генерала обманывали, а он, в свою очередь, обманывал подчиненных, незаметно исчезло. Об этом где-то, когда-то он уже рассказал. Растравливать душу не было смысла.

Дело шло к ночи, но за окном так же выли машины, так же неведомые люди мчались неведомо куда по своим загадочным делам.

«Кому повем печаль мою, кого призову к рыданию?»

«Shut up! — сказал себе Генерал. — Заткнись!». Время от времени он начинал думать на иностранном языке и говорить на нем сам с собой: «Shut up!», «Чуп рахо!», «Хамуш!».

Жизнь жестока, мы не имеем права быть мягкими.

За окном выли бездушные машины с бездушными водителями.

Напишет ли кто-либо когда-нибудь историю вселенской лжи не для того, чтобы разоблачить, но понять ее глубинные истоки?

ВЕТЕРАНЫ

Раз или два в год Генерала оповещали о собрании Союза ветеранов Службы. Обычно Старик долго раздумывал, пойти или не пойти. Время у него было, он наконец-то распоряжался самим собой, не имея иных начальников, кроме Бога. Конечно, это была всего лишь приятная иллюзия. Пока человек жив, любая российская быстротекущая власть может найти сколько угодно способов сделать его бытие невыносимым. К счастью, последние годы власть была занята своими делами: делилось непостижимо огромное богатство, накопленное русскими не за десятки, а за сотни лет ценой десятков миллионов жизней. Власть, которая поначалу подозревала было Генерала и его приятелей в покушении на соучастие в грабеже и следила за ними бдительным оком, через два-три года поостыла. Было не до стариков.

Тем не менее зримых начальников или хозяев его судьбы у Генерала не было.

После звонка из Союза начинались тягучие размышления: не пойти, так подумают, что обиделся или возгордился. И то и другое было бы неприятно. Пойти, смотреть на седины и лысины, не узнавать людей, с которыми когда-то работал? Переживать, что тебя не пригласили в президиум? Радоваться за людей, сидящих в этом самом президиуме, вспоминать, что они были твоими приятелями, а теперь вспоминают тебя (ты, к сожалению, жив) как невидимую миру занозу в их душах? Почему? Ни они тебе, ни ты им ничего не должен. Все счета были оплачены в прошлом.

Здесь вновь возникало не очень приятное для Старика обстоятельство. Как и все, он мерил людей на свой аршин. От этого никуда не денешься. Почему-то Старик думал, что в смысле человечности, доброго отношения к коллегам и вообще людям его преемники могли быть хуже его. Он вспоминал Якова Прокофьевича, Юрия Ивановича; не очень охотно, но честно признавал, что в человеческой и в то же время не мешающей делу доброте он им здорово уступал. Почему бы новое поколение не могло быть лучше его?

Кончалось дело тем, что Старик надевал свой праздничный костюм, купленный много лет назад в гигантском магазине во Франкфурте-на-Майне, критически оглядывал складку брюк (она стойко держалась в приличном состоянии). Выбирал из старинного хлама умеренно пестрый галстук, бывший в моде лет пятнадцать тому назад, долго и тщательно чистил ботинки, тоже

купленные в доисторические времена в Париже. Все эти пустяки приводили Генерала в приподнятое, несколько раздраженное настроение. Противное ожидание какого-то афронта и не менее противной готовности постоять за себя.

«Суета сует... томление духа», — пытался подсказывать Генералу автор.

Старик соглашался с готовностью, он понимал свою неуместность и заранее с ней смирялся, но гордыне не прикажешь. И, конечно уж, нельзя было надеяться, что появится под рукой Ксю-Ша. Только она могла показывать все былое, настоящее и будущее в их справедливом соотношении. Генерал уходил в многолюдное беспокойное одиночество. Едва ли кто-то из прохожих на оживленной Тверской замечал его, ветерана, надутого чувством собственной значимости и озабоченного тем, чтобы не ступить случайно в лужу и не запачкать ботинки. Тяжелая, на резиновой подошве обувь, забрызганная московской грязью, — безошибочный признак того, что человек ездит на городском транспорте, а это в каком-то смысле показатель социального статуса индивидуума. В каждом обществе есть такие почти неприметные для постороннего символы. Демократические начальники, преуспевающие бизнесмены, деятели культуры отличались недавно заимствованным на Западе вниманием к мелочам экипировки, к аксессуарам туалета и внешней благообразности. Уж они-то в замызганных мокроступах на публику не явятся.

Генералу, когда-то привыкшему к персональному казенному транспорту (машина подъезжает прямо к парадному подъезду, кто-то распахивает дверцу, кто-то, вежливо улыбаясь, проводит прямо в подъезд, а там в специальную, для начальства, раздевалку), осваиваться с новой жизнью было непросто. Правда, еще будучи приближенным к вершинам власти, но не забывая плебейского своего происхождения, Генерал напоминал самому себе, что рано или поздно ему придется вернуться, в смысле житейском, к истокам. «Из праха ты вышел...»

Такими вот мелочными рассуждениями и занимался Старик на недолгой дороге к бывшему клубу им. Ф. Э. Дзержинского на бывшей улице Дзержинского, а теперь вновь Лубянке. Надо было сесть в любой троллейбус от Большой Грузинской до Пушкинской, пересесть в метро и, пожалуйста, одна остановка до Кузнецкого, а там несколько минут пешком до клуба. Удивительно, но на всем пути встретился лишь один нищий, одичалого вида человек, дремавший, спавший или уже умерший на каменных ступенях подземного перехода под Тверской близ дорогого отеля «Палас». В переходе на Пушкинской нищих не

было. Стояли женщины, торгующие хлебом, пивом и колбасой, щенками и умилительными котятами, начинались дальше недешевые торговые ряды, сбивались в кучки сомнительного вида совсем молодые люди. Во всем ощущалась чья-то невидимая организующая воля.

Нищих не было. Человек даже с небольшими деньгами мог чувствовать себя здесь спокойно. Генерал не собирался ничего продавать или покупать, но небольшие деньги у него при себе были, и чувствовал он себя вполне уверенно, тем более что до метро удалось донести ботинки незапятнанными. В новой жизни это была маленькая победа.

Торговля на Кузнецком была столь же энергичной, что и на Пушкинской, но здесь в мешанину импортных товаров встревала отечественная квашеная капуста в прозрачных пластиковых мешочках и книжная торговля. Видимо, при всех коловратностях коммерческой и политической судьбы Кузнецкий невольно стремился сохранить свое место одного из интеллектуальных центров столицы. Тротуары здесь, однако, были погрязнее, чем на Пушкинской, а организующая рука несколько слабее.

Кузнецкий идет к Лубянке с заметным подъемом. Для молодого, полного сил и расчетов на будущее человека эта выпуклость на земной поверхности ни малейшей трудности не представляет. Когда-то Генерал, бодро шагая мимо приемной КГБ СССР, даже не задумывался, что он преодолевает тягучий подъем. Все дороги вели вверх, дыхание было ровным, и сердце билось в такт с чувством высокой ответственности за судьбы государства, то есть без перебоев и сомнений. «Прежде, давно, в лета ранней юности...»

Теперь идет Старик ровным, нарочито неторопливым шагом и рассчитывает оказаться у светофора к красному свету, чтобы перевести дыхание перед последним броском. Москва — его родной город, ее ритмы ему известны, и светофор на углу старого, для кого-то зловещего, а для кого-то доброго здания начинает мигать зеленым светом: «Передохни! Пусть проедет вся эта орава! Я позволю тебе неспешно пройти через полминуты».

Времени достаточно, чтобы закурить, затянуться, посмотреть на серую громаду Лубянки, вспомнить без сожаления и без радости, что здесь был стержень твоей жизни. С этой стороны, с Кузнецкого, Генерал не мог увидеть окон своего кабинета. Для этого надо было вый' ти к книжному магазину на Мясницкой, бывшей Кирова, задрать голову и искать окошко на седьмом этаже, справа. Можно было смотреть и на девятый этаж, тоже справа. Там начиналась оперативная жизнь. Между девятым и седьмым этажами пролегала четверть века, вечность, сотни и

тысячи людей, событий, радостей и горестей.

Светофор загорелся приветливым зеленым огоньком, воющее стадо автомобилей уткнулось в невидимую черту и затихло. Старик не спеша перешел Лубянку, повернул влево, посмотрел на неприлично пеструю витрину «Сорокового» — лубянского гастронома — и юркнул в двери бывшего клуба им. Ф.Э. Дзержинского. Нынешнее название этого учреждения он не знал и узнать его не пытался.

В фойе было, как обычно, многолюдно и пахло табачным дымом. Для ветеранов делалось негласное послабление, и они могли курить здесь, около вешалок, а к концу мероприятия даже в буфете. Курильщиков в Службе было много, несмотря на притеснения, которые они терпели от лишенных этого пристрастия начальников. В свое время Генерала развлекало наблюдение за участниками разного рода межведомственных совещаний. Реже всего курили руководящие работники ЦК КПСС, почти вровень с ними шли крупные дипломаты. У военных и представителей Службы курильщиков было заметно больше. Неужели они меньше дорожили своим здоровьем или страдали слабоволием? Кстати, отмечал в ходе этих пустяковых наблюдений Генерал, многие сотрудники Службы бросали курить по получении генеральского чина. Видимо, они начинали сознавать ценность своей жизни и стремились продлить ее во благо Отечества.

Все мысли делились на нужные и пустые. Размышления о табакокурении относились к последнему разряду, и тем не менее Старик не без удовлетворения отметил, что множество ветеранов спокойно предавалось этому пороку. «Пенсионер — дыра в государственном кармане.

Курением мы даем акцизную прибыль государству и сокращаем свою истраченную жизнь. Курить — долг каждого ветерана». Тяжелая шутка.

Генерал потолкался около книжного лотка; не сумев протиснуться через плотно сомкнутые спины (ветераны Службы отличались любовью к книге), пошел по бесконечному пространству фойе к залу. Партер был полон, и пришлось устроиться в быстро заполнявшемся амфитеатре. «Я всегда был просто опером, исполнителем, человеком, который любил свою работу и находил в ней свое призвание. Совершенно правильно, что я вновь вернулся в это состояние. Я один из этого множества, здесь мое место», — так растолковывал себе Старик, усаживаясь в удобное кресло где-то в тридцатом ряду мрачноватого зала. Впервые в этом зале он оказался в конце 1962 года, и тогда уже поразил его коричнево-желтый декор обширного помещения. С

годами он к нему привык.

Собрание Союза тем временем было объявлено открытым, над сценой висела непривычного вида двуглавая птица, председатель Союза Владлен Николаевич неспешно перечислял достижения последнего года: выдано столько-то пособий, похоронено столько-то достойных членов Союза, почтить минутой молчания… Все встали. Слеза застряла в горле: из полусотни почивших Генерал был хорошо знаком по меньшей мере с десятком. Кое-кто из них был моложе его.

Затем говорили о коммерческой деятельности Союза. Выступал один из действующих руководителей Службы и произносил лестные слова в адрес ветеранов. Сотни лысых и седых голов сочувственно внимали приятным речам. Сидевшие в зале люди столько видели, столько пережили, столько сделали и столько поняли, что ни один не поднялся и не спросил: во имя каких ценностей и на какую власть работает Служба?

Официальная часть завершилась, было объявлено, что желающие смогут посмотреть французский фильм (слава богу, что не прослушать концерт), а для остальных открыт буфет.

Искушение пойти в буфет, пообщаться с былыми соратниками, вспомнить прошлые удачи и провалы было велико. Генерал, отвечая кивками на приветствия, посмотрел на часы. Унылое время, половина четвертого, слишком рано, чтобы пить водку даже с единомышленниками. Надо было принять озабоченный вид, сказать то и дело встречавшимся сослуживцам, что впереди еще работа, и вынырнуть в осеннюю прохладу Лубянки. Никаких дел не было. Он пошел в книжный магазин и забыл посмотреть на седьмой и девятый этажи большого дома на Лубянке.

ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ…

У каждого, даже безнадежно больного человека, есть будущее. Он не может не думать о том, что ждет его впереди: через час ли, через день, через год. Как правило, человек при этом ошибается, ему не дано знать своей судьбы даже на ближайший пяток минут, а уж тем более на какую-то более длительную частицу вечности. С годами мысли все чаще обращаются в прошлое, далекое или близкое, но равно невозвратное и неизменное. Бесполезно, хотя иногда и занятно, рассуждать, что могло бы случиться, поступи я так, а не эдак. «Если бы да кабы…» Прошлое застыло, изменить его невозможно. Кстати, нередко думал Генерал, столь же неизменно, не зависит от нашей воли и будущее. Это всего-навсего еще не случившееся прошлое, но там все заложено раз и навсегда, помешать тому, что предопределено, вне человеческих сил. «А где же свободная человеческая воля? А где же: каждый — кузнец своего счастья?» Там же — в раз и навсегда застывшем будущем, в нашем не подверженном сознательным изменениям настоящем.

— Ну, Старик, — с позволительной фамильярностью стал урезонивать Генерала стоящий за его плечом автор. — Додумался ты до Геркулесовых столпов, давно уже осмеянных всеми разумными людьми. Чем ты ушиблен? Развитым социализмом, перестройкой или демократической реформой? Или не вполне удачно завершившейся карьерой?

— Я давно подозревал, что ты глупец, — ответствовал Генерал, воздержавшись от более вульгарного словечка. (Знал он их множество, ибо изучал в жизни не только иностранные языки, в частности тот, где все обращаются друг к другу на вы: «Вы скотина, милорд…».) — Печально убеждаться в своей правоте на старости лет. У тебя бывали минуты прозрения, а теперь остается только насмешка. Как бы ты ни насмехался над судьбой, последней посмеется она.

Генерал пожил некоторое время — десятка два лет — меж мусульман и индусов. Было бы странным, если бы их фатализм его не затронул. Тем более что в этом фатализме было гораздо больше здравого смысла, чем в любом современном оптимистическом подходе к жизни. (Подходе, еще не затронутом всеобщей компьютерной запрограммированностью нашего бытия. Всемогущество компьютера должно было породить тягостные мысли хотя бы в некоторых головах.) Забираться дальше в эту материю не хотелось. Генерал мысленно послал автора по традиционному русскому маршруту, и автор послушно удалился.

* * *

Генералу довольно часто приходилось бывать в Москве, в городе, где он родился, где родились его родители и все известные ему родственники. Правда, в анкетах он писал, что его мать, Прасковья Михайловна, была рождена в 1909 году в селе Гари (ныне Дмитровский район Московской области). Видимо, за безобидностью личности Прасковьи Михайловны никто из бдительных кадровиков сомнению этот факт не подвергал. Действительно, матушка Генерала родилась в Гарях, но записана была как родившаяся в Москве. В любом случае Старик был коренным москвичом и, несмотря на многолетние отлучки, своего существования без Москвы не мыслил. Пребывание на даче было своего рода условностью, символическим уходом из родного города, прикосновением к первозданным, хотя и измельчавшим лесам, из которых этот город вышел. Довольно часто, сидя за письменным столом в своей городской квартире, особенно в зимнее время, он уносился мечтой в заснеженный лес, в скромный домик, к своей бесценной Ксю-Ше. Собачка никогда не появлялась в городе, где так много любопытных, праздных глаз.

ГУСИ-ЛЕБЕДИ

Из четко размеренного, но неизвестного будущего Генерал все чаще уходил в прошлое.

Откуда-то издалека, сверху, донеслись сперва чуть слышные, но все более громкие, с металлическим отзвуком голоса. Гусиный клин пролетал высоко над просекой, и дивной красоты птицы переговаривались между собой. Старик бросил бумагу и карандаш, воззрился на небо, с наслаждением вслушался в вечную музыку. «Остановись, мгновенье!» — мог бы вскричать он, но это ему не пришло в голову, настолько красив был полет гусиной стаи. Счастье! У ног завертелась Ксю-Ша. Она сбросила зимнюю шерстку. Новая шубка отсвечивала неземным сиянием, хвост лихой баранкой и влажный черный носик. Старик настолько привык к своей спутнице, что рассеянно потрепал ее по голове, пообещал покормить немного погодя, сказал: «Лежать!» и начал погружаться в прошлое.

Память унесла его в Вену.

...Оказавшись в Вене и проведя там дня три, молодой еще в ту пору Генерал невольно восхитился, насколько хорошо приспособлен город для его работы. (Несколько позже попали ему на глаза воспоминания современников о первом впечатлении, которое произвел Лондон на фельдмаршала Блюхера, пруссака, представителя анти-наполеоновской коалиции, в 1814 году. «Вот этот город бы пограбить!» — воскликнул в восторге Блюхер, увидев Лондон.)

Вена была огромна и великолепна с паутиной улиц, с невероятным множеством исторических памятников, которые обязан посмотреть каждый иностранец и которые не в состоянии прикрыть ни одна контрразведка, особенно в такой мирной и нейтральной стране, как Австрия. Генерал с искренним интересом ходил по музеям, послушал «Eine Kleine Nachtmusik» в замке Шенбрунн, куда добросовестно добирался на венском трамвае. Незнание немецкого, разумеется, мешало, но в то же время позволяло прикидываться иностранцем из неведомой англоязычной страны в случае каких-то затруднений. В любой столице любой нормальный житель с охотой поможет добродушному улыбающемуся чужеземцу. Генерал по непроизвольно усвоенной профессиональной привычке всегда улыбался незнакомцам, так что особых сложностей у него не возникало.

Через три дня Генерал тщательнейшим образом проверился, потратив на это с семи утра до двух часов пополудни (ноги

гудели, немецкий лексикон пополнился несколькими полезными фразами), и ровно в 14.00 вышел к «Кафе Моцарт». Какие-то опознавательные признаки — газета в левой руке, журнал «Тайм» в правом кармане плаща и т.п. — не требовались. Генерал и объект великолепно знали друг друга, оба они были профессионалами и вышли на контакт в полной уверенности, что «хвоста», австрийского ли, американского ли, за собой не привели.

Поговорили, обменялись двумя конвертами и разошлись. Навсегда.

Почему же весенняя гусиная стая в Подмосковье напомнила Генералу этот эпизод?

Гуси всего мира говорят на одном, понятном только им, языке. Человек тщетно напрягается, пытаясь постичь их разговор. Генерал и его венский друг когда-то слушали гусиный гогот (плохое слово — гогот, перекличку) над индийскими озерцами. Американец работал в своей Службе. Много знал и продавал свое знание той Службе, где работал Генерал. Гнала американского коллегу не столько нужда в деньгах (она была), сколько понимание неправедности дела, которому его заставляли служить.

Ирония не судьбы, а реальных обстоятельств. Много лет спустя он узнал, что сотрудник советской военной разведки, некто П., тоже встречался над теми же озерцами под Дели со своими американскими хозяевами.

Прошло время. Говоря профессиональным языком, П. «был взят в разработку», неопровержимо уличен в шпионаже в пользу США, сознался, рассказал многое, пожалуй, Все. Его судили и расстреляли.

«Поторопились! — думал Генерал. — Эта смертоносная игра никогда не кончается. Ну-обменный фонд». (Циничная мысль и дурацкая канцелярская фраза!)

Суть же была проста. Время от времени попадают в беду то их, то наши люди. Они свое дело сделали. Наши — те, кто работал на нас, их жизни должны перевешивать жажду возмездия и тем более букву закона. Их надо менять на что-то равноценное. Напрасно расстреляли П.

* * *

Гуси-лебеди, гонцы из далекого прошлого в непознаваемое будущее... «Мы все идем из ниоткуда в никуда и еще умудряемся плутать по дороге...» Ксю-Ша, любезная сердцу собака, негромко

тявкнула и толкнулась мордочкой в коленку: «Корми, хозяин!». Надо кормить, ласкать, успокаивать тех, кого ты вольно или невольно приручил.

Собака неспешно, с обычным достоинством съела порезанную на мелкие кусочки сосиску. Генерал наблюдал трапезу с умилением, сомнения и страхи уходили прочь. Ведь совершенно очевидно, что призракам не нужна земная пища, и, следовательно, Ксю-Ша не призрак, а недоступная пониманию реальность, маленькое теплое живое существо, явившееся для того, чтобы... И вновь на том же самом месте Старик споткнулся: для чего? Для чего, чтобы? Воннегутовский герой мгновенно нашел удобный, но, увы, неправильный ответ: «Somebody up there likes me» (я понравился кому-то там, наверху).

Ксю-Ша меж тем отправилась куда-то по своим загадочным делам и не откликнулась на слабый свист, скорее какое-то невнятное шипение, которое издавал Старик. Свистнуть по-настоящему, как бывало, не позволяли искусственные зубы. Старик чертыхнулся про себя, облаял непотребными словами зубы, печенку, коронарные и прочие сосуды, данные человеку для недомогания, поднял валявшийся под ногами камешек и запустил его что есть силы в самую вершину дальней елки. С елки свалилась прошлогодняя шишка, и на сердце полегчало.

Гусиный клин, загадочный птичий разговор в голубом бескрайнем просторе, умные собачьи глаза, в которых нет ни зависти, ни злобы, легкий весенний воздух, камень, ввинтившийся в мрачноватую еловую зелень... Голова слегка, приятно закружилась. Все было хорошо в этом лучшем из миров, на этой вековечной дороге из ниоткуда в никуда.

ПРОЕЗЖАЯ ДОРОГА

«С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать и, презирая лень и негу, кричим: «Пошел!..»

Генерала несло по дороге жизни, захватывало дух на поворотах, отчаянная смелость орала лихие песни на раскатах: судьба — индейка, жизнь — копейка! На этой проезжей дороге, где много всякой голи праздной остаться хочет в барыше, он много и неразборчиво читал. Вот и сейчас, не подумав, позаимствовал он проезжую дорогу и всякую праздную голь у Блока. Три совершенно разных поэта — Блок, Маяковский и Есенин — ушибли его душу еще в ранней юности. Пушкин пришел гораздо позже, но основательнее. Его слова могли вызывать то слезы, то смех, то задумчивость не у молодого бездумного лейтенанта, но уже многоопытного Генерала. Старик мог бы вспомнить прямо сейчас, под голубым бездонным небом, несколько строф Блока и Есенина, подходящих к весеннему настроению. Сложнее было бы с Маяковским, городским и уничтоженным случайной идеологией поэтом. Пушкин же был родным русским умным человеком, хотя весну он особенно не жаловал: «Весной я болен...» — «Кровь бродит...».

Такие вот чудеса может творить весенний воздух в подмосковном лесу. «В руке топор, в мечтах герои...» Надо было топить печку. Генерал достал из поленницы березовые толстые поленья, взял в руку топор да так на минуту и застыл. Трудно сказать, вспоминал ли он Блока или думал о том, что сейчас ему нужен был бы не топор, а колун — старинное орудие обитателей лесной стороны, разваливающее наполы с одного удара любой чурбан.

Острый топор увязал в неподатливой древесине, приходилось его переворачивать и бить обухом по пню до тех пор, пока не поддавались лезвию глубоко проросшие сучья и пока не разваливалось на две половинки упрямое полено. Старик порозовел, потом взмок, задохнулся, помянул нехорошими словами упрямую березу, ее мать и бабушку, но дело все же было сделано. Ненасытное жерло печки удовлетворенно заурчало, пообещав тепло и покой.

Русская весна холодна и переменчива.

Генерал съежился под потертой дубленкой, вслушиваясь в вековечный вой печки, потрескивание еще недавно бывших березой поленьев. Вместе с ним слушали эти звуки бесчисленные предки. Владимир Иванович, Иван Кузьмич, Кузьма Андреевич, Андрей Никитич... Бабушки — Елена Ивановна, Евдокия

Петровна, Наталья Андреевна...

Березовое вязкое полено, голубое небо, Блок и Маяковский, поющая свою вневременную песню печка и воспоминание о простодушных предках — старик размяк и осоловел. Ему пригрезился Тегеран.

* * *

«...Синими цветами Тегерана...» Генерал свалился в этот город в самый разгар исламской революции: наследник двухсполовинойтысячелетней монархии шах Реза Пехлеви бежал из Ирана. Прибыл из Парижа и пытался разобраться во всеиранской сумятице аятолла Рухол-ла Хомейни, провозглашенный имамом. На улицах столицы и по всей стране буйствовали людские толпы, суетились революционеры и контрреволюционеры (и те и другие немыслимы друг без друга), шныряли по государственным учреждениям, по частным конторам, квартирам, виллам, даже массовым митингам иностранные — американские, английские, германские и, конечно, советские — шпионы. Американцев подводило простодушие: выходя на контакт, сотрудник ЦРУ только что не поднимал звездно-полосатый флаг. Иран уже четверть века был вотчиной, страной подкупленных и закормленных вассалов. Заплатить за это заблуждение пришлось дорого — американским посольством, заложниками и несчи-таными головами агентуры, хотя многим счастливчикам удалось спастись, они вовремя убежали вместе с шахом или вскоре после него.

Англичане были умнее. Кстати, думал иногда Генерал, старинная репутация может неплохо скрывать нынешнюю беспомощность. Полвека назад англичане действительно много знали и многое могли в Иране. Их выкинули отсюда не коммунисты, а американцы. Осталась слава всеведущих и всемогущих, но время англичан в Персии минуло безвозвратно, поэтому исламская революция лишь краешком задела их интересы: посольство Англии было захвачено и тут же освобождено, немногочисленные друзья и доброжелатели Альбиона затаились или эмигрировали.

Северного соседа побаивались.

Генерал погружался в воспоминания. Тегеран был тем местом, где заинтересованный человек соприкасался не только с чужой, но и с собственной страной, слышал отголоски битв, которые вели его безвестные предшественники так далеко от России. Покойно шумели над головой высоченные березы, и шум

их сливался с шелестом листвы вековых чинар, неведомо кем посаженных в Зарганде и в парке Атабеке-Азама, где с 1916 года помещалось русское посольство. Название нашего государства время от времени менялось: Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация, а для зарубежных друзей и врагов непритязательное здание в глубине старинного парка оставалось русским посольством.

Высшая точка жизни пришлась на Тегеран. Не было никаких хворей, четко работала голова, ясные, хотя и невеселые, мысли складно ложились на бумагу (шероховатые желтые листы исходящих шифровок) и, перевоплотившись в пятизначные группы криптограмм, уносились по радио в Центр, чтобы предстать там перед придирчивыми глазами начальства.

Вокруг резидентуры, вокруг посольства, вокруг малочисленной советской колонии бушевали исламские революционные бури.

Генерал описал все это в мемуарной книжке, изданной в Москве много позже иранской своей эпопеи и именно тогда, когда перестроечная неразбериха сменялась путаницей рыночно-демократических реформ в его собственном отечестве.

Находясь в Тегеране, он, надо сказать, невзлюбил имама Хомейни и не постеснялся так и высказаться в своих записках — «зловещий старец» и т.п. Марксистское воспитание мешало воспринимать действительность по достоинству. Все чужое, непонятное — враждебно. Кто не с нами, тот наш враг! (По глубинной темноте своей Генерал не знал в ту пору, что знаменитое это изречение принадлежит не М. Горькому, а Иисусу Христу.)

Сейчас же, по прошествии столь многих лет, в подмосковном лесу, где шепот берез не отличим от тихого говора чинар, только сейчас начинал понимать постаревший человек непростительность своих заблуждений.

Умные словечки: «фундаментализм», «реакционность», даже хлесткое «мракобесие» — были измышлены такими же служивыми, как Генерал, людьми, хотя и служили они, разумеется, разным богам.

Имам Хомейни был вождем и плотью от плоти своего народа. Он знал нужды этого народа и болел его бедами. Он предложил те лекарства от болезней, которые не погубили бы его народ. Разве могли понять марксисты-ленинцы, либералы, буржуазные демократы, «гарбза-деган»-западники сущность его исконной связи со своим реальным, не вымышленным иранским народом? Имам был непоколебим и прям. Перед его первобытной простотой терялись и исчезали в небытие хитроумные

интеллектуальные построения. Имам отстоял независимость и самобытность Ирана от натиска чуждого мира.

Пожалуй, в последней четверти XX века не было личности более хулимой, осмеиваемой, критикуемой Западом, чем имам Хомейни. На задний план отступал даже ненавидимый Соединенными Штатами Фидель Кастро. Вина их была одинакова: и тот и другой, шиитский аятолла и коммунист, отстаивали право своих народов на самостоятельное существование, а это в заново «цивилизованном» мире непозволительно никому.

От Запада не отставал и социалистический Восток. Мы никогда не допускали и мысли, что у других народов могут быть свои ценности и свои идеалы помимо тех, которые в данный момент провозглашала устами советских лидеров переменчивая марксистская доктрина. Нам нравился Хомейни своим жестким неприятием американского диктата — экономического, политического, культурного. Здесь, казалось бы, и должен был иранский вождь обратить взоры к северному великому соседу, опереться на его военную и политическую мощь. Увы! Со свойственным ему сухим остроумием имам как-то заметил: «Америка хуже Англии, Англия хуже Америки, а Россия хуже их обеих». Это изречение многократно тиражировалось на тегеранских стенах и заборах, к горькой обиде советских людей — борцов за свободу всех угнетенных народов мира. Генерал задумался. На протяжении четырех лет ежедневно и ежечасно он видел суровый лик имама — на экране телевизора, на страницах газет, на плакатах, слушал по радио его выступления: монотонный старческий голос, простые истины, повторяемые вновь и вновь, неожиданные шутки, произносимые тем же ровным голосом. Он не любил Хомейни и сознательно оградил себя от его обаяния. Ему было непонятно, почему тысячные толпы вдруг ударялись в слезы, слушая имама, Дело было не только в том, что Генералу были недоступны оттенки несколько архаичного фарси, на котором говорил Хомейни: он заранее настраивался на критический, даже злорадный лад, а это залог совершенного непонимания, невосприятия любой истины. Прошло много лет, и теперь ему было искренне жаль, что он не удостоился чести лично побывать в присутствии Хомейни, послушать глуховатый голос имама, увидеть молодой блеск его старческих глаз.

Это соль земли, правы такие люди или не правы! Да и кто им судья? Только их собственный народ, через десятилетия и столетия, когда и памяти и праха их нынешних судий не останется.

Здесь автор, постоянно полемизирующий с Генералом, позволил себе с наигранным сарказмом заметить: «Если,

разумеется, это позволят народу Соединенные Штаты!»

Старик был слишком поглощен воспоминаниями, чтобы заметить этот выпад. Он пребывал в Тегеране в 1981 году, в том времени и месте, где он был деятелен, возбужден и заинтересован. Он вспоминал свою доблесть и свою глупость — вещи неразрывно связанные. Их соотношение к старости меняется, и ветеран уходит безупречным из этого мира.

Доблесть? Официальное затертое словечко, достойно звучащее в рескриптах, издаваемых любой, даже мимолетной, властью. Во всей своей многотрудной жизни Генерал не мог вспомнить ни одного деяния, которое можно было бы назвать доблестным. Вербовал иностранцев? Было дело. Но какая же здесь доблесть? Довольно нервная и нудная работа. Поддерживал связь с агентурой? Было дело, соблюди все привычные правила, «требования конспирации и безопасности», как это называлось в указаниях Центра, — и доблесть здесь ни при чем. Просто техника, которой ты обязан владеть. Не дрогнуть перед наглым натиском на священную, защищенную дипломатическим иммунитетом территорию посольства? Не дрогнул никто из советских людей — от жены повара посольства до посла. Так что не высокопарная доблесть, а простое честное выполнение обязанностей, которые когда-то ты сам взвалил на свои плечи.

Глупость? Человек может признаться в чем угодно, только не в собственной глупости. Да! Я хром на правую ногу! Да! Я не читал Фридмана или Амира Хосроу. Да! Меня «подставили» в той или иной ситуации. Иногда человек способен сказать: «Да, я был дураком» в тайной надежде, что собеседник поправит его, утешит, разуверит, убедит, что он, правдолюбец, не способен на глупость. Стечение, мол, обстоятельств, не переживай! Глупость, как и ошибка, есть, говоря словами Станислава Лема, фундаментальная категория бытия.

Глуп, откровенно глуп бывал временами Генерал. Осознание этого печального обстоятельства с годами притуплялось. «N. дурак, но и сам-то я не Эйнштейн».

Вот так-то к старости начинает проявляться действительное соотношение несовместных, казалось бы, вещей — доблести и глупости.

Как обычно, в дремотных размышлениях Старик пытался обернуть давно накопившиеся сомнения к своей выгоде. Отчитываться ему было не перед кем, но прошлая жизнь приучила к мысли, что рано или поздно со служивого человека спросится. Бывало, делал глупости, но, видит Бог, искренне заблуждался!

Конечно, искренне! В этом не сомневается придирчивый

автор. Все умное и глупое делал Генерал, хорошо подумав. Неприязнь к имаму Хомейни, обернувшаяся глупостью, казалась в свое время вполне разумной. Природное доверие к своим коллегам да и к знакомым людям вообще, за исключением представителей реального или потенциального противника, привело к тому, что Генерал проглядел предателя, иностранного шпиона в собственных рядах. Он был обязан заметить неестественное состояние Кузичкина, но не заметил, поскольку искал и находил ему естественные житейские объяснения.

Зыбкая, неопределенная ситуация мучила Старика полтора десятка лет: мог он или не мог разоблачить предателя и предотвратить его побег из Ирана в Англию? Может быть, прав расстриженный генерал КГБ Калугин, обладатель американской «грин кард», упрекнувший Генерала в головотяпстве, исключительно русском, не переводимом ни на один известный язык прегрешении?

Здесь Генерал, как правило, отвлекался, поминая нехорошими словами перевертыша и сукина сына Калугина и всех его предков по материнской линии. Иногда он добавлял и по-персидски: «педар сухте».

История с Кузичкиным саднила до сих пор — прозевал шпиона под собственным боком! Где же была твоя проницательность, твоя профессиональная подготовка, твой здравый смысл?

Покойный Леонид Ильич Брежнев, понюхавший в свое время пороху, выслушал доклад о предательстве Ку-зичкина и сказал: «Ну что же, это война, а на войне без потерь не бывает». Генералу передали эти слова, и с тех пор много уже лет поминает он Брежнева добрым словом: «царство ему небесное». (Свечку надо бы поставить Леониду Ильичу, но до этого он как-то не додумывался.)

КИЯНУРИ

Набитая березовыми поленьями печка перестаралась. В маленькой комнатенке установилась сухая жара, и сморившемуся Старику въявь показалось, что сидит он в августовском Тегеране в своей квартире при сломавшемся кондиционере, который и в лучшие минуты был способен выдавать лишь неощутимую струйку прохлады. Сердце попыталось выскочить из груди, забилось гулко и не в лад. Генерал очнулся то ли от воспоминаний, то ли от грез, встряхнулся и выскочил на крыльцо, под усеянное яркими весенними звездами небо. Пахло талым снегом, предчувствием близкого тепла, дремлющей зеленью. Старик потряс головой, отгоняя дурман былых времен, завернулся поплотнее в дубленку, глубоко подышал, наслаждаясь таким родным подмосковным воздухом, и подумал, что Тегеран был недаром пожалован ему судьбой.

Именно здесь, на освеженную мягкой весенней прохладой голову и вспомнился Нуреддин Киянури. Худшее было позади: в Тегеране опубликована его книга «Хати-ратэ-Нуреддин Киянури». Вся правда, и только правда, была там сказана. Генерал в книге фигурировал. Киянури узнал его имя лишь в застенке и признал Генерала после пыток. Ни одного лишнего слова руководитель «Туде» не сказал. Старик читал его признания, плакал про себя и думал, что мир не безнадежен, пока есть такие люди, как его тайный контакт Нуреддин Киянури.

Едкая горечь с годами прошла. Оба они — Киянури и Генерал — знали, какой может быть окончательная расплата. В игре? Нет, это была не игра, а самая настоящая жизнь, которая позволяет действующим лицам хладнокровно рассчитывать мелочи сегодняшнего дня, предупреждать непосредственные опасности только для того, чтобы завести вообразивших себя умными простаков в какую-то гибельную, стратегическую ловушку.

Киянури не был простаком, он предвидел самые худшие варианты и в одном из посланий в Москву писал, что он и его единомышленники готовы взойти на эшафот «с гордо поднятой головой». По долгу службы Генерал сам переводил послание, прежде чем переложить его на телеграмму. «Гордо поднятая голова», слова из благородных рыцарских времен, вызвали у него тяжелый вздох: в современной политике поверженному противнику ни в коем случае не позволят выглядеть благородно. Должен быть скомпрометирован и он сам, и дело, которому он служил. Неужели Киянури забыл, что после казни моджахеда Саадати было опубликовано его фальшивое письмо: Саадати

раскаивался и клялся в преданности имаму? Нет, конечно! Надежда на возможность гордо поднять голову отгоняла малодушный страх.

Пожилой грузный человек, тяжело опирающийся на палку, ветеран политических боев, преданный друг социалистического Советского Союза, отечества Генерала, готовый идти в огонь и воду ради общего, а в действительности нашего, русского дела, понимал, что очередная битва, так же как в 53-м году, проиграна, но не собирался сдаваться или бежать с поля боя. Истинное мужество проявляется не в дни побед, а перед лицом неминуемого поражения.

На этом месте Генерала посетила не очень приятная мысль: сколько же умных, честных, энергичных людей пытались связать свою судьбу и судьбу своих народов с Россией (Советский Союз был всего лишь одним из временных наименований вечной России) и скольких из них Россия бросила на произвол даже не судьбы, а их смертельных врагов!

Старик убежал в тепло, торопливо достал блокнот, совершенно уже состарившийся «Шеффер» и, забыв умного перса Киянури, начал составлять реестр, нечто вроде синодика преданных Москвою друзей. Эрудиции и памяти ему явно не хватало, но он стремился лишь обозначить тему — грандиозное предательство.

Бела Кун (Коган), М. Н. Рой, австрийская компартия, Ван Минь в Китае, коммунисты в Курдистане, Азербайджане (они были повешены шахскими войсками), Рако-ши, Хонеккер, Живков, Наджибулла, брошенный на растерзание Ярузельский. Опасно связывать свою судьбу с Москвой. Она не предает, она просто забывает своих друзей и союзников. Да, не забыть наших китайских друзей, чьи имена ушли в небытие. После победы КПК советская сторона сообщила Пекину имена тех, кто честно помогал ей во имя дела коммунизма. Китайцы отметили героев приличествующими подвигу наградами, а затем втихомолку их расстреляли. Москва смолчала, вершилось внутреннее дело суверенных союзников.

Ирония истории. Дача, которую когда-то занимал Ван Минь, была отдана в 1987 году Бабраку Кармалю. Было добавлено к ней спокойное материальное благополучие — все, что могла советская власть предложить в возмещение за несбывшуюся мечту.

Генерал не осуждал Москву, которой он сам служил верой и правдой. В большой политике нет места сантиментам, человеческим чувствам. Попавшие в ее сферу люди знали сами, на что они шли.

Седая голова стукнулась о неструганый деревенский стол. Старик потер лоб и начал соображать: какой нечистый завел его от Киянури до Кармаля? Ксю-Ша?

Собака мирно посапывала под ногами. Время от времени подрагивали ее золотистые ушки, дергались лапки — снился собаке какой-то добрый тибетский старинный сон. Не было зла в подмосковном лесу, зло было не в людях, а в давно прошедших обстоятельствах, и даже зачарованная собака сейчас уловить их не могла.

ПОЧЕМУ СОБАКА?

Иногда в нередкие, увы, часы безделья автор задумывался, почему Генерал так привязался к Ксю-Ше? Мало ли милых собак навязывают свою дружбу человеку? Ведь плохих собак, в отличие от людей, не бывает. Почему Ксю-Ша сопровождает Генерала на закате его жизни?

Во-первых, думал уже не автор, а сам Генерал, золотистая собака сверхъестественно красива. А во-вторых, и это, пожалуй, главное, каким-то чудесным образом соединяет она обрывки бессвязного прошлого с настоящим. Неправда, строго говорил себе Старик, в прошлом был железный стержень — Служба; бессвязность могла быть в частностях, но не в общем. Как ни странно, приходилось признавать, что помимо этого стержня, всепо-давляющего чувства долга, было и что-то другое, была просто жизнь, а в этой жизни было славное бесхитростное живое существо, беспредельно преданное своему хозяину. Могла ли простая физическая кончина пресечь эту преданность?

Генерал всегда был материалистом, а в ранние годы — почти воинствующим безбожником. В его служивом существовании не было нужды в Боге. До поры до времени.

Сейчас, в сумерках годов, он горько сожалел о своем неверии и не мог заставить себя верить, крестясь машинально по примеру своих православных забытых предков.

(Мысль вильнула. Старик вспомнил, что в самом начале войны его матушка Прасковья Михайловна повесила в крохотной марьинорощинской комнатушке икону Богоматери. Ворог, супостат подступал к Москве, мужики гибли в родимых лесах, где еще год назад они беспечно собирали грибы и пели задушевные русские песни. Оставалась надежда на Бога и Матерь его. Они не выдали, и маленькие котомочки, которые приготовила для своих детей Прасковья Михайловна — ей в ту пору было 32 года, Генералу шесть, а его сестре четыре года, не пригодились. Господь спас, и отец выжил, пройдя военный огонь.)

Ксю-Ша послана Богом для того, чтобы напоминать о прошлом, связывать единой нитью кусочки былого и нынешнего существования? Может быть. Скорее всего, была она создана небогатым, но почему-то очень в этом случае упрямым воображением Старика. Ему казалось, что загадочная восточная собачонка, скорее даже призрак собаки, помогает жить, думать, вспоминать, переживать и надеяться. Возможно, где-то в глубине души Старик даже суеверно допускал, что Ксю-Ша продолжает отпугивать злых духов, спускающихся по ночам с заледеневших

далеких вершин: Восток бесконечен и вечен, он не отпускает однажды зачарованных им людей.

Как бы то ни было, Генерал решил, что во второй раз он ни за что и никогда с Ксю-Шей не расстанется. Автору повествования остается лишь с уважением отнестись к стариковской причуде.

КАРМАЛЬ

Первоначальный замысел — разматывать клубок жизни с конца, идти от последних событий, мыслей и дел (впрочем, какие уж сейчас дела?) через лавры и тернии в строго хронологическом, хотя и неестественно вывернутом обратном порядке (как у Венедикта Ерофеева: «мои часы пошли в другую сторону!») — этот замысел терпел очевидный крах. Призраки былого не хотели никакого порядка, они оставались такими же своенравными, непредсказуемыми, себе на уме, как и при жизни. Так и получилось, что Иран, Хомейни и Киянури опередили Афганистан, Наджибуллу и Кармаля, которым по справедливости должно было бы принадлежать привилегированное место в повествовании, ибо именно они были последними спутниками Генерала в конце его служебной карьеры. Наджибулла в Кабуле и Бабрак Кармаль, тихо угасавший в Москве и неожиданно вырвавшийся в тот же Кабул летом 1991 года.

У каждого человека есть, должны быть неприятные воспоминания о каких-то эпизодах, где вел он себя не вполне прилично, брал за горло собственную совесть, врал, обижал невинных, притеснял беззащитных и тех, кто слабее его. Есть ли кто-то (кроме женщин), кто может не покаяться в этом грехе? Не человека обидел, так кого-то из братьев наших меньших — собаку, кошку, птицу?

«Ничто не давит столь тяжким бременем мою душу, — писал Генерал, — как мелкая, исполнительская роль в судьбе Бабрака Кармаля, сыгранная к полному удовлетворению Службы».

Службу возглавлял Владимир Александрович Крючков, именно он оценивал работу Генерала, и именно он олицетворял всезнающую и всемогущую Москву. Старик выступал его полноправным и полномочным эмиссаром, что позволяло ему без страха и сомнения разговаривать с верховным руководителем как бы суверенного Афганистана.

Дело было в начале мая 86-го года. Кармаля убирали от власти без крови и без скандала. Он упирался, негодовал, витийствовал, предрекая худые времена и Афганистану, и Советскому Союзу (нисходит в роковые минуты на людей дар прозрения), злословил, угрожал, не поддаваясь искушению разжалобить бездушных оппонентов.

Тщетно! Кармаль сдался, и Генералу выпало бесчестье редактировать текст его отречения от власти. Слово за словом, фраза за фразой. Как-то забылось, что речь идет не о стилистике,

а о судьбе государства и его уже бывшего руководителя. Одержимый служебным рвением, Генерал явно зарывался и был наконец прерван гневным возгласом Кармаля: «Кто лучше знает язык фарси? Я или ты?». Генерал замахал руками, извинился, но совесть уколола, а с годами маленькая ранка этого укола стала саднящей язвой.

Сам Кармаль едва ли запомнил этот пустяковый эпизод, его отношение к Генералу казалось неизменно дружелюбным, даже когда приходилось говорить (уже в Москве, а не Кабуле) на неприятную и деликатную тему. Крючков решил, что Кармаля можно уговорить публично выступить в поддержку Наджиба. Пожалуй, и тогда уже было ясно, что любая позиция Кармаля никакого значения для афганской ситуации не имела. Ситуация давно уже развивалась независимо от воли московских и кабульских верхов. Возможно, поддержка бывшего лидера сняла бы некоторые раздражающие Наджиба нюансы в поведении его соратников. Это было бы политическим успехом Москвы, но абсолютно несущественной мелочью для Афганистана. Марксизм учил заглядывать в глубь, в существо масштабных процессов. Московские марксисты (не по уму, а по должности) видели историю как процесс взаимодействия или конфликта политических фигур.

Кармаль мог взглянуть на дело более приземленно. Служивый человек, Генерал давал ему от имени Москвы очередной шанс реабилитироваться: забудь гордость и принципы, поддержи того, кто тебя предал, и ты вновь станешь «персона грата», твое имя замелькает в советской прессе, тебя станут приглашать на торжественные собрания и государственные приемы.

(О господи! Как легко творить бесчестные дела чужими руками! Разве можно отразить в сухом официальном отчете душевные муки объекта и сомнения исполнителя? Здесь все должно быть просто и ясно, без эмоций. Исполнитель спит спокойно, он выполнил приказ. Не стоит задумываться о том, что переживает объект.)

Можно, тем не менее, представить себе, что переживал Кармаль, когда перед его носом советские товарищи повесили такой заманчивый пряник, даже не намекнув, что в их руках есть и кнут.

Автору кажется, что первой мыслью Кармаля, когда Генерал изложил свое предложение, было: отравят или не отравят, если откажусь? Время все еще было суровым, во всяком случае для афганца, и он мог только догадываться, не питая, впрочем, особой уверенности, что Москва утратила способность к решительным

действиям. Ему риск должен был казаться несомненным.

Если бы Кармаль был русским человеком, то суть его довольно многословных рассуждений и категорического отказа была бы выражена в нескольких простых словах: идите вы все... и делайте что хотите!

Генерал примерно так и доложил руководству, смягчив, естественно, формулировки. С точки зрения карьеры было бы лучше, если бы афганец согласился, можно было бы неприметно подчеркнуть собственные заслуги, сделать еще шажок вверх. Ощущения неудачи не было, ибо столь редко приходилось сталкиваться с людьми, которые могли отстаивать свои убеждения, скорее даже не убеждения, а человеческое достоинство, перед лицом неодолимой силы.

Кармаль, как и Киянури, был революционером в первом поколении, в отличие от своих учителей в здании ЦК КПСС на Старой площади в Москве.

Выплыло из забвения чеканное лицо Кармаля (был он своеобразно, по-восточному красив), послышался спокойный, уверенный в себе голос, произносящий персидские, русские, английские фразы. За окошком покачивали буйными головами московские липы и ясени, поблескивал на закатном солнце серебристый купол обсерватории на крыше Дома пионеров. Спокойный голос логично и последовательно доказывал немыслимость отступничества. С первых же минут Генерал понял безнадежность своей миссии, но приказ есть приказ, а с приказом может даже приходить вдохновение. Посланец Службы не лукавил, в ту пору ему действительно казалось, что Кармаль может помочь Наджибу, а следовательно и Москве. Уверенности, однако, не было.

Автор припоминает, что сомнения в мудрости начальства и его распоряжений появились у Генерала много раньше описываемого эпизода. Эти сомнения относились к области частной жизни и размышлений, служебной сферы они не касались. Прошло много лет, а так и остается нерешенным вопрос: прикажи начальство убрать Кармаля или кого-то другого, лично симпатичного Генералу, исполнил бы он такой приказ или нет? Очень хотелось бы соврать, принять героическую позу убежденного борца за справедливость, сказать твердое «Нет! Никогда!».

Серебристый купол на Доме пионеров засветился золотом, успокоились московские деревья, повели по скверику своих собак окрестные жители.

Обнялись, по афганскому обычаю, Кармаль и Генерал и пошли каждый своей дорогой.

Ветер судьбы унес Кармаля в Кабул, оттуда в Ма-зари-Шериф под крыло генерала Дустума, и завершить свой путь довелось ему в Москве, в Центральной клинической больнице в 96-м году. Похоронили его в Афганистане.

Генерал на прощание с афганским вождем не пошел — было стыдно и не хотелось говорить правду, а врать было бы невыносимо. Его отсутствия никто не заметил. Служба была невидима в старые времена, и очень немногие догадывались о ее настоящей роли.

Ко времени кончины Бабрака Кармаля его удачливый соперник и преемник Наджибулла уже был расстрелян, а его труп повешен на кабульской площади. «Не называй человека счастливым, пока он жив. В лучшем случае, ему везет», — повторял слова какого-то древнего мыслителя француз Паскаль. Наджибулле, Наджибу, Доктору везло, пока за его спиной стоял могучий Советский Союз, воплощавшийся в КГБ. Москва сбросила коммунистическое обличье, к власти пришли временные пустотелые люди без роду без племени. Они поспешили предать своих друзей и союзников, рассчитывая заплатить их жизнями за место в «цивилизованном» мире.

Возможно, Ельцин и не помнил Наджибуллу; человек с подменным именем Козырев его, разумеется, знал. Они выбросили друга Советского Союза — России только потому, что он был неприемлем для США. Наджиб похоронен в Гардезе. Поколения афганцев будут приходить на его могилу... Старик задумался: у человеческой памяти бывают странные прихоти. Бесследно стираются громкие имена, но веками стоят скромные мазары каких-то безвестных миру святых, и веками сходятся к ним правоверные. Всякий путешественник по мусульманской Азии видел деревья, сплошь украшенные обрывками ткани. Яркие лоскутки со временем выцветают, ветшают, но их никогда не становится меньше. Дерево стоит над ма-заром, лоскуты привязывают те, кто просил у древнего святого заступничества или благодарил его за помощь.

Если судьба будет милостива, думал Генерал, я вновь побываю в Гардезе и прислонюсь лбом к могильному камню своего друга. А будут ли честные могилы у тех, кто его предал?

Последний раз Генерал видел Наджиба в апреле 91-го. Самое трудное — вывод советских войск, генеральное наступление оппозиции и ее поражение — уже позади. Наджиб просит оружия. Афганистан набит оружием, но Наджиб смотрит в будущее и не очень верит в настоящее: согласие советской стороны означает для него гораздо больше, чем простое пополнение арсенала. Наджи-булла хочет увериться, что Советский Союз с ним.

В бывшем королевском дворце семья Наджиба занимает скромное помещение. Ужин для советского гостя готовит жена президента Фатан и ее старенькая нянька.

Три дочери президента (восточная трагедия — три дочери и ни одного сына, судьба уже отметила Наджиба), три милые бойкие девчонки раскланялись, хихикая, с гостем и отправились спать.

Переводчик? Очевидно, был переводчик, который едва ли понимал смесь фарси, урду, английского, на которой с легкостью, даже с каким-то наслаждением изъяснялись афганский президент и Генерал.

Мысль, которую Генерал внушал Наджибу, была совершенно неофициальна и проста: не надейтесь на Москву! Старой Москвы уже нет, новая вас предаст. Умный афганец все иносказания понял, но поверить в то, что Москва способна бросить человека, взращенного ею же, Наджибулла не мог. Ужин с удивительно вкусной домашней едой скомкался, остыл на тарелках сочный афганский шашлык, скучал в стаканах недопитый виски. Наджиб помнил, что Крючков, «генерал Александров», предпочитал всем спиртным напиткам виски «Chivas Regal», и щедро выставил на стол пару пузатых бутылок. Генерал этот напиток во что-то особое не ставил, но, дабы не огорчать радушного хозяина, при виде бутылок изобразил веселое оживление. Тень генерала Александрова долго висела над Кабулом. (Кстати, сам Крючков к спиртному пристрастен не был и представил «Chivas Regal» своим излюбленным напитком лишь потому, что кто-то из подчиненных когда-то убедил его, что именно это виски пьют в высоких американских кругах.)

Наджиб был предупрежден. По правилам игры он должен был бы бежать в Дели, куда заблаговременно отправилась его семья — Фатан и три милые девочки.

Правила игры в нашем беснующемся мире не соблюдаются. Наджиб направлялся к самолету, когда на его пути встал его же соратник, бывший министр иностранных дел демократического правительства Вакиль с группой вооруженных людей. Самолет улетел, Наджиб оказался в заточении в миссии ООН. Вакиль ныне живет в Швейцарии. Ворвавшиеся в Кабул талибы расстреляли Наджиба. Говорят, что стреляли пакистанские офицеры.

* * *

Нам всегда достанет сил перенести чужое несчастье. Гибель Наджиба была чужим несчастьем. Старик к тому времени отошел

от всяких государственных дел. О судьбах России беспокоились другие люди, воспитанные на западной социологии и экономической науке, беспредельно честолюбивые и, увы, столь же беспредельно алчные. Время от времени созданная их же руками власть выплевывала кого-то из них на публичный позор: Станкевича, Кобеца, Полторанина, Коха, но публика (или общественное мнение) настолько очерствела, что перестала воспринимать приглашения к зрелищам. «Жизнь дается человеку только один раз, и надо прожить ее...» Одному, бесчисленному множеству, — выжить, другому, ничтожному меньшинству, — прожить и обеспечить беспечальное существование своему потомству.

Старик принадлежал бесчисленному множеству. Он выживал.

«КОЕМУЖДО ПО ДЕЛАМ...»

А меж тем наступил очередной октябрь. Можно еще было бы поехать в милый сердцу подмосковный лес, затопить печку, послушать ее успокоительный вой, вскопать поутру грядку и, самое главное, дождаться появления Ксю-Ши, погладить ее влажную рыжую шерстку и посмотреть в умные честные глаза, не знающие лжи и притворства.

Беспощадный дождь обрушился на Москву, осенний, но не по-осеннему обильный, нудный. Он стучал по подоконникам, заливал балконное стекло, ныл, что исхода нет: «...умри, начнется все сначала...»

И повторится все, как встарь? Ничто не повторится, ничто!

Жена Старика, с которой он прожил сорок один год в добром согласии и даже любви, перенесла удар и оказалась в госпитале полупарализованной.

Уже наладившееся было монотонное существование — прямая, как стрела, стежка-дорожка, поросшая поблекшей травой, тропинка, в конце которой дожидался Старика покой, — вдруг сделало резкий зигзаг и пошло в сторону, в сторону, в сторону...

Тени отступили, отогнанные житейской суетой, мелочными горестными заботами сегодняшнего дня. Только во сне, но редко, до огорчения редко, посещала Старика милая рыжая собачка: в Москве ей не было места, хотя он надеялся, что это до поры до времени.

Жизнь сделала зигзаг, и привычные спокойные мысли пошли вразнобой. Все чаще вспоминалась Старику фраза: «Коемуждо по делам его». Кажется, встречается она в Писании, скорее всего, так оно и есть, но врезалась она в память с первых страниц булгаковского «Театрального романа», книги, которую Старик ставил непомерно высоко. Оспаривать его оценку не стоило — он был упрям, довольно начитан и не одобрял мнений, противоречащих его собственному.

Каждому воздастся по его делам! Странно, что эта простейшая посылка, основа справедливости, аксиома царства Божия на земле и в небесах, смутно тревожила Старика. Казалось бы, что ему тревожиться? В Бога ты не веришь, земная жизнь единственная и последняя, распадешься в конце концов на атомы, а уж атомы-то по отдельности за свою бывшую совокупность и ее грехи не отвечают... Что же тут беспокоиться?

Старик действительно почти всю свою сознательную (?) жизнь был атеистом и временами даже воинствующим

безбожником. (Не к месту вспомнилось чувство стыда, которое испытал Старик десятки лет назад. Только что советский космонавт сделал несколько витков вокруг Земли, и бойкая профсоюзная активистка укорила зарубежного гостя, седобородого муллу: «Вот вы в Бога верите, а наш Гагарин на небе побывал и никакого Бога не увидел». Надо было если не плюнуть и убежать от того срама, то хотя бы не переводить благонамеренную невежественную чушь.) Так вот, с годами, и особенно на склоне лет, стал Старик понимать, что все обстоит не так-то просто с Богом и его делами. В конце концов он должен был вновь признать, что разум его слишком слаб, чтобы постичь идею Бога, но достаточно силен, чтобы усомниться в искренности или разумности тех, кто эту идею, по их утверждению, постиг.

С другой стороны, гораздо достойнее быть, пусть игрушкой, в руках какой-то высшей силы, чем случайно образовавшимся сгустком белкового вещества. («Жизнь есть способ существования белковых тел», — написал однажды глупость умный, в общем-то, человек, и глупость была превращена в догму.)

Генерала тревожила несоразмерность воздаяний каждому по делам его. Он опасался стать жертвой справедливости, определяемой недоступным ему мерилом. Что же это за жестокая и бесчувственная сила, которая наказывает людей страданиями их дорогих и близких?

* * *

Повод для тягучих, вековечных размышлений о справедливости и несправедливости, добре и зле, вечности и суетности был. Рассуждать на эти темы можно было только про себя — настолько они приелись всем своей обыденностью и неразрешимостью. Пожалуй, только сильно подвыпивший русский человек мог бы рискнуть затеять диспут по этим поводам с неизбежным выводом: «Судьба — индейка, жизнь — копейка...» или же, распираемый эрудицией, воскликнуть: «Нет правды на земле!».

Да, нет правды на земле, но есть жизнь, которая смирного по земле ведет, а упрямого тащит. В потоке жизни можно плыть только по течению.

Каждый день — сначала летний, затем осенний, то теплый и светлый, то придавленный к верхушкам облетающих деревьев тучами, — каждый божий день Генерал направлялся в госпиталь. Ветераны по привычке называли это место «на Пехотной», добавляя «новый корпус». Корпус давно уже состарился, и

располагался он не на Пехотной улице, а поблизости от нее, на Щукинской.

Ездить, по московским нормам, было довольно удобно. По кольцу от «Белорусской» до «Краснопресненской», там пересадка на «Баррикадную» и прямо до «Щукинской». Иногда на «Полежаевской», особенно если дело было вскоре после конца рабочего дня, в вагон входили группки оживленных молодых людей, очень прилично, но не вызывающе, даже с оттенком некоей недавней традиционности, одетых, нередко слегка подвыпивших. Наметанный глаз Генерала определял в них коллег, «дальних соседей», то есть офицеров ГРУ, отметивших какое-то приятное событие. В жизни служивых людей таких событий немного, но все они стоят небольшого праздника: повышение в звании или должности, награда, возвращение из командировки, день рождения или рождение ребенка. Набор не обширен, но весом. Старик завидовал этим людям, тайком поглядывал в их сторону, вспоминал, как славно было в свое время оказываться равноправным участником такой компании.

Комитет ушел в прошлое, рассыпался стараниями «реформаторов» на полдюжины самостийных и не очень дружелюбно настроенных друг к другу организаций, но госпиталь каким-то чудесным образом принимал ветеранов старой системы без различия их нынешней принадлежности. Простая человеческая разумность выживала под натиском новых идей и веяний. Кстати, думалось иногда Генералу на неспешной, щедро усыпанной осенним листом дорожке, что с давних пор буйные смены власти, новомодные лозунги и цели, очередные реформаторы, манифесты и программы — политическая жизнь, иными словами, — все это имело лишь отдаленное отношение к настоящей, трудно поддающейся переменам русской жизни. Дальше генеральские мысли приобретали явно крамольный по нынешним временам оттенок. Ему казалось, что скоротечная советская власть (а что такое 70 лет в тысячелетней истории?) внесла было осмысленность в существование нашего Отечества («умом Россию не понять». Пожалуй, мы единственный народ, которому такая самохарактеристика кажется лестной). Было ограничено воровство, произвол стал прерогативой государства, но не его служителей, каждый сверчок знал свой шесток, иностранцев совершенно правильно не подпускали к внутренним делам, общественное положение не передавалось по наследству, каждый одаренный паренек мог стать (а то и становился) Ломоносовым, никто не умирал с голоду, привилегии съеживались до пределов государственной дачи и скромного, по любым меркам, пайка, пресса не мнила себя властью, но

решительно вмешивалась в судьбы людей. Такого не мог терпеть ни «цивилизованный» мир, ни вскормленные советской властью «новые русские». Именно они изобрели гнусное словечко «совок», то есть простой русский человек, которого раньше именовали мужиком, а еще раньше — смердом. Новые русские появлялись, как сыпь на больном теле, в разные времена. Повадки их оставались неизменными. Правда, поправлял себя Генерал, никогда раньше среди новых русских не было так много евреев.

В таких или подобных неконструктивных размышлениях незаметно проходил путь от станции «Щукинская» до серого монолита госпиталя. Путь короткий — не больше десяти минут, можно вообще ни о чем не думать. Возможно, и лучше было бы не добавлять к личным горестям беды общенародные, не смешивать вещи совершенно несовместимые, но отучить себя думать Старику пока не удавалось.

В проходной стояли «зеленые» солдаты, настолько молоденькие, что Генерал с трудом сдерживал улыбку, глядя на них. Солдаты, однако, службу знали и, что совершенно удивительно, своим высоким положением не злоупотребляли. Выразив вежливое неодобрение по поводу того, что на пенсионном удостоверении Генерала нет фотокарточки (не предусмотрено), юный страж тем не менее вручал ему потертый серый квадрат — пропуск.

Старательные умненькие ребятишки на службе Отечеству в самом мирном и безопасном месте.

...У самого входа на территорию стадиона «Динамо», Петровского парка, сидит прямо на асфальте нищий. Он ненамного, года на два-три, старше ребят, несущих службу в воротах госпиталя. У нищего правильное русское голубоглазое лицо, немного опухшее то ли от слез, то ли по какой другой причине. На голове неизменная кепка, на плечах куртка. Нищий (зовут его простым русским именем Андрей) никогда и ничего ни у кого не просит. Картонная коробка, однако, полна бумажной мелочи. Андрей не смотрит в ее сторону. Он вообще никуда, кажется, не смотрит — мелькают чужие ноги, хвосты чужих плащей, иногда детское лицо. «Противный все же у тебя характер, Андрей», — говорит нищему женщина из соседней палатки. Андрей только что отпил глоток и с силой швырнул через плечо пластиковую бутылку. Нищий молчит. У него оторвана левая нога по бедро, правая нога — чуть выше колена, нет левой руки.

За какие грехи так наказала молодого красивого парня неведомая сила? Что успел натворить он в свои малые годы? Или наказан он за чужие грехи, чужую корысть, чужую глупость? Говорил ведь Березовский Лебедю: «Ну подумаешь, идет война.

Кого-то убивают...». Привязать бы Березовского железной цепью к Андрею да посадить на голый асфальт у входа на стадион, да обозначить, кто он есть...

Страна, где всерьез ведется разговор о допустимости смертной казни для убийц и насильников, страна, где бессмысленно (бессмысленно ли?) убивают сотни и тысячи честных молодых людей, страна, где обрубленный Андрей не смотрит на дождь бумажных денег, падающих к половинке его правой ноги...

«За что любить тебя? Какая ты нам мать?..»

ГОСПИТАЛЬ

И вновь автору приходится урезонивать Генерала, напоминать ему о гипертонии, о том, что пути Господни неисповедимы и что пусть радуется хотя бы возможности о чем-то поразмышлять, помимо куска хлеба. (Сотням тысяч пенсионеров в России не до мысли о том, что не хлебом единым жив человек. Генералов среди них очень мало.)

Осталось в госпитале, на его территории, простое очарование старых времен: нет пластиковых мешков и пустых банок из-под «кока-колы» на каменных дорожках, ни одного рекламного щита, ни одного пестрого киоска. Неспешно ходят бесконечными кругами люди — седые, старые, прихрамывающие. Они идут, глядя невидящими глазами на золотую прелесть увядающих деревьев, на голубые просветы меж свинцовых облаков, на серые стены госпиталя. Совсем недавно... все было совсем недавно — и жизнь, и молодость, и счастье. Страшные слова — инфаркт, инсульт, опухоль — относились к какому-то чужому миру и не воспринимались всерьез. Точно так, как не воспринималась всерьез возможность увечья и гибели в чужих войнах.

Вперед, вперед! По бесконечному кругу идут счастливые обитатели госпиталя. Те, кто может ходить.

Встречаются изредка знакомые, кто-то говорит: «Здравия желаю, товарищ Генерал!». Старик всматривается в приветливое лицо, пытается вспомнить, где же он его видел раньше, и сдается. За долгие годы прошли перед ним тысячи лиц — рад бы упомнить, но память человеческая слаба.

Монументальность госпиталя подпорчена стандартными алюминиевыми дверями. Строили не с мыслью о будущем, а исходя из сегодняшней экономии. Люди не любят ждать, грядущие поколения позаботятся о себе сами. В России эту простую истину осознал много хулимый Хрущев. Спорить нечего, наломал покойничек дров, но не мог Генерал не помянуть его добрым словом. Именно в хрущевские времена перебрался он с семьей из полуразвалившегося, продуваемого всеми ветрами и остужаемого всеми морозами деревянного домишки в роскошную двухкомнатную, с горячей и холодной водой, с совмещенным санузлом квартиру в Кузьминках.

В обширном, отделанном мрамором холле госпиталя шла чинная мелочная торговля: конфеты, соки, какие-то консервы; рядом — мыло, зубная паста, присыпки и кремы. Возможно, сегодня в госпитале день получки. У лотка с кофточками, рубашками, рейтузами несколько женщин, по виду сестер и

нянечек, что-то рассматривают на свет и оживленно обсуждают. Зарплату в госпитале, как, впрочем, во всех московских учреждениях, выдают регулярно. Этим Москва сильно отличается от остальной России. Жить на зарплату в Москве трудно. Этим она совершенно схожа с остальной Россией.

Поднимаясь на скрипучем лифте и мерно шагая по длиннющему коридору восьмого этажа, Генерал размышлял: «А когда было легко прожить на одну зарплату?». Такого времени в нашем Отечестве для человека, живущего своим трудом и не грабящего ближних, не было. Эта тема тоже относилась к разряду вечных, набивших оскомину. «От трудов праведных не наживешь палат каменных», — это ироничное наблюдение появилось задолго до большевиков и пришедших им на смену реформаторов. «Кто не работает, тот не ест, а кто работает, тем более...» — хмыкнул Генерал.

Какие-то остатки привилегий у действующих и даже отставных генералов сохранились и в новые времена. Нина Васильевна располагалась в отдельной палате, именуемой для административно-хозяйственной конспирации «боксом». Все атрибуты роскоши были налицо: телевизор «Темп», холодильник, платяной шкаф и туалет. Посмеиваться над этим не стоило: госпитальное начальство (низкий ему поклон) действительно сделало все возможное для жены Генерала. Подобный комфорт в других, более современных местах съел бы генеральскую пенсию за три-четыре дня.

Дела же в самом главном были плохи.

Кому воздаяние? И за что?

* * *

Было в семье три сына. Два умных, а третий — атеист. Он-то и стал Генералом? Шутка.

* * *

Дела были плохи. Лежала Нина Васильевна на спине, смотрела в совершенно невыразительный потолок и не могла пошевелить ни левой рукой, ни левой ногой. Приезжали добрые женщины — родственницы и знакомые, ухаживали за больной, кормили с ложечки, меняли простыни. Присутствие Генерала в той обстановке было чисто моральным. Минут через двадцать-тридцать Нина слегка помахивала ему правой ладошкой — уходи,

мол, занимайся своими делами!

Старик уходил, для того чтобы вскоре оказаться в пустой, обезлюдевшей квартире, наедине с бесчисленным книжным множеством, нелюбимым телевизором и листами чистой бумаги. Засыпалось тяжело. Иногда казалось, что вот-вот в свисающую руку ткнется мокрым колючим носиком Ксю-Ша, потребует хозяйского внимания. Стариковские нервишки были перенагружены, сверхчувствительны, деликатны до предела. Они отметили бы появление собачки от самого подъезда. В доме все было готово к ее приему: кусочки мяса в блюдце и отдельно блюдечко чистой воды, привезенный с дачи синий свитер разостлан на полу.

Ксю! Где ты, Ксю-Ша?

Старых друзей не предают. Явилась Ксю-Ша Старику в обольстительном сне, лизнула в нос и щеку, взвизгнула умилительно, попыталась даже сказать что-то успокаивающее. Разумеется, даже во сне Генерал не мог допустить, чтобы с ним разговаривала собака, но ощущение чего-то невыразимо приятного, доброго, вневременного поразило его по пробуждении. Жизнь продолжалась. Надо было ждать возвращения друзей из тени.

ДРУЗЬЯ

Какие-то эпизоды, частицы прошлого, Генерал уже восстановил в памяти и изложил на бумаге. Афганистан, Иран, Индия, обрывки прошлого, дорогие тени. Беспокоило то, что прошлое стало обретать логичность, некую целостность, которой не было тогда, когда оно было настоящим. В работу памяти вмешивалось воображение, выбрасывало излишнее (в настоящей жизни лишнего не было), что-то приукрашивало, что-то сглаживало. Воображению хотелось, чтобы Генерал предстал перед потомками в достойном виде, оно намеревалось из груды камня строить пирамиду. Старик привычно спорил с самим собой, ибо говорить о вечности и прошлом даже с немногими оставшимися друзьями, пожалуй, с единственным оставшимся в этом непризрачном мире другом, он не мог. «Не один, а два, даже три друга у меня остались, — писал Генерал, — люди, с которыми можно говорить обо всем, даже на вечные избитые-перебитые темы».

Здесь вновь вынужден вмешаться строгий автор, присматривающий за Стариком и не всегда с одобрением читающий из-за его плеча генеральские литературные мудрствования.

«Друзей у тебя, Старик, — хотелось сказать автору, — больше, чем ты по своей ветеранской гордыне готов признать».

Старик отмахнулся от назойливого чужого голоса. Он уходил в былое, и верный «Шеффер» едва поспевал за памятью. Торопиться же не следовало, надо было восстанавливать детали, черточки облика дорогих людей, подробности примечательных или даже совсем рядовых событий, тех, что и составляли настоящую жизнь.

«Едва ли заметил я сразу действительную Индию, оказавшись в этой стране в апреле далекого 1971 года. Не было ничего нового и удивительного в жарком и влажном делийском воздухе — за плечами были две пакистанские командировки, и лишь аромат Азии, ни с чем не сравнимый букет пряностей, прибитой недавним дождем пыли, где-то далеко поджариваемой в масле саму-сы, сточной канавы, конского навоза, заставил быстробыстро забиться сердце. Те, кто не жил в этой Азии, не могут представить себе ее ароматов. Едва ли сами индийцы их ощущают так, как обитатель северных, суровых и скудных на внешние впечатления стран.

...В кабинете резидента слоился густой табачный дым.

Вопреки всем правилам в защищенном помещении, а именно так именовался кабинет, было чуточку растворено окно, и холодные струйки воздуха из включенного кондиционера отбивались от наружной духоты. Стол резидента был нормальным, канцелярским, стояла на нем в жестяном абажуре лампа, торчал сбоку черный внутренний телефон, лежала стопка утренних еще газет и одинокая, голубоватого цвета бумажка — телеграмма Центра о прибытии заместителя резиденту, который (заместитель) в дальнейшем будет именоваться Шабровым. (Служба никогда и никого не называла своим именем.)

Шабров сидел на неприлично низком, плетеном из пластиковой тесьмы кресле, место которому было бы в лучшем случае на веранде пригородной недорогой виллы. Плетеная мебель удостоилась чести оказаться в кабинете резидента по двум причинам: дешевизна и невозможность смонтировать в ней какое-то подслушивающее устройство.

Именно о всякого рода хитроумных штуках и зашел разговор после того, как вновь прибывший заместитель представился своему начальнику, седоусому Якову Прокофьевичу Медянику.

«...Так вот, слушаем мы запись. Министр говорит своему послу: «Ну, что? Здесь-то уж мы можем побеседовать спокойно. Докладывайте!» Посол даже слегка рассмеялся — кто же здесь подслушает? И доложил, а завтра уже вся эта конфиденциальная беседа лежала на столе московского начальства».

Яков Прокофьевич особо выделил словечко «конфиденциальная», подчеркнув каждый слог. У резидента было природное мягкое чувство юмора, и иногда он был не прочь заметить, что родился близ Полтавы, в гоголевских местах.

Шутки шутками, а что-то подобное уже затевалось в посольстве одной из солидных стран в Дели. Скромный агент, имеющий доступ в кабинет его превосходительства посла некоей державы, уже вносил в этот кабинет пробную радиозакладку. Прохождение волн до контрольного пункта, КП, оказалось вполне удовлетворительным. В следующую субботу закладка должна прочно закрепиться под письменным столом посла, который имеет похвальную привычку диктовать свои телеграммы. Время от времени посол вызывает для доверительной беседы резидента своей разведки. Из их бесед любознательная и ненасытная Служба может почерпнуть что-то интересное.

«Не верьте, ваше превосходительство, беззаветно преданным вам чужеземцам, не верьте и дисциплинированным, безупречным соотечественникам, если у вас есть что-то, что они могут продать без вашего ведома».

Так или примерно так излагает простую и практически

полезную мысль Яков Прокофьевич. Разумеется, ничего конкретного в его словах нет. Это простое наблюдение о временах и нравах. «Кстати, — замечает седоусый и седовласый мудрец (ему еще нет 55), — меняются времена, но не нравы.

Ищите в людях вечное».

Резидент совсем недавно получил ласковую кличку «Дед», ибо у него родился внук. Ни один из его подчиненных на это почетное звание претендовать не мог».

Генерал немного притомился, вспоминая то далекое благословенное время, когда ему только-только стукнуло 36, когда он был неутомим, подвижен и готов действовать, а потом уже думать. Яков Прокофьевич любил людей, был снисходителен к их слабостям, ибо, думал его заместитель, сам был умным и честным человеком.

Генерал взглянул в окно.

В окне был виден купол подворья Валаамского Преображенского ставропигиального монастыря, совсем недавно возвращенного в это качество из районной поликлиники. Сюда захаживал огорченный Ельцин, пытавшийся сблизиться с народом во время своего неожиданного падения с партийных вершин. В народной или монастырской памяти это достославное событие никак не отразилось. По сравнению с поликлиническими временами здание много выиграло: покрашен фасад, появилась звонница, над обновленным куполом сияет золотой крест и антиминс украшен ликом Спасителя. Спаситель строго смотрит прямо в генеральское окно, глаза в глаза.

«Мне кажется, — вздохнув, продолжил свои бесконечные и безнадежные воспоминания Старик, — что в глубине души Яков Прокофьевич был верующим человеком, а в другой жизни мог бы быть почти святым. Мягкая доброта в суровой Службе не могла быть случайностью. Резидент обладал редчайшим искусством общения с людьми — будь то подчиненные, начальники или равные по возрасту и положению коллеги. Его искренне интересовал каждый человек, и люди платили ему откровенностью».

Повествование о дорогом друге Якове Прокофьевиче очевидно не задавалось. С ним Старика связывали четверть века теснейшего общения, но для того, чтобы передать его облик, рассказать о том, как много значил он в генеральской судьбе, требовался иной дар. Приходилось уповать на внезапное вдохновение, на самого Якова Прокофьевича, который должен, как это всегда бывало, появиться и помочь в затруднениях. Вспомнилось, кстати, что Я. П. и Ксю-Ша знали друг друга, но Медяник был равнодушен к собакам, и Ксю-Ша не включала его в

круг друзей.

Автор был близко знаком с покойным, увы, Медяни-ком, ушедшим на заслуженный отдых (так было принято говорить о печальном факте первого расставания с жизнью) еще в 87-м году, когда он перешагнул 70-летнюю отметку, и время от времени посещал ветерана у него дома, в скромной квартире неподалеку от московского зоопарка. Настолько неподалеку, что иногда по ночам жителей дома тревожил рев взволнованных чем-то непонятным для человека зверей, а по утрам будоражил аромат свежего навоза. Ни Яков Прокофьевич, ни Анна Александровна, его жена, на такие пустяки не жаловались. Они вообще ни на что не жаловались, стоически воспринимая естественные недуги, которые время от времени приводили их то по отдельности, то вместе в госпиталь на Пехотной.

«Без него тут, — обращалась к автору Анна Александровна, — женский кружок затосковал. Он утром во двор выйдет, они его окружают, и он им всю внутреннюю и внешнюю политику растолковывает».

Яков Прокофьевич, опираясь на палочку, которая ему, кажется, не очень-то и нужна, по привычке отбивается. «Что это ты, мать, выдумываешь? Какой такой кружок? Ну любят женщины со мной поговорить, а я их темноту просвещаю». Автор всегда, особенно в стародавние времена, подозревал, что действительно многим женщинам было бы приятно поговорить с Яковом Прокофьевичем, и не о политике, а по душам. И Якову Прокофьевичу это было бы не неприятно. К сожалению, догадывалась об этом и Анна Александровна, царственной осанки дама с железным характером. Так что либеральный режим наступил тогда, когда Яков Прокофьевич обзавелся палочкой, а его поклонницы сохранили лишь интеллектуальное обаяние.

В доме Медяников было покойно и занимательно. Старики помаленьку, понимая игру, подтрунивали друг над другом, придирались и ворчали, разыгрывали старинную неувядаемую житейскую добрую комедию. Автор был не только ее отзывчивым зрителем, но и участником. (За это он признателен судьбе.)

На резном, индийской работы столике расставлялись немудреные яства, венчаемые горячими пирожками, Яков Прокофьевич доставал откуда-то из балконных завалов бутылку, припоминая год ее появления: то ли 80-й, то ли 62-й, а может быть, попала она на балкон еще в те времена, когда Я. П. был резидентом КГБ в Израиле, до разрыва отношений. Медяник любил Израиль. Он был молод, и окружали его соотечественники, готовые поработать на свою недавнюю и вечную Родину —- Советский Союз, Россию. У России было несколько случайных и

временных наименований. Русские люди, включая евреев, временность этих названий прекрасно понимали.

Яков Прокофьевич поднимал унизительно малых размеров рюмку, заполненную до половины; такого же калибра сосудик оказывался в руке Анны Александровны; автору, который не любил жаловаться друзьям на кардиологические проблемы, наливалось по нормальной старинной мере.

Желали друг другу и вообще всем здоровья, и затевался разговор — о прошлом, особенно Индии, где чета Медяников и автор провели свои лучшие годы, о коллегах, живых и ушедших, о Службе, о странных делах, творящихся в нашем Отечестве, о новых российских друзьях и союзниках и старых друзьях, преданных новой Россией.

Яков Прокофьевич — с палочкой в руках, с какими-то инсультами и прочими хворями за плечами — не утратил ни крохи интереса к жизни, к ее причудливым извивам. Анна Александровна возмущалась: ее муж, как встарь, пытался отыскать естественные резоны каждого события, понять степень его неизбежности или случайности. Был он удивительно хорошо осведомлен обо всем происходящем в мире, России и Службе и иногда замечал: «Ну, это сплетни!», прекрасно зная, что ни одна сплетня не рождается на пустом месте, без заинтересованных родителей.

Уютно в квартире близ Зоологического. В стеклянном шкафу во всю стену стояли индийские деревянные и бронзовые фигурки, давно привыкшие к хозяевам, тускло поблескивали медные блюда, жутковато глазели африканские маски черного дерева. Все они толпились в такой тесноте, что не привлекали взгляд, лишь обрамленный гобелен с изображением моста Александра III в Париже успокаивал случайного пришельца своей строгой простотой. Старики ходили по бесценному ширазскому ковру и смотрели старинный советский телевизор «Рубин», у которого высвечивалась лишь верхняя половина экрана.

Автору приятно вспоминать вечера с Медяниками, и он с сожалением прерывает воспоминания, надеясь, что Генерал расскажет все же подробнее о своем бывшем начальнике и вечном друге.

«Иногда, раза два в год, мы выходили с Я.П. на предвечернюю прогулку, на широченные в те годы пустыри, простиравшиеся на задворках дипломатического анклава. Неприметные наблюдатели давно уже отметили особые отношения советника и первого секретаря посольства и неоднократно докладывали об их совместных прогулках, выездах за город на рыбную ловлю (скуден улов в окрестных каналах и озерцах), выходах в

ресторанчики с туземной восхитительной едой.

Идут два иностранца по извилистой каменистой дороге, о чем-то оживленно разговаривают, причем старший машет руками, растворяются в скоротечных сумерках. Следить за ними нетрудно, местность открытая, да и особого беспокойства они у контрразведки не вызывают. Путники скрываются за невысокой каменной грядой, поросшей колючкой, и слегка сторонятся, чтобы дать проехать черного цвета «Амбасса-дору» — скромной, местной сборки машине, отдаленно напоминающей формой и размерами нашу «Победу». (На таких «Амбассадорах», между прочим, ездит премьер-министр Индира Ганди и все члены ее кабинета. Они же, только покрашенные в желтый цвет, служат в качестве делийских такси. Это мелкий признак добротной демократии.)

«Амбассадор» с городскими, не дипломатическими номерами притормаживает, причем его стоп-сигналы не вспыхивают, распахивается дверца, и прогуливающиеся джентльмены резво размещаются на заднем сиденье. За рулем оперативный водитель, невозмутимый и опытный Костя Проценко. Костя докладывает, что за время прохождения проверочного маршрута никаких подозрительных моментов не отмечено, он чист, можно двигаться дальше. Ничего подозрительного не отметили и мы. Извилистая дорога позволяла провериться. Вперед!

Еще ровно сорок (не тридцать пять и не сорок пять) минут езды — и мы в пригороде, на абсолютно темной, извивающейся меж холмиками дороге. В свете фар мелькает рогатый индуистский храм, левее, на высокой горе, — зубчатые стены старинной мусульманской крепости. Индия засыпает.

Через две минуты — два километра — появляются встречные фары, мигают: два коротких. Мигаем мы: два коротких и один длинный. Машины сближаются и на мгновение останавливаются, предательские стоп-сигналы не зажигаются, никакой наблюдатель моментального рандеву заметить не может. Увесистый полотняный мешочек переходит из окна в окно. Дело сделано. Обратная дорога занимает не сорок а двадцать минут. В сводках «наружки» будет отмечено, что такие-то прогуливались в течение одного часа пятнадцати минут. («Бешеные собаки и иностранцы...» Истинно восточные, не европеизированные люди не любят ходить пешком. Терпеть не может ходоков и «наружка». Пеший наружник вне толпы гол и беззащитен. Профессиональная солидарность даже заставляет иногда его пожалеть.)»

Медяник и Шабров выполняли поручение Инстанции — так именовалась высшая власть Советского Союза — Центральный Комитет КПСС. Название ЦК, в свою очередь, маскировало

реальную власть — членов политбюро и их помощников. Выполненное поручение означало, что в течение полугода братская партия не будет испытывать затруднений с финансами.

Служба не любила эти поручения, было в них что-то сомнительное с точки зрения ее, Службы, профессионального предназначения, что-то более нормального уровня политически рискованное. Она выполняла подобные поручения по всему миру и, к чести ее, за многие годы не допустила ни одного провала. Уже в 1990 году, когда Медяник страдал на заслуженном отдыхе, когда разламывалась всесильная Инстанция, Служба, возглавляемая Шабровым, вдруг спросила у Инстанции: стоит ли продолжать эту опасную практику? Ответом было молчание. Todo claro, все ясно. Уже засланные в резидентуры деньги постепенно вернулись домой. Мировое коммунистическое движение приказало долго жить.

Яков Прокофьевич отреагировал: «К тому и шло!». Горечи в его словах не было. Седовласый и седоусый, слегка согбенный, но не стертый годами мудрец, неуемная душа, бьющаяся в слабеющем теле, он знал цену людей, вещей и событий, никого не осуждал и ничему не удивлялся. В другой жизни он мог бы быть святым.

* * *

Люди молодые, энергичные, несущиеся вскачь по дороге жизни, едва ли могут вообразить, насколько трудно вспоминается настоящее прошлое, как трудно ветерану восстанавливать былое. Интересно ли оно кому- то, помимо историков, которых становится все меньше и меньше в нашем Отечестве? Да, пожалуй, и этому вымирающему племени когда-то потребуются обрывки чьих- то воспоминаний лишь для подтверждения быстротекущих модных заблуждений своего времени. Потомки? Презумпция разумности будущих поколений, лишенная прочного основания... «Прадедушка был чем-то вроде Пентиума?»

И так может быть.

УСТАЛОСТЬ

Неоднократно в своей жизни приходилось Генералу уставать. Приятной была усталость (приятной в воспоминании), когда он с тремя коллегами-студентами перегрузил из железнодорожного вагона на станции Ярославская-Товарная сорок тонн картошки в подъезжавшие трехтонки. Десять тонн, десять тысяч килограммов на брата. Бригадой руководил Алексей Пьянов, его бицепсы разрывали тонкие рукава тенниски (так называлась тогда рубашка с короткими рукавчиками). Что такое теннис, мы, разумеется, знали, но понаслышке. Будущий генерал елозил с большой плетеной корзиной по полу фантастически огромного вагона, волок эту корзину к двери и с натужным уханьем высыпал в ненасытный кузов грузовика. Где-то на седьмой тонне стали отказывать ноги, корзина выпадала из рук, пот заливал глаза, хотя смотреть в темном вагоне все равно было не на что. Кошмарная ночь кончилась, следующие сутки прошли в каком-то тумане, но зато через пару дней, в субботу, счастливый и довольный собой студент получил пятьдесят рублей. Их хватило на то, чтобы купить два билета и чувствовать себя джентльменом на концерте в Колонном зале. Кто-то, кажется артист по фамилии Сорокин, читал со сцены «Двенадцать стульев». В 53-м это была почти крамола.

Добрая, хорошая усталость чувствовалась во всех жилочках тощего студенческого тела — обиталища простоватой и беспокойной души. Кстати, Алексей Пьянов, человек из провинции, лишенный стипендии за трояк по китайскому, жил — не билеты для развлечений со знакомой девушкой покупал, а жил — этим каторжным трудом грузчика. Прозвище у Лешки в узком кругу любителей гребно-парусного спорта (был и такой спорт в Институте востоковедения) было «Командор».

«Все это отголоски счастливой чужой жизни, — писал Генерал. — Была веселая, яростная усталость от круглосуточной работы в Дели. В шесть утра я выезжал к своему доброму приятелю, по привычке немного проверялся, но где на свете есть та «наружка», которая любит работать на рассвете? Честно говоря, не было нужды во всяких ухищрениях, контакт был официальным, и даже больше, в нем была заинтересована всесильный тогда премьер покойная Индира Ганди. За утренним разговором, иногда невыносимо пустым, иногда настолько занятным, что хотелось сейчас же, немедленно доложить о нем в Москву, следовал долгий — бумаги, беседы, совещания и еще беседы,

бумаги — день, затем короткая, в стакан чая и бутерброд, передышка и вновь движение — до часу, а то и до двух ночи. Во всем этом напоре людей, встреч, известий, событий надо было находить время для того, чтобы писать требовательной Москве — она никогда не смыкала ока.

Было чудовищное, изнурительное, унизительное утомление после побега Кузичкина в Тегеране. Огромный кусок из моей веры в человека вырвал этот сукин сын! Бесконечные и довольно бестолковые указания Центра (писали четыре высокополномочных корреспондента, не удосужившихся согласовать свои указания в одном и том же Ясеневе), потоки тревожной информации, шмыгнувший через забор нелегал, бестолковый никчемный заместитель. Надо было сойти с ума и сбросить таким образом свою ответственность за все происходящее. Организм, наследие простых предков, выдержал. Усталость давила долгими месяцами в уютной и спокойной Москве, по капле покидала душу, напоминала о себе внезапными предутренними тревогами: три, пять, семь проблем сплетаются в клубок, ни у одной нет простого решения, ты отвечаешь за все — и просыпаешься от невыносимо частого и громкого стука сердца. Наваждение рассеивается, можно жить дальше.

Неразумно, легкомысленно думалось, что удастся спокойно и тихо дотянуть до конца. Новая усталость не имела ничего общего с былыми деловыми перегрузками. Изменился сам воздух, которым я дышу. Каждый вдох разжигает угольки тревоги, и нет надежды, что они когда-то потухнут. Каждый вдох, каждый шаг, каждое движение...»

Бытие налаживалось на каких-то не вполне привычных устоях. Генеральские предки болеть не любили, помирали, разумеется, но старались делать это скоропостижно. Так, не мешкая, ушли из жизни его деды Михаил Андреевич и Иван Кузьмич (простудился холодной зимой 41-го и помер), отец Владимир Иванович собирался ясным летним утром 51-го на работу, приподнялся с постели да упал, пытался что-то сказать: «Паня... ребятишки...» — и захрипел. Часа три он дышал, всхрипнул и умолк навсегда. Зарыдала мама. Было ей 42, а отцу 43 года. Бабушка Евдокия Петровна сказала своему внуку, тогда еще подполковнику, приехавшему в короткую служебную командировку из Дели: «Умираю я». Внук бодрил: «Ну что ты, бабушка! Не торопись, поживи!». Бабушка никогда никому не говорила неправды. Умерла она через день, 14 февраля 1974 года, 88 лет от роду.

Человек не выбирает ни своего рождения, ни своей кончины. Коемуждо по делам его.

Генерал шел обычной быстрой, но неспешной поход-кой, шагом русского пехотинца, через сквер на Миусской площади. Незадолго до Первой мировой собирались тогдашние русские власти воздвигнуть на этом месте православный храм святого Александра Невского, да припозднились. Вместо храма появился Дворец пионеров, наскоро переименованный в Дворец культуры, с прилепившимся сбоку рестораном «Ромео и Джульетта». Перед скромным, облупленного вида Дворцом застыли фадеевские герои — Левинсон или кто-то еще из «Разгрома»; коротенькая шеренга идущих на смерть молодогвардейцев. Справа — барельеф академика Келдыша, рвущего пространство. «Пожалуй, у скульптора справа воображение было сильнее, чем у скульптора слева», — машинально подумал Генерал. Иные заботы занимали его: надо было купить лимоны, овсяную крупу «Геркулес», масла растительного и сливочного, молока, стиральный порошок. Кроме того, напоминал себе Старик, бутылку хорошей водки. Именно на этом предмете он боялся ошибиться. Травили русского человека безбожно, ловили его на склонности подешевле выпить и закусить.

Генерал только занес ногу над очередной неглубокой лужей, как в его сторону кто-то тявкнул родным серебристым голоском.

Так и есть! Ксю-Ша!

Собачка охотно бежала за довольно высокой, худощавой дамой, кутающей лицо в грубой вязки шарф. Разглядеть даму не было возможности, и Генералу показалось только, что ее нос как-то слишком короток и вздернут. Он хотел свистнуть, но собачка, умница, посмотрела ему в глаза, и Старик понял, что ни свистеть, ни приставать к даме или приманивать ее собачку не следует.

Изумившийся столь странной встрече Генерал совершенно спокойно смотрел на идущего по дорожке Юрия Михайловича Денисова. Денисов очень недолго был его заместителем по линии КР (контрразведки) в Тегеране и умер от рака в том самом госпитале на Пехотной в 89-м или 90-м году, а может быть и раньше. Пожалуй, раньше, тогда, когда Генерал еще не возглавлял Службу. Денисов улыбался, топорщил красивые черные усы и вдруг прикинулся равнодушным, незнакомым человеком, безразлично взирающим на случайно встреченного Старика.

«Вот и еще один, умный, энергичный, старательный работник», — успел подумать Генерал, обернулся, но Денисов скрылся за углом.

...Буйная толпа штурмовала ворота советского посольства («Марг бар шурави», «Марг бар брежнев»), ее передовой отряд уже перемахнул через забор и рвался к зданию. Бесстрашный Денисов

возглавлял отход наших скромных сил — четверых дежурных комендантов и пары собак. Стрелять было нельзя: многотысячная толпа ждала выстрелов, крови, воплей. Пока что это была масса довольно равнодушных, мобилизованных людей. От запаха крови толпа моментально сатанеет. Горе тем, кто этого не понимает. Маленькая запыхавшаяся кучка наших рванула через представительское помещение в длинный переход, задвинула тяжеленный литой засов в чугунные петли массивной двери, изготовила гранаты со слезоточивым газом. Как и положено командиру, Юрий Михайлович отступал последним. Собаки никогда не имели дела с толпой и удрали в глубь посольского парка. Они испугались, и винить их было нельзя. Толпа —- огромный дикий зверь.

Резидент находился на четвертом этаже служебного, отгороженного железными решетками здания, смотрел вниз, скрежетал зубами, подавляя желание стрелять в бесчинствующих внизу погромщиков. Денисов был уже рядом и, задыхаясь, докладывал. Все было ясно, todo claro. Помощи ждать было неоткуда, не спешили на выручку десантники, не ревели на пограничной полосе танки, не рвались по взлетной дорожке штурмовики. Оставалось положиться на волю Божию и здравый смысл исламских властей.

Приостановился внизу тощий кудлатый душман в красной ковбойке, поискал у дорожки камень, долго его выковыривал из сухой персидской земли. Такая хорошая мишень — всего 12—15 метров от окошка, младенец мог бы влепить пулю ему в спину. Резидент пошарил машинально по подоконнику, пистолета не было, он был благоразумно запрятан и недосягаем. Возбужденный Денисов говорил, что стрелять нельзя, что будет еще хуже. Он был прав, совсем недавно такая же толпа взяла штурмом американское посольство, и его защитников спасло лишь то, что они не пролили крови. Американцев брали специалисты, они же лютовали вокруг советского посольства. Оставалось рассчитывать на то, что наших, нас хотят лишь припугнуть. Так оно и оказалось. Денисов был прав.

В лютой, с кислородным дутьем печи догорали секретные бумаги. Это тоже было правильно. Американцы сжечь свои документы не успели, и «студенты — последователи линии имама Хомейни» их опубликовали. Ужасно, как голому на многолюдной площади, было бы оказаться в таком положении.

Прошел Денисов через генеральскую жизнь, но почему-то поопасился признать его на Миусской тихой площади. Рано было?

И почему не позвала, не бросилась к нему Ксю-Ша? И кто же

это, курносая, с окутанным грубым шарфом лицом? Генерал вроде бы догадывался, но признаться боялся. Он все еще по привычке рассчитывал на лучшее.

«Посмотри-ка свои фотографии тегеранского времени, а потом полюбуйся на личность в зеркале, да прикинь сюда еще мешковатое пальто, пятнистую кепку, озабоченную походку и подумай, узнаваем ли ты для старинных, оставшихся вечно молодыми приятелей? Частенько, встретив очень знакомое лицо, я мучительно пытаюсь вспомнить, как же зовут человека. Мы не были особенно близки или дружны, но регулярно встречались на каких-то совещаниях, возможно, бывали вместе в Кабуле, Ташкенте или Душанбе. Только намек, полсловечка — и я сразу же вспомню... Неужели я так изменился, что даже Денисов меня не узнал? Конечно, если бы мы увидели друг друга на залитой солнцем тегеранской улице или в бесконечных ясеневских коридорах... Другое было бы дело...»

Потрясенный недавними печальными событиями, а в общем-то всей своей прошлой жизнью, Генерал начинал временами про себя заговариваться, грань между миром теней и действительностью расплывалась, и требовалось усилие, чтобы ее восстановить. Не всегда хотелось такое усилие делать. У жизни в полудреме были свои преимущества. Да и какая же разница? Старика слегка задело лишь то, что его подчиненный, которому он откровенно симпатизировал, не разглядел за четырехугольным пальто и блинообразной кепкой своего старого начальника.

Во всяком случае, не столько странное поведение Ксю-Ши и Денисова, сколько само их появление в центре Москвы средь бела дня (в действительности было это в ранних сумерках) напомнило Генералу, что надо торопиться. Странная мысль: куда торопиться? Зачем? Любая частица вечности бесконечно мала и неизбежно затеряется в бесконечном множестве подобных же частиц. Устающее тело подсказывало эту нехитрую мысль, вековечную уловку малодушных, слабеющему разуму.

Прежде, давно, в лета активной и бурной деятельности, Генералу приходилось частенько соприкасаться с ветеранами Службы — людьми знающими все и могущими все, людьми, хронически обиженными на любое новое начальство за то, что оно не востребует их опыт, мудрость и энергию. Многие из ветеранов в свое время пробегали стометровку из 12 секунд, толкали ядро под 15 метров, выполняли норму мастера или кандидата в мастера по шахматам или боксу, с легкостью брали 98 очков из 100 в стрельбе из пистолета. Время прошло, и ни один из них не смог бы повторить старые достижения, да и смешно бы было, если бы ветеран вдруг, надев шиповки,

попытался соревноваться с молодыми. Почему-то редкий ветеран догадывался, что биологическое старение поражает не только мускулы и сосуды, но и мозг. Теперь Генерал сам перешел в непоколебимые ряды ветеранов, и его иногда тревожила мысль о невостребованности. Мир теней, ушедших навсегда друзей, драгоценной маленькой собаки (сможет ли кто-то ощутить, насколько важен для бывшего начальника Службы неосязаемый образ этого вечного существа?) позволял правильно видеть свое место в этом временном существовании. «Суета сует...»

И все же кто ее загадочная хозяйка?

* * *

Кстати, о времени. В молодости десяток лет, особенно десяток, опрокинутый в будущее, казался непостижимо долгим, практически вечностью, до краев заполненной всякими вероятными событиями: «Еще впереди три года учебы, через год могу получить капитана, скоро надо будет возвращаться домой, на будущий год Таня пойдет в школу...» Так и думалось, а скорее, не думалось, но само собой подразумевалось, что годам не будет конца. Теперь же прошлое становилось мерилом будущего и было ясно, что при любых обстоятельствах финишная прямая будет очень короткой. Генерал удержался и не стал припоминать всех тех, кого он знал совсем молодыми.

Мысль о скоротечности времени — извечная, естественная и совершенно правильная — утешала. «Все проходит» — было начертано на кольце царя Соломона. «И это пройдет» — написано красивой персидской вязью на пожелтевшей плотной бумаге. Прозревает человеческий разум просторы бесконечности и погибает в крошечном уголке бескрайнего времени. Скоро будут изобретены способы продлевать жизнь богатых. Не завидно — это будет в том же неуловимо малом уголке. Отмените смерть — и вы уничтожите жизнь.

В ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА ЧУДУ

Вполне возможно, что Денисов Генералу только привиделся. Мало ли в Москве складных черноусых мужчин? Тем более уже надвинулись в тот момент на площадь серые осенние сумерки. И чью-то чужую маленькую собачку вполне можно было принять за Ксю-Шу.

В жизни нет места чудесному. Сбывающееся чудо — это просто непонятая обыденность.

Генерал закупил все необходимые припасы, сверяясь с вытащенной из кармана помятой бумажкой. Написано там было неразборчиво: то ли масло, то ли мыло. Пришлось купить и то и другое, благо все продавалось под одной крышей. «Занятно, — подумал Старик, — демократический плюрализм почему-то начинался с книжных магазинов». Рядом с книгами появился прилавок с водкой (ну, это еще можно объяснить), затем с женским бельем, стиральными порошками, и, наконец, куда-то пропали книги, а на их месте оказался мебельный салон. Теперь же масло соседствует с мылом, как в старинных сельпо, и никто этому не удивляется. Значит, не чудо, а понятная обыденность.

Житейская нудная текучка обтесывает любой кремень, дамасским кинжалом рубит капусту, рукояткой револьвера отбивает свиную котлету, превращает лихого оперативника, опытного начальника, ловца человеков в потертого пенсионера.

Генерал сопротивлялся этому естественному и неумолимому процессу. Союзников у него оставалось совсем немного — перо, бумага, память.

* * *

«Меня часто занимает совсем уже сейчас бесполезная мысль: что заставляло нас работать? Не знать ни сна, ни отдыха, рисковать, забывать о жене и детях, которым так не хватало нашего внимания? В далекие годы Нина оставалась долгими темными вечерами одна с двумя маленькими ребятишками в пустом доме на далекой окраине города Равалпинди. Прямо за невысоким глинобитным забором начинались бескрайние, поросшие полынью и редким кустарником, пересеченные овражками пустыри. В густом мраке к самому забору подходили шакалы и рыдали, смеялись жуткими, непривычными русскому слуху голосами. Ветер нес с пустырей запахи ненаших трав, опаленной, отдыхающей от солнца земли. В крохотном домике-

сарае в углу просторного участка располагался сторож Калахан, засыпавший мирным сном с заходом солнца.

Калахан достался мне в наследство от Синицына, человека Службы, завершившего командировку в городе Карачи. У Юрия Андриановича было много оперативных и человеческих достоинств, которые позволили ему, в частности, вскрыть, выпотрошить все секреты пакистанского министерства иностранных дел. Все! Сам он никогда в этом учреждении не бывал и не очень интересовался, где оно располагается. Работать с выученными им людьми было приятно: они появлялись в назначенном месте минута в минуту, не тратили времени на разговоры, передавали документы, получали тощую пачечку денег и исчезали до следующей бесшумной мимолетной встречи.

Один из этих людей (только профессионал может оценить фразу «один из этих людей») работал через тайник. Тогда еще не было компьютеров, не было дискет, на каждую из которых можно было поместить том Британской энциклопедии. Документы передавались «живьем», в их первозданном виде. Источник выходил на прогулку — город незаметно перетекал в бескрайние пустыри — поднимал в условном месте камешек и опускал в обнаружившуюся полость туго перетянутую ниткой, свернутую трубочкой пачку документов. Деньги он находил под другим, известным только ему камешком на следующий день.

Однажды чуть было не произошел сбой. Я ехал привычной «нашей» дорогой, где и совершались эти нехитрые операции, и увидел, что бригада дорожных рабочих копает траншею под кабель и что через несколько десятков метров они наткнутся на полый металлический штырь с ввинченным в него камнем — тайниковый контейнер. Думать надо было быстро. Вскоре я появился в том же месте, на той же машине, но уже с коллегой за рулем. Машина почему-то заглохла, Вся простодушная бригада с удовольствием, желая заработать десяток рупий, принялась ее толкать. Я неспешно потянул за камень, с некоторым усилием вытянул штырь и спрятал его за пояс. Машина завелась. Рабочие получили свою десятку. Все были довольны. «Нас всех подстерегает случай...» Так вот, среди достоинств Синицына было умение разбираться в людях. Завещанный им Калахан был чудесным образцом лучших представителей рода человеческого — они не часто взбираются в верхи общества, они придают обществу человеческий характер. Но с заходом солнца бесстрашный и мужественный страж Калахан и его бездетная жена засыпали в маленьком домике-сарае. Нина с ребятишками оставалась одна, глава семьи мотался по пустынным пригородным дорогам, встречался со своими секретными

друзьями, привозил какие-то бумаги и прятал их в специально оборудованном тайничке в камине. Он тоже был один, даже оказываясь поутру во временном здании посольства на Пешавар-роуд.

Все было не просто и не невинно. Мои секретные друзья рисковали жизнью или 14-летним заключением. Я рисковал немногим: человека с дипломатическим паспортом могли цивилизованно объявить персона нон грата и выслать из страны в 24 часа или нецивилизованно перебить персоне руки и ноги, а потом извиниться — неувязочка-де вышла! И то и другое в практике Службы бывало. Это была работа.

Так вновь: что же гнало нас? Я ведь мог оставаться «чистым» дипломатом, получать те же деньги, спокойно взирать в будущее, на заранее спланированную и ясную карьеру. Яне пил, сторонился связей с женщинами, был абсолютно лоялен Коммунистической партии и социалистическому Отечеству, не колебался в проведении линии партии (скорее всего, по молодости) и был умеренно разумен, обладая неплохим пером. (Характеристика пакистанского диктатора Айюб Хана, написанная мною, удостоилась лестной резолюции В.В. Кузнецова, первого заместителя министра иностранных дел.)

Была официальная, неоспоримая формулировка: «делу Коммунистической партии и социалистическому Отечеству...».

«Товарищ, товарищ! За что же мы сражались? За что же проливали свою кровь?»

Насмешливая плаксивая песня частенько звучала в моем детстве. Какие-то наши безвестные предшественники, насмехаясь над собой и заведомо зная бесполезность этой затеи, пытались разобраться, а за что же они, действительно, сражались?

Было постоянное неприметное, но от этого не менее значимое ощущение великого Отечества, рассчитывающего на тебя. Отечество воплощалось в Службе, Служба— в ее временных начальниках, но каждый из нас старался так (в захолустном, второстепенном Пакистане!), будто судьба Отечества зависела от его усилий.

Каждый ли? Отголоски юношеского идеализма. Всегда были умненькие серые люди, познавшие способы выживания. Всегда были прохвосты и авантюристы, готовые продать и тебя, и Службу (великую, непогрешимую и страшную Службу!), продать Отечество ради своей корысти. В те славные времена, лета не очень ранней юности, мне казалось, что все мы — резидент Сергей Иванович (царство ему небесное!), Синицын, Геннадий

Евстафьев, Эдик Колбенев, Толя Купцов, Лев Сиротинин (и ему венная память!), Николай Шляндин, Иван Сорокин, Куимов

— все одержимы страстью служения Отечеству. Так оно и было.

Что-то другое? Разумеется! Каждый служивый человек думает о карьере, о признании начальниками и соратниками. Было два пути: не жалеть себя, вербовать, работать с агентурой, другой — работать с официальными связями, собирать случайную информацию, нравиться начальству. Мне повезло: в разгар холодной войны, когда речь действительно шла о судьбе нашего тогдашнего Отечества, — попасть в среду людей, искренне преданных своему делу.

Были заботы житейские, семейные, но сейчас, с вершин прожитых лет, отчетливо видно, что они подчинялись главному — Службе».

* * *

Вот и все. Служба. Как ни храбрился Генерал, расставаясь со Службой, как ни утешал себя тем, что новая жизнь оказалась не без своих привлекательных сторон, утратился стержень бытия. Философические размышления о быстротекучести времени, повседневные заботы, сутолока московских улиц, остропахнущие вести из мира политики (хорошо, что мир перестал принюхиваться к России), скандальные книги — все это отодвигало мысли о Службе, накрывало прошлое матовой пеленой. Так быстро затемнялись пылью тюлевые прозрачные занавески на окнах генеральской квартиры. «Жизнь давно сожжена и рассказана...» Уйти от прошлого не удавалось, да и, положа руку на сердце, не хотелось. Там друзья, там дела, там удачи и провалы, там все продолжается и утихнет лишь с нашим окончательным уходом.

Зачарованным взглядом смотрел Генерал на ковер с видом города Герат. Дивное голубое небо, вздымающиеся ввысь минареты, мирно беседующие на зеленой лужайке у мечети мусульмане. В город въезжает на коне Мир

Алишер Навои, в Герате же похороненный. Рисунок наивен и чист, в нем первозданная простота, в нем мир до изобретения реактивных снарядов, вертолетов, танков. Коврик был подарен генералу в конце 1989 года Амиром Сайд Ахмадом, 25-летним красавцем, командиром дивизии. Убит был Амир уже на следующий год. Афганистан не щадил ни чужих, ни своих сынов.

Видимо, Старик задремывал и не сразу сообразил, что кто-то лижет свесившуюся с кресла руку. Ксю-Ша! Вечно молодое, бодрое, удивительно красивое существо. Генерал не пытался спрашивать, с кем же прогуливалась его верная собака на

Миусской площади. Ксю-Ша — это жизнь, его собственная жизнь, неожиданно воплотившаяся в таком облике: ее хозяйка, спутница — ясно кто она, не стоит произносить ее имени всуе. Она сама выбирает свое время, и тщетно пытаться обманывать ее или заигрывать с ней.

Легкий морозец на улице, редкие снежинки прорезают наискось сноп желтого фонарного света, на антиминсе монастырского подворья — суровый лик Спасителя — в нем ни жалости, ни осуждения. Суета сует...

Он слышит райские напевы... Что жизни мелочные сны..? — поет бессмертную песнь бессмертный Шаляпин.

Аминь.

* * *

Автор временно расстается с Генералом. Он надеется, что Старик еще встряхнется и попытается досказать повесть своего существования на Земле. «В кои-то веки угораздило родиться, да и то случаем толком не воспользовался...»

История, к сожалению, всегда остается орудием политики дня сегодняшнего, и тот, кто владеет прошлым, распоряжается и настоящим, и будущим. Но время неумолимо. Канет в прошлое и нынешняя Третья великая русская смута с ее неразберихой, разрухой, временными вождями и вековечными проблемами, с ее кровопролитными войнами, катастрофами, путчами и заговорами. Великая смута уйдет в прошлое, но по неизменному закону истории будет незримо присутствовать в жизни всех грядущих поколений русских людей так, как присутствует сейчас.

И разве простой и грамотный русский человек с его упованиями, опасениями, радостями и горестями обречен уйти в ничто, не оставив никакого следа для любознательных потомков? Неужели никому не будет интересно, какие мысли одолевали жителя России в конце XX века, была ли у него душа не для официального предъявления, а для собственного пользования?

Думается, что наши потомки могут оказаться любознательнее и добрее, чем можно было бы рассчитывать в наше неустроенное и жестокое время. Именно их вниманию предлагаются актуальные и остроумные афоризмы Леонида Шебаршина, которые интересны уже тем, что их автор долгие годы возглавлял внешнюю разведку КГБ СССР.